НЁМАН

10/2014
ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонская*
Стильредактор *С. В. Казак*
Набор *Е. Г. Кахновская*

Подписано к печати 13.10.2014 г. Формат 70 ×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 20,83. Тираж 2718. Заказ 2876.
Цена номера в розницу 21 400 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/106 от 30.04.2004 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

К 65-й годовщине образования КНР



Цуй ЦИМИН
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Китайской Народной Республики в Республике Беларусь

Специальный выпуск журнала «Нёман», посвященный переводу на русский язык характерных произведений современных молодых китайских писателей, имеет важное значение в развитии гуманистических идей, культурологическо-тематических исследований и взаимоотношений между Беларусью и Китаем. От имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь я поздравляю с публикацией специального выпуска журнала и выражаю благодарность переводчикам, редакторам, издателям, и всем тем, кто принимал участие в его подготовке.

В специальный выпуск журнала вошли произведения, наиболее четко отражающие многочисленные стороны современной китайской жизни. 30 лет политики реформ и открытости, а также постоянно увеличивающийся экономический рост привели к тому, что на сегодняшний день Китай по общему объему ВВП занимает второе место в мире. Наряду с комплексным наращиванием государственной мощи, стремительным расширением международного влияния, исключительными успехами в улучшении народного благосостояния и в других аспектах социальной жизни, вместе с быстрым развитием страны

китайское общество также претерпело глубокие изменения. В процессе социальной трансформации у людей с разными судьбами произошли соответствующие изменения в личной психологии. В специальном выпуске журнала представлены произведения, освещающие грани психологических изменений у конкретных людей на фоне кардинальных социальных перестановок. Эти произведения, на примере психологических портретов и судеб главных героев, помогут читателю понять, насколько сильно изменилось китайское общество.

Китайский народ свято чтит ценности социалистического строя, которые являются его неизменным духовным очагом, не забывая о всестороннем развитии человека, невозможном без свободы личности. Политика реформ и открытости сыграла огромную роль в раскрепощении китайского народа, предоставила широкое пространство для развития личности отдельного человека. Согласно социально-политическому курсу «Китайская мечта», с особым чувством выдвинутому председателем КНР Си Цзиньпином, только сконцентрировав все душевные силы китайского народа и продолжив раскрепощение сознания, проведение политики реформ и открытости и концентрацию силы народа, можно осуществить великое возрождение китайской нации. В специальном выпуске журнала отражены некоторые стороны общественной жизни китайцев, описаны показательные явления, присущие тем или иным социальным слоям. Все эти произведения, отображающие мечты каждого маленького человека, представляют собой исследование пути китайского народа к социализму с китайской спецификой. Для продвижения развития и процветания социалистической культуры, культурное строительство Китая вступает в беспрецедентную эру. Я искренне надеюсь, что в будущем появится еще больше таких произведений, и они будут еще лучше прежних, а для белорусских людей, интересующихся китайской культурой, появится еще больше способов приобщиться к ней.

Беларусь является страной с богатым культурным наследием, мне лично очень нравятся работы поэта Янки Купалы. Под руководством Президента республики Александра Лукашенко Беларусь стабильно развивается, люди живут в мире и спокойствии, благодаря чему сформировалась так называемая «белорусская модель», соответствующая историко-культурным ценностям и основным национальным особенностям Республики Беларусь. Соответственно, сохраняется процветание белорусской культуры, постоянно появляется большое количество новых произведений, отражающих социальную реальность. Эти произведения распространяются и за пределами страны, в том числе и в Китае, где их встречают с радостью и теплом. Так, фильм «Брестская крепость» вызвал сенсацию в Китае. Культурные обмены и сотрудничество между двумя странами играют важную роль в углублении взаимопонимания между народами Китая и Беларуси, усилении взаимного доверия, укреплении социальной базы. Посольство Китая в Беларуси будет продолжать прилагать все усилия для активного продвижения выдающихся произведений, а также всеми силами поддерживать творческие контакты литературных кругов Беларуси и Китая. Желаю писателям обоих государств создать еще больше литературных шедевров, единых в идейности, художественности, познавательности и изящности, и на фоне ежедневно укрепляющихся между двумя странами культурных и литературных контактов достичь новых совместных успехов.

Сентябрь 2014

А И



Маленький человек

Рассказ

Если бы мы были очень большой птицей, и в то время, 20 апреля 1998 года, кружились в небе над местечком Цзюйцзю, то могли бы увидеть вот какие события: заместитель начальника уезда Ли Яоцзюнь неожиданно пошел на повышение и стал членом бюро постоянного комитета парткома уезда и секретарем политико-юридического комитета; учитель экспериментальной школы Чэнь Минъи стоит на коленях около входа в универмаг и отбивает земные поклоны; муж Ли Силань, женщины из добропорядочной семьи, вновь направляется в Пекин лечиться от бесплодия; строительная бригада из другого уезда вырыла огромную канаву через цементную дорогу, что за пределами парка; а бухгалтер небольшой гостиницы при лесном хозяйстве Фэн Ботао как раз догоняет Хэ Лаоэра, служащего инкассатором при кредитном кооперативе, чтобы сыграть с ним в шахматы. Все эти сведения мы сортируем и классифицируем так, что можем вычеркнуть и самое последнее, кажущееся наименее существенным.

Вот почти что неизменная картина: Фэн Ботао, согнувшись в полупоклоне, не отпускает полу кителя Хэ Лаоэра, а Хэ Лаоэр проходит вперед, заложив руки за спину, а встретив знакомых, сразу надувает губы, мол «Вот тебе и на! Ты смотри!». Жители городка Цзюйцзю давно уже хорошо знакомы с тем, какие отношения между этими двоими. А отношения эти как раз напоминают то, как Луне следует вращаться вокруг Земли, а Земле — вокруг Солнца, но если б в этот день глаза у них шире открылись, то сердце бы бешено застучало. Полагай они, что Фэн Ботао и есть тот, кто взял нож и спровадил Хэ Лаоэра в мир иной, то были бы те, кто видел, что сам взгляд у Фэн Ботао был точь-в-точь как нож. Они были не в состоянии удержать Хэ Лаоэра, сказав «ты же умрешь!» (как и нельзя остановить грузовик, следующий по шоссе, тем, что, дескать, с ним должна произойти автокатастрофа). Это немыслимо.

Со скрытым волнением люди разошлись, а Фэн и Хэ вдвоем пришли на берег озера; один обстоятельно пристроил свою тучную фигуру на каменной скамье, а другой высыпал фигуры из полиэтиленового пакета на каменную шахматную доску, разделил на красные и черные и расставил со всей тщательностью. Хэ Лаоэр должен был хорошенько присмотреться к Фэн Ботао, к сожалению, увидел он лишь услужливость. Хэ Лаоэр сказал: «Ты первый».

Фэн Ботао сейчас же, прямо как собака, выполняющая команду, торопливо, со стуком выставил пушку[1] на середину. В прошлом он бессчетное количество

[1] Фигура в облавных шашках (т. н. китайских шахматах «сянци»). Пушка ходит за «красных» (что в шахматах может соответствать «белым»), как шахматная ладья, бьет через фигуру.

раз использовал это начало партии, и столько же раз отказывался от такого начала, и всегда он был преисполнен веры и одновременно не находил себе места от беспокойства. Сегодня же, когда отдернул руку после хода, он пришел в несколько торжественно-печальное настроение и подумал, что это в последний раз: «Разобью тебя, мать твою!» Он увидел, что Хэ Лаоэр и впрямь спокойно сыграл всадником. Спустя несколько ходов он отвлекся, представляя, как проходит мимо толпы людей, сам себя прямо ничем не выдавая, они спрашивают, выиграл ли он, а он ничего не говорит, ждет, что Хэ Лаоэр сам выйдет и скажет. Однако, сидящий напротив Хэ Лаоэр не двинулся ни на йоту, лишь хитро улыбался, и эта сочувствующая лукавая улыбка заставила Фэн Ботао залиться краской.

В нетерпении отыграв пару десятков ходов, Фэн Ботао применил вновь пришедший на ум вчера вечером секретный трюк, и увидел, что рука Хэ Лаоэра замерла, а выражение лица стало сосредоточенно-серьезным. Фэн Ботао сказал: «Быстрее».

Хэ Лаоэр взглянул на него и внезапно рассмеялся — будто ножницы раз за разом стали царапать тонкую жесть. Фэн Ботао только сейчас вдруг осенило, что так называемый секретный ход на самом деле он уже использовал много лет назад на Праздник Середины осени. И последовательность выдвижения фигур с обеих сторон, что была в тот раз, позиции противников, даже порядок сложенных стопкой выбывших фигур — все совпадало сейчас: он будто попал в лабиринт времени.

Вечный победитель Хэ Лаоэр походил на первый взгляд незначительной фигурой, положение же партии Фэн Ботао сразу рассыпалось как карточный домик. Хэ Лаоэр сказал: «Последняя партия, больше с тобой не играю».

Прежде Фэн Ботао был бы в смущении и одновременно заискивал, сегодня же он бесстрастно согласился. Хэ Лаоэр был немного разочарован, тут же сделал пару ходов, мельком глядя, что Фэн Ботао лишь с большой неохотой соглашается, и, даже не поставив шах, ушел. А Фэн Ботао свесил, будто отрубленную, голову и остался сидеть, застыв на прежнем месте.

У Хэ Лаоэра было огромное, похожее на личинку, тело — он медленно-медленно полз, копошился, переполз через улицу, через дорожку, дополз до дверей дома и как раз хотел достать ключи, как Фэн Ботао подошел следом. Люди в очередной раз обратили внимание на пугающий острый блеск ножа в глазах Фэн Ботао. Не только другие видели, но и Хэ Лаоэр, обернувшись, увидел, только не мог спросить: «Ты убить меня хочешь, что ли?»

«Не годится, ты должен составить мне компанию и сыграть партию», — Фэн Ботао встряхнул пакет с фигурами так, что они издали шелестящий звук. Видно было, что Хэ Лаоэр несколько озадачен, он нашел довольно много причин для отказа — в конце концов, только и мог, что выступать в роли великодушного победителя, — как тут Фэн Ботао втолкнул его внутрь.

Нашлось семеро жителей городка Цзюйцзю, которые свидетельствовали, что под вечер, в 5.30, Фэн Ботао вошел к вдовцу Хэ Лаоэру, но ни один человек не мог подтвердить, когда он ушел. То, что Хэ Лаоэр умер, обнаружили в 9 вечера, когда его пришел искать сменщик с работы и обнаружил под уличным фонарем длиннющую цепочку муравьев и вслед за тем услышал запах свежей крови. Хэ Лаоэр в тот момент абсолютно неподвижно лежал, навалившись на стол, затылок был накрыт куском белого полотенца, центр которого насквозь пропитался кровью и напоминал японский флаг.

В 11 вечера, так же потерявший жену, Фэн Ботао спокойно открыл взломостойкие двери своего дома, и в темноте ему показалось, будто мно-

жество пальцев указывает на него, и он сразу же захотел отступить, но эти ледяные пальцы набросились на него, уперлись ему в виски, грудь и даже лоб. Он невольно выронил вещи из рук.

Фэн Ботао сказал, что около 6 вечера он покинул квартиру Хэ Лаоэра, который проводил его до дверей, и поставил точку, похлопав по плечу: «Играешь и не выигрываешь — не играй». После 6 он по обыкновению собирался прогуляться по парку, и в этом месте Фэн Ботао как раз и прокололся.

«Кто-нибудь может подтвердить, что вы в это время гуляли?» — спросил полицейский-криминалист.

«Я не обратил внимания — у меня в голове были одни шахматы», — ответил Фэн Ботао.

«И вы все время только гуляли вокруг парка?» — спросил полицейский.

«Ну да», — сказал Фэн Ботао.

«Сколько кругов намотали?» — спросил полицейский.

«Как будто, пару», — ответил Фэн Ботао.

«Ладно, не надо лгать, там цементная дорога перекопана», — сказал полицейский.

«Да-да, я видел, что дорога перерыта», — сказал Фэн Ботао.

«Тогда, скажите, где?» — поинтересовался полицейский.

Фэн Ботао не ответил. В последующие четыре-пять дней он безостановочно упражнялся в комнате для допросов, выполняя всадника[1] и петушиную стойку[2], иногда даже не позволял себе спать. Он все время слышал голос, который призывал: «Признайся же!» — и этот зов, как гипноз, едва не сломил, точно мальчишеское, упрямство в его душе, заставляя его сломя голову нестись к цветущим полям золотисто-желтых цветов[3], но он все еще держался, он знал: стоит уступить — смерть.

Когда подошел седьмой день следствия, вошел секретарь политико-юридического комитета Ли Яоцзюнь, самым привычным образом занял место главного следователя и сказал: «Подними голову!».

Фэн Ботао медленно поднял голову и увидел, как дорожка холодного блеска пронзает послеполуденный мрак, прямиком доходя до его переносицы. Он опять опустил голову и вновь услышал этот голос, не допускающий сомнений: «Подними голову!». Он пытается избавиться от этого пронзительного взгляда, но никак не освободиться, он постепенно чувствует себя так, будто он — обнаженная женщина под пристальным взглядом — хочет весь сжаться-съежиться и не может. Когда его линия обороны ослабла, раздался пугающий звук: наручники, кандалы на ногах, суставы и стул — все заплясало. Он подумал: «Только одно слово, почтенный, — прикажите!» Но секретарь Ли с лицом, как отлитым из бронзы, все продолжал смотреть, прямо как лев, который начинает заносить лапу над добычей.

Потом Фэн Ботао наконец-то, не ведая стыда, заговорил. В первый раз голос звучал совсем нечетко, будто сгорающий от стыда был приглашен в президиум, а во второй раз — уже стал отчетливым и звонким. Он увидел, как блеск меча в глазах секретаря Ли едва показался — тут же отступил, в конце концов стал совсем незаметен, а осталось лишь озеро ласки и нежности, и Фэн заговорил с удвоенным воодушевлением:

---

[1] Поза всадника (наездника) — одна из основных стоек в ушу.

[2] «Петух, стоящий на одной ноге» — также одна из позиций в китайских боевых практиках.

[3] Предположительно, ассоциация с Желтым источником, обозначающим загробный мир (т. е. смерть).

«Я убил Хэ Лаоэра, а еще похитил три тысячи казенных денег, а еще украл у слепого гадателя больше сотни, и еще...», — но тут секретарь Ли вышел, даже не повернув головы. Когда место следователя вновь занял начальник отряда криминальной полиции, Фэн Ботао уже заскучал.

«Как ты убил Хэ Лаоэра?»

«Так и убил, кухонным ножом зарезал».

«Неверно».

«Топором зарубил».

«Неверно».

«Ну, тогда дубинкой забил».

«Угу, уже ближе».

«Молоток, я взял молоток».

«И как ты бил молотком?»

«Я ударил его молотком в лоб — он упал».

«Неверно, подумай еще».

«А, да! Я воспользовался тем, что он был невнимателен, и ударил его молотком по затылку — он упал».

Фэн Ботао заметил, что начальник прямо как ненасытный ребенок, пусть и все его потребности удовлетворены, но некоторыми моментами он на самом деле не доволен. К примеру, объяснением, где ключи от сейфа? И где орудие преступления, молоток? Фэн Ботао пораскинул мозгами и припомнил много мест, где их можно было бы спрятать, затем в сопровождении конвоя отправился на поиски, однако не нашел.

Это дело крутилось на одном месте полгода (признание, отказ от прежних показаний, снова признание), и изначально Фэн Ботао должен был бы быть казнен, однако раньше подвернулся случай: умер муж Ли Силань, одной женщины из добропорядочной семьи. После того, как этот мужчина в третий раз вернулся из Пекина, он несметное число раз пробовал мастурбировать, не достиг желаемого результата, вот и сделал так, чтобы поезд раздавил его срамные части. Уже ничем не обремененная, Ли Силань кланялась в ноги у ворот районной прокуратуры, доказывая, что с 6 до 9 вечера 20 апреля Фэн Ботао был вместе с ней.

Районная прокуратура в то время как раз готовилась предъявить обвинение, и чем больше думали, тем больше убеждались, что что-то не так: лучше уж документы и поручительство Ли Силань все вместе вернуть в уезд. Было высказано четыре замечания: во-первых, мотив убийства остается невыясненным; во-вторых, куда пропало орудие убийства — неизвестно; в-третьих, содержание показаний постоянно менялось; в-четвертых, обнаружилось доказательство, что подозреваемого не было на месте происшествия, и не могло быть совершенно исключено, что кто-то другой совершил преступление. Секретарь политико-юридического комитета парткома уезда Ли Яоцзюнь в тот же вечер отправил человека за Ли Силань, выложил на стол ее поручительство и сверху на поручительство выложил пистолет.

«Чем вы занимались с Фэн Ботао с 6 до 9 вечера 20 апреля?»

«Тем».

«Тем — это чем?»

«Трахались».

«Как запомнила, что это было 20 апреля?»

«В тот день у меня только что менструация закончилась, я отметила в календаре».

«За дачу ложных показаний, однако, садят в тюрьму».

«Я ручаюсь за свою порядочность».

«Ты порядочно порешь чушь. Вот что я скажу тебе, шлюха, дело фактически может быть улажено, а ты сейчас тормозишь его, знаешь — нет?

Мы получили из-за тебя критические отзывы из вышестоящих инстанций, знаешь — нет?»

Ли Силань не удержалась и обмочилась, Ли Яоцзюнь сказал: «Увести-увести». Полицейские утащили ее под мышки, как парализованную. Ли Силань провела в заключении неделю, у нее уже было недержание стула, только тогда ее и выпустили на поруки. А перед тем, как она выходила, полицейский сказал ей: «Даже если ты и выступишь свидетелем — никакой пользы не будет, — никто не может подтвердить, что вы как раз в это время трахались. Говоришь, трахались — так трахались, говоришь, нет — так нет, разве не полный беспорядок в Поднебесной?»

Ли Яоцзюнь начинал с волостных политико-юридических кадров, весь путь прошел: был заместителем волостного старшины, заместителем секретаря, председателем волости, секретарем, дослужился до городского головы, секретаря местного парткома, начальника управления юстиции, начальника управления путей сообщения — так ровно и спокойно он шел много лет — к сорока пяти годам кое-как добрался до заместителя начальника уезда, изначально полагая, что будет этим заниматься до старости. Однако так случилось, что старик, занимающий должность секретаря политико-юридического комитета, заболел и умер, сверху все обдумали и предложили, чтобы Ли Яоцзюнь занял эту вакансию, дабы он обрел вторую молодость и, как говорится, «был назначен и дело об убийстве во чтобы то ни стало необходимо раскрыть». Но сейчас все обстояло таким образом: освободить не освободишь, посадить не посадишь. И тогда он пустил в ход всю свою горячность и, прямо небес достигающий, энтузиазм, и со всей почтительностью обратился по телефону к секретарю районного политико-юридического парткома, чтобы начальство организовало координационное совещание правоохранительных органов на двух уровнях, районном и уездном.

Районная прокуратура: «Доказательств не вполне достаточно».

Ли Яоцзюнь: «А что еще надо, чтобы хватало?»

Районный суд: «Боюсь, решение о смертном приговоре не вынести».

Ли Яоцзюнь: «Ну, тогда с отсрочкой смертной казни».

Районный суд: «Боюсь, что и с отсроченной казнью не вынести».

Ли Яоцзюнь: «Тогда, значит, приговорить к 10—20 годам, на сегодняшний день я ручаюсь своей чиновничьей шапкой[1], я не верю, что это не он убил».

В то самое время Фэн Ботао, сидящий в камере смертников, еще не знал, что за него как раз торгуются, как за овощ. Когда он получил извещение в уездный суд о том, что 22 ноября начинается слушание этого дела, то еще не знал, что уездный суд не пришел к решению о порядке ведения дел о преступлениях, караемых смертной казнью, и все еще полагал, что, в конечном счете, ему не избежать смерти. Он поглощал пищу, тут же глотая слезы, и одновременно мастурбировал, достав свой член выдающихся размеров. И когда семя вот-вот должно было извергнуться, он заорал: «Ли Силань, ну, кричи же! Кричи, что есть силы! От боли лишаешься чувств, ты же должна лишиться чувств!»

Но он еще не дождался 22 числа, а адвокат со связями в верхах уже вызволил его из-под стражи. Когда расстегнули наручники, он ощутил, что рукам очень холодно, а когда раскрыли кандалы на ногах, то ощутил легкость и в ногах, как будто всем телом поднялся в небо. Не чуя под собой ног, подойдя к выходу, он поднял голову и взглянул на небо, бездонное, которое показалось куском выгнутой синей черепицы, которая вот-вот разобьется на осколки. Он еще раз оглянулся на изолятор: у его дверей

[1] Чиновничья шапка — иносказательное обозначение карьеры, должности.

висела вывеска с черными иероглифами на белом фоне, над железной дверью установлен выложенный глазурованной черепицей козырек, со всех сторон вокруг была грязно-белая кирпичная стена; за кирпичной стеной было множество серебристых тополей и протянулся караульный пост, где вооруженный автоматом военный полицейский в зеленом расхаживал взад-вперед. Фэн Ботао думал, что он в пределах досягаемости выстрела, и поспешил забраться в минивэн марки Чанхэ, что стоял у обочины, и, укрывшись в тучных объятиях Ли Силань, тихо заплакал.

Всю дорогу Фэн Ботао было еще нормально, и он даже был намерен прокомментировать недавно начавший торговлю мебель-сити и фирму по продаже мотоциклов, оказавшись же дома и увидев пыль, окутавшую безлюдную, одинокую обстановку, он как путник, вернувшийся после тяжелой дальней дороги, был душевно истощен. Ли Силань вызвала врача, который поставил капельницу с физраствором. Капали два дня, а жар все не спадал, в полузабытьи Фэн Ботао слышал, как пришли начальник управления, председатель и секретарь — температура поднялась еще раз так, что он едва не обуглился. Когда жар отступил, он весь стал холодным, голод и жажда стали нестерпимы, сначала захотелось груши, дальше — баоцзы, в конце концов, он успокоился, только дождавшись, когда Ли Силань расстегнулась и достала набухшую грудь.

Когда Фэн Ботао снова очнулся, сил намного прибавилось, и с этого времени на дверях как будто и замка не было: секретарь политико-юридического комитета парткома уезда, начальник управления общественной безопасности, главный прокурор и все, кто имел отношение к делу, буквально прорвались в комнату. Фэн Ботао испуганно съежился, рука Ли Яоцзюня с силой схватила его, и Фэн Ботао, не находя себе места, встретился с ним взглядом и разглядел там гребешки волн, которые медленно перекатывались, медленно набегали и, в конце концов, выкатились из глазниц.

Ли Яоцзюнь, будто старший брат, глядя на младшего, который вернулся весь израненный, с глубоким чувством сказал: «Старина Фэн, ты перенес незаслуженное унижение, — и в продолжение он достал конверт, говоря: — Здесь тебе компенсация от правительства за 210 дней, около четырех тысяч юаней».

Фэн Ботао потрогал конверт сверху пальцем, он был в такой нерешительности, что Ли Яоцзюнь силком засунул его ему за пазуху. Дальше Ли Яоцзюнь достал еще один конверт со словами: «Полностью выдали твой оклад с надбавкой за семь месяцев, итого семь тысяч».

Фэн Ботао хотел и ничего не мог сказать, как увидел, что Ли Яоцзюнь достал еще один конверт, говоря: «А здесь мы, кто вел полицейское расследование, собрались немного, чтобы финансово выразить сочувствие, всего десять тысяч».

Фэн Ботао торопливо встал, но Ли Яоцзюнь его крепко удержал.

Фэн Ботао воскликнул: «Вы слишком любезны! В этом нет необходимости, это слишком много!»

Тогда несколько уполномоченных взбудоражено, как пчелиный рой, вознегодовали: «Слушай, старина Фэн, к чему же церемонии!»

Фэн Ботао собственными глазами видел, как под подушку засунули этот самый пухлый конверт, и поспешил обеими руками словить за руку секретаря Ли со словами: «Секретарь Ли, по-вашему, как мне отблагодарить вас?»

Ли Яоцзюнь положил сверху другую руку, приговаривая: «И благодарить-то не за что, а ты основательно отдохни. Отдохнешь хорошенько, поправишь здоровье, и мы будем довольны».

Затем все ушли, даже не выпив уже заваренного чаю; быстро подойдя к дверям, Ли Яоцзюнь как будто что-то вспомнил и обернулся со словами: «Ты же знаешь, сегодняшние журналисты любят преувеличивать, только зря хренотень несут».

Фэн Ботао громко откликнулся: «Знаю, знаю».

И в самом деле, после этого несколько журналистов, воспользовавшись темнотой, пришли и постучали в дверь. Фэн Ботао сначала не обратил внимания, а потом подумал, что надо навести порядок, и, потянув за дверь, сказал: «Я не дам вам интервью. Никто не давал мне указаний не давать интервью. Я не даю интервью, только и всего, а если вы напишете какую-нибудь ерунду, то я пойду и спрыгну с крыши вашей редакции».

Журналист спросил: «Разве я здесь не в ваших интересах?»

Фэн Ботао только и сказал: «Катись».

Позже Фэн Ботао узнал, что Ли Яоцзюнь еще и взысканию подвергся, и это заставляло Фэн Ботао чувствовать себя крайне неловко, а случайно встретившись на улице, он не осмеливался смотреть ему прямо в глаза. Фэн Ботао также знал, что его выпустили, потому что учитель экспериментальной школы Чэнь Минъи дал признательные показания по делу об убийстве Хэ Лаоэра. Фэн Ботао думал, что должен же он быть благодарным Чэнь Минъи, если бы последний не признался во всем по затянувшемуся делу, то разве не был бы сейчас Фэн Ботао у Желтого источника[1]? Рассуждая таким образом, Фэн Ботао отправился в больницу, подготовил и передал крупную сумму на расходы тяжело больному отцу Чэнь Минъи.

Произошло это с Чэнь Минъи во второй декаде ноября, четыре дня кряду он ходил воровать водку Маотай[2] из супермаркета: первые три дня успешно, а на четвертый был пойман с поличным. Член отряда совместной обороны местного отделения полиции как хлопнул разок по столу, так и запугал этого учителя истории, такого физически слабого, о котором говорят «ему и курицу не удержать». И он признался, что на нем в самом деле еще несколько дел о краже, а после передачи отряду уголовной полиции полицейский криминалист продолжал стучать по столу, и Чэнь Минъи опять признался, что на самом деле причастен к делу об убийстве, а жертва и инкассатор кредитного кооператива Хэ Лаоэр.

Согласно записям дела, история совершенных Чэнь Минъи преступлений началась как раз в этот день, 20 апреля. В этот день после обеда он, взяв медицинское заключение с диагнозом, шел, не находя себе места, дошел до входа в универмаг, и увидев, что там много людей, сейчас же, стоя на коленях, стал отбивать земные поклоны. Люди спрашивали учителя Чэня: «Зачем же вы в ноги кланяетесь?», а он отвечал: «У моего отца при выдохе изо рта слышен запах мочи»; люди спрашивали: «Что за запах мочи?», а он говорил, что надо делать диализ; люди спрашивали: «Что такое диализ», он же говорил, что ему нужна большая сумма наличных; и люди сразу исчезали, прищелкнув языком от сожаления. Такое бизнес-попрошайничество при универмаге оказалось для Чэнь Минъи безрезультатным, сам он еще и немного подвыпил, а затем он увидел, как по улице проезжала темно-синяя машина инкассации, да еще заметил Фэн Ботао, который, не отпуская полу кителя Хэ Лаоэра, вместе с ним направлялся к берегу озера. Он услышал, как Хэ Лаоэр сказал: «Я никак не могу себе позволить позориться за тебя».

[1] Иносказательно «страна мертвых».

[2] Самый известный и очень дорогой сорт водки в Китае.

Чэнь Минъи будто озарило, он подумал: «Только так, а не иначе». И тогда вернулся домой, умылся, подумал над планом, еще раз умылся, затем взял молоток и направился к дому Хэ Лаоэра. По дороге он увидел потерянного и лишенного сил Фэн Ботао, подумал про себя, что Хэ Лаоэр ждет его один, и присел закрепить на обуви полиэтиленовые пакеты, совсем как у персонала сервисного обслуживания Хайэр[1], надел толстые рукавицы как у рабочего кирпично-черепичного завода, а еще он на ощупь проверил спрятанный в широком кармане молоток. Насколько он был тщателен, настолько и движим дурацким возбуждением от совершения преступления. Он дошел до дома Хэ, глубоко вдохнув, толкнул дверь и увидел, что Хэ Лаоэр клевал носом, склонившись над столом.

Он сказал: «Второй братец[2], одолжи-ка мне денег».

Хэ Лаоэр наклонил голову, свирепое, уродливое обличье испражнилось затуманенными глазами, и он опять заснул.

«Второй братец, одолжи-ка мне денег».

Хэ Лаоэр дал волю гневу: «Ты не видишь — я сплю? Давай уходи быстрее! — и он тут же заснул, не переставая храпеть».

Чэнь Минъи отступил на несколько шагов к двери, секунд на десять застыл на месте, внезапно резко рванул вперед, и молоток ударил по мясистому затылку Хэ Лаоэра. Хэ Лаоэр удивленно ойкнул, задрожал всем телом и опять заснул. Чэнь Минъи решительно пошел на кухню, нашел, принес белое полотенце, накрыл им рану, и нанес подряд еще больше десяти ударов, до тех пор, пока не выступила кровь.

Чэнь Минъи не отыскал каких-нибудь денег, в конце концов, нашел ключи от сейфа на шлевке брюк на трупе и дальше хотел пойти прибить дежурного и ограбить кооперативный сейф, но, немного пройдя, почувствовал, как потяжелели штанины, волосы встали дыбом, он подумал, это Хэ Лаоэр удерживает его за ноги! Посмотрел вниз — нет, пощупал рукой — нащупал лужу мочи. И убежал домой с криком досады и сожаления.

Полицейский спросил: «Почему не взял кухонный нож?»

«Ножом нельзя нанести смертельный удар одним махом — жертва легко может закричать».

«Почему не топор?»

«Топор слишком громоздкий — не размахнуться. А молоток хорошо, молоток миниатюрный и мощный, не так кровь видна. Перед тем, как пойти, я хорошенько подумал, что в обращении с такой громадиной как Хэ Лаоэр, нож хуже топора, топор хуже молотка, с молотком можно застигнуть врасплох и быстро решить проблему».

Полицейский видя, что Чэнь Минъи заговорил с воодушевлением, будто актер, остающийся сторонним наблюдателем, вдруг перебил: «Почему ты сходу решился убить?»

«Да уж сам себя подначил стать преступником. Я подумал, мне как минимум не хватает двести-триста тысяч, как бы там ни было, если убив человека, пойти по этой дорожке, потом уже нельзя обернуться назад, и я не мог колебаться».

«Тогда почему ж ты потом опять не убил?»

«Все ж стыдно людям на глаза показаться, страшно. Я ночами не спал, думал о Хэ Лаоэре».

---

[1] Китайская компания, производитель домашней электроники.

[2] 1) Второй по старшинству в семье. 2) Лаоэр можно перевести как «старина второй».

«А сейчас?»

«Сейчас намного лучше, сейчас выговорился — спокойнее стало».

Чэнь Минъи в сопровождении полиции бесконечно вилял, заблудился много раз, но, в конце концов, указал приблизительное направление в районе заболоченного пруда. Полиция нашла рабочих, чтобы откачать воду. И действительно, когда откачали, то в грязи увидели молоток и ключи. В отношении Чэнь Минъи был приведен в исполнение приказ о заключении под арест, вслед за этим факты прояснились, доказательств стало достаточно, и центральным районным судом в первом слушании Чэнь Минъи, быстро и по всей строгости, был приговорен к смертной казни.

После того, как Чэнь Минъи попал в камеру смертников, самое большее, пять-шесть шагов с востока на запад, семь-восемь — с юга на север, тогда и хлебнул горя, каждый день плакал, сотрясая решетку. Выплакав целую «хаоцзы»[1], он тут же опять начинал рыдать. Старый тюремщик слушал-слушал несколько дней и услышал, что в этом что-то такое особенное есть: у других плач — это ужас, страх, а у Чэнь Минъи — нет, Чэнь Минъи плачет проникновенно, без фальши, преисполненный чувств.

Старый тюремщик выбрал ясный денек и притащил Чэнь Минъи, изможденного так, что кости гремят при ходьбе, к подножию сторожевой башни, предложил ему чарочку и сказал: «Ты о ком плачешь?»

«О моем отце».

Старый тюремщик продолжил: «Слышал, ты образец сыновней почтительности. Я тоже восхищаюсь, у тебя из здешних уровень образования самый высокий, воспитание самое лучшее, поистине жаль, что ты пошел по такому пути».

«Я был вынужден пойти по этому пути».

«Другого выхода не придумал?»

«Было одно время, недолго. Врач сказал, уремия — болезнь распавшейся семьи, когда сыновья и дочери не соблюдают сыновней почтительности, а там и большое состояние тоже может прийти в полный упадок. Ты подумай, моча не выводится — яд полностью остается в организме, надо делать пересадку почки, если не сделать, то остается только диализ; если состояние получше, то в год надо около ста тысяч, более серьезное — тогда двести-триста тысяч. Потом и школа немало одолжила, родня дала немало, даже ученики пожертвовали, но эти деньги, как брызги воды на плиту — в мгновение ока поднимаются дымом».

«Поэтому ты и грабил и воровал?»

«Поэтому я и грабил, воровал и убил».

И тюремщик сказал: «Отпустить не можешь? Все умирают, и твой отец тоже».

«Я не могу убить своего отца».

«Я и не говорю — убить, говорю — отпустить, каждому отмеряны свои дни».

«Отпустить и значит — убить. Моя жизнь, мой университет, моя работа — все то, ради чего мой отец пожертвовал своей жизнью, он кровь свою продавал[2]. Сейчас с ним такое случилось, а мне — отпустить? Ему же только сорок девять, еще моложе, чем ты, дядюшка».

---

[1] Запевки, исполняемые во время трудоемких коллективных работ; напевные мелодии, исполняемые в такт работы.

[2] Во многих районах Китая (чаще в сельской местности) донорство было способом заработка.

Старый тюремщик словил Чэнь Минъи за руку, подтянул рукав, внимательно присмотрелся и сказал: «Ты тоже продавал кровь».

«Когда я учился, то думал, что по-настоящему мне никак не отблагодарить отца, вот и читал каждый день «Канон сыновней почтительности»[1]. Я читал и перечитывал, читал с пылом и энтузиазмом, и думал, что если бы я был Сыном Неба, тогда и закон следования сыновнему долгу — как у Сына Неба; если я — князь, тогда — княжеский закон сыновнего почитания; даже будучи простолюдином, имел бы закон сыновней почтительности для простолюдина. Конфуций сказал: «От императора до простолюдина, сыновняя почтительность — без начала и конца, бояться, что не под силу справиться — такого не бывало». Смысл в том, что нет истинного пути сыновней почтительности, если не отдал все, что есть».

Старый тюремщик только и сказал: «А...»

Чэнь Минъи продолжал:

«Но это только Конфуций считает само собой разумеющимся, еще Конфуций говорил: «Обуздывать и ограничивать себя, дабы ухаживать и содержать отца и мать»[2]. Как будто бы, зная толк в умеренности и экономии, можно обеспечить родителям старость и проводить их в последний путь. Но в настоящее время, как раз таки толкуем о том, что у пути сыновней почтительности и материальная база тоже должна быть: буду я каждый день есть только одну пампушку — вылечится мой отец? Это невозможно. Ты знаешь, что такое чувство сыновней почтительности? Кто следует этому пути — Небо и Землю растрогает, Небеса ответят. В эпоху Хань жил Цзян Ши, его мать любила пить воду из Янцзы, Цзян Ши каждый день проходил по шесть-семь ли, чтобы набрать воды, и Небеса повелели, и у его дома забил источник с водой из Янцзы. При династии Цзинь жил Ван Сян, его мачеха хотела поесть рыбы, и он, сняв одежды, лег на лед, прося у реки рыбы, и Небеса заставили глыбу льда треснуть, и оттуда выскочили два красных карпа. Я и копать свежую лозу Бога грома[3] со стариками крестьянами уже ходил, и рецепты древних снадобий уже искал, но кого я растрогал? Лицо у отца отечное, нервы расстроены, как только не бережется — так сознание и теряет».

Старый тюремщик сказал: «Тебе не надо так настойчиво бороться с проблемой, которую не решить, Конфуций тоже говорит о смирении перед должным. А я прямо скажу: все должны умереть, ты все еще можешь задержать смерть отца? Вкладываешь всю душу и отдаешь все силы — и нормально».

«Если бы у отца была смертельная болезнь, то я бы примирился с неизбежным. Но это не так. Я не могу бросить его в больнице, а сам идти есть, пойти на работу; я буду обедать, работать, а он потом умрет — в чем справедливость?!»

Старый тюремщик согласно охнул и продолжал:

«Я тоже кое-какие книги читал. Там говорится: «Уважать своих стариков, а также стариков других людей, относиться ласково к своим детям и детям чужим; правило почитания родителей — в преданности, правило почитания старших — в послушании». Ты все правильно говоришь о сыновнем долге, но и нельзя же, основываясь на своем личном сыновнем благочестии, отбирать жизнь у другого человека».

---

[1] «Сяоцзин» — одна из основных книг конфуцианского канона, «Канон сыновнего благочестия».

[2] «В жизни соблюдать умеренность, чтобы лучше обеспечить содержание родителей».

[3] Трехкрыльник Вильфорда, — китайское лекарственное растение.

Чэнь Минъи не спеша выпил ту чарку и сказал: «Чужая жизнь и жизнь моего отца... я заберу чужую».

Когда подошло время приведения приговора в исполнение, стояла поздняя осень, небо было безоблачным, старый тюремщик, сопровождая к месту казни, угостил вином. Чэнь Минъи сказал: «Я хочу знать, в каком положении сейчас мой отец».

Тогда тюремщик пошел позвонить, очень долго ждал, пока на том конце подошел доктор и ответил. Доктор сказал: «Умер».

Старый тюремщик подошел к Чэнь Минъи, который под дулами ружей стоял, понурив голову, и сказал: «Состояние немного улучшилось, читает газету».

У Чэнь Минъи тут же слезы будто дождем на землю брызнули.

Потом старый тюремщик поехал на машине в ту больницу, где узнал, что отец Чэнь Минъи умер, будто хрупкая роза. Доктор говорил, надо поливать каждый день, если один день не полить — завянет, два дня не полить — осыплется. Вначале еще был мужчина, очень истощенный, тянулся вслед за полой полной женщины, покрыл все издержки, а после уже не приходил. Старый тюремщик подумал, что хорошие люди и добрые дела имеют, в конце концов, предел.

А мы все еще та большая птица. Хлопая жадными крыльями, чуя весть о возможной смерти, мы каждый день, не находя себе места от скуки, кружим в небе над местечком Цзюйцзю, и вот какие события, в конце концов, увидали: секретарь политико-юридического комитета парткома уезда Ли Яоцзюнь успешно избран председателем Народного политического консультативного совета КНР; сотрудники супермаркета вздыхают, что только болван и мог воровать самую дорогую водку четыре дня подряд в одном и том же месте; а бухгалтер небольшой гостиницы лесного хозяйства Фэн Ботао днями и ночами, со спокойной душой, трахает вдову Ли Силань. Однажды, после секса, Ли Силань сказала: «А кольцо?»

Похоже, Фэн Ботао уже и не помнил всей этой истории. Ли Силань плакала, одновременно кричала и тут же восклицала: «Ты обманщик! Ты обманул Чэнь Минъи! И меня обманул! Обманщик ты!»

Перевод с китайского Анастасии БУКАТОЙ.

Отшельник

Рассказ

Возвращаясь в родную деревню в старом разбитом автобусе, я из своего полусогнутого положения смотрел на восково-желтое лицо крестьянина, который разглядывал висевшую на стене автобуса рекламу средства против эпилепсии. Всем нам было очень скучно, но мы выносили это как часть жизни, которую приходилось терпеть. Только у кондукторши неожиданно в глазах вспыхнула радость, когда она высунула голову в окно и закричала: «Давай быстрей, а то полиция заметит». Народ в автобусе заволновался, но только дверь открылась, как все сразу замолкли, потому что в автобус не спеша поднималась девушка редкой красоты.

Красавица бросила взгляд в салон и подалась назад, но кондукторша торопливо сказала: «Есть места, есть».

«Где же?» — спросила красавица на путунхуа[1], и кондукторша потеснила крестьянина с восково-желтым лицом. Красавица вытерла сиденье салфеткой и села, что меня немало порадовало, потому что, даже согнувшись, я мог любоваться ее длинными ресницами, высокой переносицей, выразительными глазами и синеватыми жилками на шее. Девушка сидела и отсутствующе смотрела вперед, словно с какой-то печалью. Потом, когда я посмотрел на ее сумку, мне тоже стало грустно, на сумке было написано meters/bonwe[2], а из кармашка выглядывал толстый стебель лука. Этот стебель выдал ее, одна эта мелочь сразу превратила ее в несчастную девушку из поэмы «Павлин летит на юго-восток»[3].

Если бы тогда она печально взглянула на меня, то думаю, что я непременно был бы сражен наповал ее красотой и печалью, но как раз в тот момент кондукторша подошла за оплатой. Внешне кондукторша представляла собой полную противоположность девушке: у нее были высокие брови, низкая переносица, страшные морщины и совсем мужские реденькие усики. Она посмотрела, как красавица достает купюру в двадцать юаней, послюнявив, отсчитала тринадцать юаней и уже хотела дать сдачу, но потом вспомнила о привилегиях своего служебного положения, взяла купюру в двадцать юаней и, рассмотрев ее, сказала: «Разменяй».

«Если вы продаете билеты, то вы и должны давать сдачу», — громко сказала красавица. Люди в автобусе наблюдали за диалогом, глядя то на нее, то на кондукторшу. Кондукторша участливо сказала: «Девушка, говорю же тебе, в такой ситуации это ты должна разменять, разве не знаю я людей?» — и, повернув голову ко всем, добавила: «Сейчас десять юаней и то подделывают, так что надо остерегаться».

Красавица, бормоча что-то, открыла кошелек, вынула одну купюру в пять юаней и две купюры по одному юаню, в сумме получилось семь юаней, отдала кондукторше и так же печально, как и раньше, стала смотреть вперед. Я на некоторое время оцепенел, подумал, что вот наконец и вернулся в свой уездный городок. Дальше я вышел из автобуса, в пальто, брюках, кожаных ботинках и с кожаным портфелем — все это было, конечно, не местного производства, — а люди с огненными взглядами тут же, на основе всего этого, оценивали мою истинную стоимость. Когда-то я приезжал сюда, будучи иждивенцем женщины из другой провинции. Я знал, что нисколько не люблю ее, но тогда, закрепляясь на новом месте, я был нежен, мягок и стыдливо выставлял перед другими ее положение: живет в большом городе, аспирантка, младше меня почти на семь лет.

Но теперь такого рода сенсации уже не пройдут, теперь хвастаться мне абсолютно нечем. Поэтому, сойдя с автобуса, я тотчас закрылся дома, никуда не выходил, иначе меня сразу стали бы допрашивать, купил я дом или нет, купил я машину или нет, разбогател я или нет, стали бы оценивать образование, которое я получил, ну что ты, приятель, тебе уже далеко за тридцать.

---

[1] Путунхуа — официальный язык в КНР и на Тайване. Фонетика и лексика путунхуа основаны на произносительной норме пекинского диалекта, принадлежащего к северной группе диалектов китайского языка.

[2] Meters/bonwe — ведущая китайская торговая марка одежды и аксессуаров в стиле casual, вышла на рынок в 1995 г. Ее торговый слоган гласит: «Не идти обычной дорогой».

[3] «Павлин летит на юго-восток» — китайская лирическая поэма анонимного автора, жившего в начале III в. В поэме рассказывается трагическая история любви молодых людей, вступивших в брак, но вынужденных расстаться по настоянию свекрови и в итоге покончивших жизнь самоубийством. В настоящее время выражение «павлин летит на юго-восток» может означать масштабную миграцию трудового населения в восточные и южные районы Китая.

Так я и сидел дома, но родители считали, что это неприлично, хотели, чтобы я выходил из дома, и я иногда прохаживался по улице, словно исполняя какой-то долг. На Новый год я вернулся домой тоже как будто из чувства долга. Приехал домой — долг исполнил, поэтому давно уже купил обратный билет и сидел в ожидании отъезда. Так я дотерпел до третьего числа. Я дремал после обеда, и мне снился сон, в котором мой одноклассник, лицо которого я не мог различить, настойчиво мне звонил. Он говорил: ну ты молодец, вернулся и даже с нами не увиделся, если не увидишься, ну и не надо, но тогда я возьму нож и убью тебя. Я без всякого удовольствия пошел с ним встретиться, но обнаружил, что чем дальше я иду, тем глуше дорога, тем чернее небо, и потом вообще все исчезло. Когда я проснулся, не прошло и нескольких минут, как в доме действительно зазвонил телефон. Я подошел, хотел ответить, что отца, или матери, или брата нет дома, поэтому спросил: «Кто вам нужен?»

«Мне нужен ты», — отчетливо и решительно прозвучало в ответ.

«А вы кто?»

В трубке раздался вздох сожаления, а потом он просто сказал: «А ты угадай». Когда я сказал, что не знаю, в собеседнике ощутилось полное разочарование, будто его ударили плетью, и он печально сказал: «Я... Цзисян».

«Какой еще Цзисян?»

«Фань Цзисян».

Тогда я вспомнил его, он учился вместе со мной в средней школе в параллельном классе, а вспомнил его потому, что он поступил в университет, но учиться не пошел. Я подумал, что даже встретившись с ним на улице, то самое большее — это кивнул бы ему головой, так что ему сейчас может быть от меня нужно?

«Хочу много о чем тебе рассказать, я с лета уже начал справляться, когда ты приедешь», — сказал он.

«Тебе обязательно надо со мной говорить?»

«Да, обязательно».

«Но я завтра вечером уезжаю».

«Не сегодня же ты уезжаешь, приходи сейчас».

Повесив трубку, я стал ругать себя, как я мог быть таким мягкотелым, почему не отказал ему? Спускаясь по лестнице, выходя на улицу, подходя к велорикше, я все думал, что даже не помню, как выглядит этот Фань Цзисян, так чего ради я должен ехать на велорикше по улице Шуйнилу, а потом по улице Байюлу, а потом по улице Хуантулу? Но все же я поехал. Когда мы приехали к концу улицы Хуантулу, рикша сухо сказал: «Пройдете вперед до края поля, перейдете через речку, взберетесь на вершину горы, там и увидите». Но пока я взобрался на гору, уже стемнело. На вершине я действительно увидел кирпичный домик, к востоку от которого был посажен сладкий картофель, обгороженный плотной бамбуковой изгородью (скорее всего, для защиты от диких кабанов).

Я вошел в дом и обнаружил, что дверь в комнату полуоткрыта, а в комнате темно и никого нет. Я подумал, вот и хорошо: пришел, посмотрел, теперь можно с чистой совестью уйти. Но только стал крадучись отходить к двери, как она со скрипом распахнулась, а в двери стоял и зорко смотрел на меня мужчина в старой пижаме и с пробором в волосах. Я только стал нерешительно поднимать руку, как он уже заключил меня в объятия и хлопал по спине, будто утопающий, часто и сильно молотящий руками по воде. Потом он дотронулся щекой сначала до моей левой щеки, потом — до правой и порывисто сказал: «Дружище!».

Войдя в комнату, он зажег тусклую лампу, заварил мне чаю, пригласил сесть на просевший диван и объяснил, что ему нужно пойти на кухню что-нибудь приготовить, ведь его Мэймэй нет дома. Я беспокойно сидел на диване и осматривался. На стенах ни побелки, ни штукатурки, кирпичи

налеплены самым безобразным образом, подобие порядка только в центральной комнате. Там висела парная надпись, гласившая: «Три звезды[1] в дом; Счастья больше, чем воды в Восточном море, жизни дольше, чем у сосен Южных гор». Там же висела картина, это была «Мона Лиза», и я не понимал, то ли смотрел на нее, то ли она смотрела на меня, смотрела вездесуще и угрюмо. Под картиной находился стол, на котором стояла тарелка, полная сухих сморщенных яблок, старый магнитофон с двумя динамиками и черно-белая фотография в рамке. Я подумал, что это, видно, судьба: Фань Цзисян поступил в университет, но учиться не пошел, и теперь вот в каких условиях он живет, я же не поступил, но, благодаря связям, прошел спецкурс и столько всего уже успел повидать.

Фань Цзисян вошел, неся жаровню, подтянул скамеечку и сел. Поглаживая мой пуховик, он сказал: «Сейчас поедим, а переночуешь сегодня у меня».

«У меня завтра поезд, боюсь, не успею».

«Во сколько поезд?»

«В одиннадцать вечера», — ну почему я не умею врать, хотел сказать, что в восемь утра. Пожалуй, тогда Фань Цзисян проводил бы меня с фонарем вниз по горе, но теперь он даже как будто поперхнулся.

«Вещи еще не собрал».

«Целый день собираться не будешь, а здесь сможешь хорошо отдохнуть», — он все поглаживал пуховик, приговаривая: «Мягкий, теплый, наверное, известной марки, стоит, видно, около пятисот юаней?» Он снял нитку со своей грязной лоснящейся пижамы и сказал: «Вы уезжаете в город, зарабатываете деньги, а я просто ничтожество». Он схватил рубашку и свитер и стал снимать пижаму, тогда в области поясницы я увидел шрам, похожий на сколопендру: «Почку вырезали, ничего не смог поделать. Если бы мог, поехал бы к Мэймэй».

«Почему вырезали почку?»

«Отказала почка, вот и вырезали. Одну вырезали, вторая осталась, не умру».

«А Мэймэй — это та Лю Мэймэй, с которой ты учился?»

«Да. Дружище, я именно об этом и хотел тебе рассказать. Люди в деревне не понимают, что такое любовь, когда им начинаешь про это говорить, они смотрят на тебя, как на прокаженного. А ты должен понять, из наших одноклассников только ты один перебрался в город».

«Почему это я должен понять?»

«Если ты не поймешь, другие тем более не поймут».

Потом он сказал: «Я и Мэймэй вначале друг на друга особого внимания не обращали, она сидела за первой партой, я — за последней. Я ей не нравился, мне она тоже не нравилась. Если бы так окончили школу, то больше и не общались бы. Но ты же знаешь, что в жизни человека всегда однажды появляется Бог и дарит ему откровение. В тот день я шел по улице и внезапно услышал два слова: подними голову. Я поднял голову и увидел Мэймэй, которая стояла на втором этаже, положив руки на перила и глядя куда-то вдаль. Я подумал, что она просто стоит и смотрит, не более того, но как раз в тот момент из радиоприемника зазвучала песня, Мэймэй посмотрела вниз, и я увидел ее слезы, увидел тайну всей человеческой жизни. Меня будто ударило током, я весь задрожал и осел на землю, будто парализованный, а лицо словно залило чем-то, я провел по нему рукой — оно все было мокрым от слез. Я подумал, это призыв, и, словно какой-то другой человек, поднялся на второй этаж, и сказал ей, стоящей ко мне спиной: «Я здесь для того, чтобы защищать тебя».

---

[1] Три звезды — имеются в виду боги счастья, служебного положения и долголетия.

Она не ответила. Я обнял ее и сказал, что Бог, создавая человека, дал ему две головы, четыре руки, четыре ноги, но боясь, что это слишком много, разделил его на две половины, поэтому наша единственная миссия — найти свою половинку в этом море людей. Теперь я ее нашел, ты мне ближе отца, ближе матери, ты единственный близкий мне человек в этом мире, в котором я так одинок. Но она только изо всех сил рванулась из моих рук, взбешенно глянула на меня и ушла. Я подумал, не околдован ли я, но когда она вышла из аудитории, сердце у меня опять будто полоснули бритвой, и я все понял. Дружище, когда ты сейчас смотришь на человека, то видишь лишь органы чувств, просто физиологию — глаза это глаза, нос это нос, но когда я смотрел на Мэймэй, все было не так, я видел потоки обиды и горя, льющиеся из ее глаз».

Договорив, Фань Цзисян взял фотографию в рамке: «Вот, гляди, так или нет? Ее лоб, глаза, а в них смертельная тоска». Я взял фотографию и, повернув ее к свету, увидел маленькое круглое личико, большие глаза, высокую переносицу, тонкие губы и молочно-белые жемчужинки зубов и сказал: «Плохо видно».

«Это я увеличил однодюймовую фотографию с выпуска, конечно, видно плохо, но характер все же здесь чувствуется, жаль только, что Мэймэй не смогла его раскрыть. Знаешь, какими словами она потом мне ответила? Сказала, я вообще не такая, как ты говоришь, ты, наверно, не в себе. Боюсь, я виновата перед тобой. А еще она сказала, что я для нее просто одноклассник, заурядный и ничем не примечательный. Я не выдержал, написал прощальное письмо, лег на кровать и порезал вены, кровь звонкими нотками капала на пол, а я радостно говорил: «Помоги мне! Помоги мне! Приди и помоги мне!» Но она так и не появилась, кровь печально вернулась с пола обратно в вены, мне было стыдно, но я начал поправляться. Я мог лишь, как бродяга, кружить вокруг нее, говорить, ты моя, или говорить, ты не моя, пока она в конце концов не разрыдалась и не закричала: «Умоляю тебя, хватит меня мучить, я хочу умереть, ты знаешь об этом или нет!» Я в невероятном испуге стоял там и не знал, что делать, обнять ее мне казалось неправильным, не обнять — тоже неправильным. В один миг я понял простейшую истину, перевернувшую мир: она мне нравится, но я ей не нравлюсь, вот так все просто. Я сказал: «Ты все правильно решила, я тебя беспокоил, мешал тебе, ранил тебя, но с сегодняшнего дня помни: даже если ты ко мне придешь, ты мне уже будешь не нужна».

Я слабел, чахнул, избегал ее, слонялся в одиночестве. Но все равно я ее встречал, а когда встречал, слезы обиды застилали глаза, я убегал и окурками жег руки. Когда руки у меня стали гноиться, я понял, что единственный способ отомстить ей — это поступить в университет. До этого я был по успеваемости на тридцатом месте, но месяц за месяцем я стал усиленно учиться и в конце концов стал третьим в классе. Учитель говорил, что если бы я раньше так взялся за учебу, то смог бы поступить и в Цинхуа, и в Пекинский университет, откуда ему было знать, что так я спасался от боли?

Возможно, то, что учитель неоднократно меня хвалил, заставило Мэймэй по-новому взглянуть на меня, возможно, пробудилась ее женская натура, но однажды Мэймэй прислала мне записку, в которой было написано: «If you can do, show me your all»[1]. Сердце у меня забилось со страшной силой, будто у лошадей, которые вот-вот должны влететь во вражеский лагерь, но вдруг остановились. Я не знал, что она имеет в виду, в конце концов я стал просто жечь руку окурком, и только с силой прижимая окурок к руке, я почувствовал, как сердце у меня стало твердым, как железо. После этого закончились экзамены в школе, и каждый школьник чувствовал себя

[1] Если сможешь, покажи все, на что способен (пер.с англ.).

опустошенным и испуганным, как роженица, уже родившая, но еще не видевшая своего ребенка. Тогда Мэймэй не выдержала, встретив меня, она сама мне улыбнулась измученной улыбкой и спросила: видел ли я записку. Я молчал, опустив голову, тогда она спросила еще раз. Я посмотрел на нее, в ее глазах не было ни малейшей досады, и сказал, что не понимаю, хочет она меня опозорить или похвалить.

«Какой же ты ребенок», — сказала она и погладила меня по голове. Ее рука будто обладала волшебной силой, стирая слой за слоем всю обиду и ненависть. Когда она сказала, не плачь, я ужасно обиделся, сказал ей, я твой ребенок, да, я твой ребенок, как легко тебе сделать так, чтобы я вернулся, будто собачонка. Но вместе с громадной радостью во мне жил и огромный страх, в самой глубине я ощущал, что это непредсказуемая женщина, сегодня она тебя обнимает, а завтра уже ни в чем не уверена и вынуждает тебя уйти. Поэтому в первые несколько дней я не проявлял никакой инициативы, все решала она: она скажет, посмотри на меня, я послушно смотрел в ее ясные глаза и на синеватые жилки на шее, а если она этого не говорила, я просто безвольно сидел возле нее. Так продолжалось до того дня, когда она сказала: «Ты что-то скрываешь, я чувствую в тебе неприязнь». Я ответил, что это не так. Но в конце концов не сдержался и высказал то, что было на сердце. «Я тебе не верю», — сказал я. После этого увидел, что надежда в ее глазах погасла, она встала и подошла к обрыву. Я было подумал, что она хочет оттуда спрыгнуть, но она села, сняла с себя одежду и легла. Полный чувства вины, я подошел к ней, но стоя перед ее телом, я был не в силах даже пошевельнуться. Она потянула меня к себе. Как только я приник к этому незнакомому телу, во мне поднялось ощущение, будто я совершаю преступление, как если бы преклонялся перед богоматерью и в то же время желал ее. Тогда она обхватила мою поясницу и вовлекла меня в свое тело. Я погрузился в бездну доверия и не удержался, чтобы сказать: «Прости меня». А она, заплакав, спросила: «Ты знаешь, почему ты мне нравишься?»

Она сказала, что ее старшему брату было чуть больше десяти лет, когда он умер. Рассказывала об этом с такой болью, но уже через несколько дней начала озорничать, спросила меня: «Ты правда меня любишь?» Я ответил: «Ага». Она сказала: «Хорошо, тогда пойди и подожги гору». Я взял зажигалку и без задней мысли пошел и поджег ветки. Листья сгорели быстро, и я насобирал сосновых иголок, набрал целую охапку веток, сделал факел и стал поджигать им траву, раздувал огонь, махал одеждой, и в конце концов огонь с треском стал пожирать ветки и разрастаться. Очень скоро огромные языки пламени распространились очень далеко, и я увидел, что она плачет. Я сказал ей: «Девочка моя, беги быстрее», — взял ее маленькую ручку, и мы побежали во весь дух. Сбежав к подножию горы, я обнял ее и сказал, что люблю, но она все повторяла: «Как ты мог поджечь, как мог поджечь». Дружище, это судьба, теперь я круглый год живу здесь, чтобы охранять леса от поджога».

Он втянул носом воздух и вдруг бросился на кухню. Вскоре вернулся, держа в руках чашу, из которой пахло очень аппетитно, выложил жареные овощи и соленья, положил на стол три пары палочек, три ложки, три чашки, три тарелочки и три стакана. Посмотрев в окно, в которое стучал ветер, я спросил: «Кто-то еще должен прийти?»

«Мэймэй скоро придет».

«Она приходит так поздно?»

«Да, здесь никто ее не тронет, на горе живем только мы вдвоем».

Покушав и выпив, Фань Цзисян спросил: «На чем я остановился?»

«На том, что поджег гору».

«Точно. Тогда для меня поджечь гору ничего не значило, весь мир поджечь и то было не жалко. Как раз тогда я узнал, сколько баллов набрал на

экзамене, оказалось, что очень мало. Моя мать спросила, сдал ли я, я сказал, что сдал, мать расплакалась. Она была неизлечимо больна, а когда умер отец, то у родственников деньги одалживать стало трудно. Мэймэй тоже плакала, у нее семья была еще беднее, чем моя, ее отец в молодости мог вернуться в Шанхай, но женился на девушке из крестьянской семьи. В итоге всю свою зарплату он пропивал, а иногда, напившись, ходил по дому голый, доводя жену и дочь до слез. Семья Мэймэй жила в домишке на руднике, окна в доме были заклеены оберточной бумагой. Возле дома грудилась куча дров, наш дом и тот отапливался углем, а в их доме топили дровами. В то время учитель не знал, что мы встречаемся, говорил: «Вот выбьетесь в люди и поженитесь, какие же вы оба несчастные».

Уже приближался сентябрь, на учебу денег мы насобирали очень мало, ходили на гору и плакали. Один раз, когда мы выплакались до изнеможения, Мэймэй крепко обняла меня, отпустила и снова обняла, потом подошла к обрыву и сказала: «Сначала прыгну я, а ты за мной». Я не понял, что она сказала, но когда камень скатился с обрыва и упал, но снизу не донеслось ни одного звука, я очнулся, подскочил и схватил ее. Я сказал: «Мэймэй, ты же дрожишь, как лист». Мэймэй не ответила, одна спустилась с горы, и сколько я ни упрашивал ее, все было бесполезно. Потом Мэймэй сказала: «Давай тянуть жребий, если вытянешь ты, вернешься и женишься на мне, если вытяну я, то вернусь и выйду за тебя». Я сказал: «Поезжай ты, я не поеду». Мэймэй ответила, что это несправедливо. Я печально смотрел, как она сделала два бумажных шарика, положила в чашку и начала трясти. Я сказал: «Тяни сначала ты». Она сказала: «Нет, шарики делала я, так что тяни ты первый». Когда я стал тянуть, она схватила мою руку и свирепо сказала: «Если хочешь играть, то будь готов проиграть». Когда я разворачивал зеленую бумажку, мое сердце бешено колотилось, потом я увидел желаемый результат и нарочно рассмеялся перед своим единственным зрителем. Я смеялся, пока ее глаза не угасли, она вся сгорбилась, а я сказал: «Давай еще будем тянуть три раза, кто дважды победит, тот и поедет». Она ответила, что не нужно. Но я сделал два шарика и взял ее руку и заставил тянуть. Она помедлила, вытащила один шарик, внешне спокойно развернула и слабо вскрикнула. Я видел, что ей тоскливо, и сделал еще два шарика, сам вытянул, развернул и увидел, что там написано: ехать в университет. Мне тоже стало тоскливо.

«Я слышал, что ты не пошел учиться».

«Да, уведомление о зачислении я сжег. Мэймэй с деньгами обеих наших семей поехала в провинцию Аньхой учиться на спецкурсе по финансам. Она говорила мне: «Цзисян, ты обязательно меня дождись». Я ей отвечал, что нечего тут и говорить, ты станешь жить в городе и уже не вернешься. Она говорила: «Нет, я все равно хочу, чтобы ты ждал меня, просто будешь жить, как прежде и будешь меня ждать». Я ничего не отвечал, я уже знал, насколько жестока судьба, если поезд судьбы тронется, то я с ним уже не справлюсь, остановить его не смогу».

Фань Цзисян опустил голову и замолчал. Когда он поднял голову, рот его был открыт, на пол медленно капали слезы: «Поезд тронулся, мне надо было вернуться домой, увидеть мать и сказать ей: «Я пустил на ветер твои деньги». А мать должна будет пойти к родственникам и сказать им, что ваших денег больше нет».

Когда Мэймэй уехала, только я один ей звонил, она мне не позвонила ни разу. Чем дольше так продолжалось, тем чаще я ей звонил. Мне все время хотелось знать, любит ли она меня по-прежнему, но она только изворачивалась. Я мог лишь утешать себя: если бы Мэймэй обманывала тебя, то зачем тогда тебе отдалась? Зачем говорила, что спрыгнет с обрыва? Почему не нашла себе богатого парня? Почему пришла к тебе? И почему была согласна, чтобы ты пошел учиться, это ведь ты упросил ее, она сама

тебя об этом не просила. Но вместе с тем, я думал: если она любит, почему не хочет говорить? Неужели поговорить со мной так трудно? Я представлял себе разодетых и надушенных городских парней, которые целыми днями крутились вокруг Мэймэй, ведь так даже самая честная девушка могла не выдержать. После этого у меня начались проблемы с почкой, только в больнице я узнал, что почка практически отказала. Я одолжил денег на операцию. После операции мне было плохо, я позвонил ей и сказал: «Мне вырезали почку». Она ответила: «О-о». Я сказал, что хочу умереть, она молчала. Я закричал, что какой же я дурак! Большего дурака на свете нет! В те дни я хотел найти место, чтобы умереть, даже дышать и то было трудно, а когда я встречал людей на улице, то подходил и говорил им: «Лю Мэймэй хитрая лиса, ядовитый скорпион, жестокая волчица, если топором ее прибьют, молотком прибьют или мотыгой, поделом будет ей, гадине».

«Мэймэй, не смотри, что я так тебя ругал».

Мы сидели вдвоем в тусклом свете лампы, было тихо и страшно, но потом произошло нечто еще более страшное, Фань Цзисян закричал, обращаясь к тарелке: «На что смотришь, Лю Мэймэй? На что смотришь? Я тебе говорю, ты пьешь мою кровь, ты ешь мое мясо, разве не хочешь еще? Приходи, ешь дальше, съешь все!» Замолчав, он все мясо и овощи вывернул на третью тарелку, а я осторожно протянул к нему руку со словами: «Не надо так, Цзисян, не надо». Он вскочил, отшвырнул пустую скамеечку, разбил пустой стакан, пустую чашку и поломал третью пару палочек. Я, весь дрожа, поднялся и пошел к двери. Когда я открывал засов, Фань Цзисян спросил: «Что ты делаешь?»

«Перепил, меня тошнит».

«Замерзнешь там», — и он потащил меня на кухню, заставил присесть у печки с погасшими дровами. Я засунул указательный палец в рот, но меня так и не вырвало, и я был опять препровожден к столу. Я сидел, спина у меня была мокрая и холодная, а за спиной будто стояло множество чертей с ощеренной пастью и выпущенными когтями. Я был как во сне. К тому времени Фань Цзисян немного пришел в себя и тихо продолжил свой рассказ:

«Потом я поднялся на скалу, стоял там один и видел синее небо, горные хребты цвета старинной меди и ветер, прилетавший из дальних стран, и тоже задрожал, как лист, но вдруг кто-то изо всех сил потянул меня за ногу. Я даже обмочился и только тогда обернулся посмотреть, кто это. Это была моя мать. Ни слова не говоря, она отвела меня домой, уложила в постель, укрыла одеялом. Когда я проснулся, стала кормить меня кашей, когда я отказался есть, сказала, что тогда и она больше никогда ничего не станет есть, что она растила меня не для того, чтобы я получил должность и разбогател, а для того, чтобы похоронил ее, когда она умрет. Только тогда я очнулся, только тогда выплакал все, что со мной произошло. После этого по желанию матери устроился на гору повременным рабочим, так что, можно считать, стал работать. Здесь я и оставался, а время шло, так однажды я узнал, что Мэймэй вышла замуж, и мне стало еще труднее, протянул до того дня, когда стало ясно, что Мэймэй ждет ребенка и что со мной она так и не связалась, но я оставался здесь, дождался дня, когда умерла мать, и потом ждал дня, когда умру сам. Но когда прошло целых шестнадцать лет, Мэймэй, словно обычная крестьянка, с котомкой за спиной поднялась сюда на гору. В тот момент я сидел спиной к двери и ужинал. У меня было ощущение, что за спиной кто-то стоит, но я этому не поверил, и пока я сомневался, до моего плеча дотронулась холодная рука. Я поднял глаза и увидел сильно изменившееся лицо и погасшие, все повидавшие глаза. Мэймэй тихо сказала: «Я вернулась». Я тихо ответил: «Хорошо».

Сказав это, Мэймэй ничего больше не говорила. Когда я окликал ее, она только улыбалась, как немая. Раньше она улыбалась так, словно в ледяной темноте появлялся яркий луч света, теперь же в ее улыбке было сдавленное страдание. Я подошел и обнял ее, она мне позволила и лишь легонько тянула меня за одежду. Когда я ее отпустил, увидел, что лицо ее все мокрое от слез, мне стало страшно и больно, и неловко было о чем-то спрашивать. И так до того момента, когда она погасила лампу и легла так же, как много лет назад... Мы как будто и без особого желания, но сделали это. Потом я встал помочиться и неосторожно направил на нее свет лампы и увидел, что все ее тело покрыто морщинами, а между морщин — шрамы. Как постаревший и сильно побитый ребенок, она лежала на кровати и испуганно смотрела на меня. Повернувшись, она расплакалась и печально сказала: «Смотри, я хочу, чтобы ты смотрел, подойди и посмотри». Я подошел, она взяла мою руку и провела ею по шраму от родов на животе, по высохшим соскам и по низу живота со следами ожогов от окурка и грустно сказала: «Теперь ты можешь бросить меня, можешь бросить». Я сказал: «Какое это имеет значение, Мэймэй, какое имеет значение?»

Тут Фань Цзисян предложил вместе с несуществующей Мэймэй выпить за меня, я выпил и настороженно смотрел, как он взял в рот овощей и пережевывал их тщательно и громко. Когда он дожевал, я сказал: «Мне правда нужно идти».

«Разве мы не договорились, что ты переночуешь здесь?»

«Нет, мне еще нужно купить много чего в деревне».

«Чего купить?»

«Горных трав».

«А-а», — он повел меня на кухню, открыл корзину и посветил на высушенные травы. — «Я тебе дам столько, сколько нужно. Завтра рано утром отнесу их тебе». Я молчал, отказавшись от мысли искать новые отговорки. Он взял фонарь и принес лестницу. Когда верх лестницы коснулся перекрытия, я осторожно полез вверх и, оборачиваясь, видел, как он подбадривающе смотрит на меня: лезь дальше, лезь. Я взобрался, без возможности спуститься обратно, услышал, что он убрал лестницу. Снизу донесся голос Фань Цзисяна: «Кровать там в самом центре».

Я включил фонарь и осмотрелся. Кроме лампочки со снятым патроном, старой кровати и маленького отверстия, служившего окном, больше там ничего не было. Я отвернул фонарь к стене, медленно сел, луч света стал постепенно гаснуть, и скоро темнота окутала все, словно плащ. Я лег, укутался с головой в одеяло и одиноко заснул. Во сне я будто был в Шанхае. Меня окружали вещи, которые можно найти лишь в городе. Вдруг мне послышались звуки: «а... а... а...», и чем дальше, тем громче был звук, который в конце концов меня полностью разбудил. Я встал с кровати в кромешной темноте, крадучись сделал круг и обнаружил, что звук, оказывается, идет снизу. Я осторожно приник к перекрытию, приложил ухо и отчетливо услышал, что это самозабвенно кричит женщина. Потом я осознал, что еще там слышно прерывистое дыхание мужчины.

Мужчина в этом становится и актером, и зрителем. Как писатель молча смотрит на написанное произведение, молча смотрит он на свое влечение, обеспокоенно осматривает свой половой орган, рассчитывая силу и частоту проникновений, настороженно оценивает женщину и потом с притворной уверенностью шепчет ей на ухо: можно? Но развязка всегда приходит нежданно, и он, вскрикнув несколько раз, падает на сцену.

Утром в отверстии показалась голова Фань Цзисяна: «Ночью мы с Мэймэй... разбудили тебя». Я пошел к отверстию, и он, будто испуганный престарелый дядюшка, торопливо слез, а когда я поставил ногу на ступеньку, он был уже внизу и крепко держал лестницу. Когда я спустился, он

сказал, снимая с меня соломинки: «Мэймэй ушла, завтрак не приготовила, давай спустимся в деревню и поедим».

«Не стоит беспокойства».

«Но я тебе отнесу две корзины горных трав».

«Целых две корзины? Не нужно, я возьму лишь чуть-чуть».

«Ну что ты церемонишься, если не повезешь в Шанхай, так оставишь своим домашним».

«Действительно не могу, мне нужен только пакетик трав, не больше».

«Хорошо», — чуть-чуть помолчав, он сказал: «Мне очень неловко, давай я тебя провожу до деревни».

«Я уже не маленький, зачем меня провожать?»

«Давай провожу».

«Не нужно, мы же не первый день знаем друг друга, зачем такие церемонии?»

«Хорошо», — еще помолчав, он сказал: «Когда в следующем году приедешь, не забудь зайти ко мне».

Мы вместе вышли из дома. Когда дошли до развилки, Фань Цзисян посоветовал мне идти на восток, так будет намного ближе. Сам он, с парусиновым мешком за спиной, пошел на запад, сказав, что ему надо на собрание по лесоводству. Я смотрел, как он осторожно перепрыгивает через расщелину, и подумал, что ничего необычного в этом нет. Вскоре я дошел до картофельного поля и увидел, что та бамбуковая изгородь на самом деле не изгородь, а лабиринт Чжугэ Ляна[1]. Солнце освещало десяток рядов покосившегося сухого бамбука, оно светило на несколько тупиковых путей и один путь, ведущий к выходу. Я подумал, что этот лабиринт, наверное, сделали по какому-нибудь учебнику младших классов и, увидев указательную стрелку у начала лабиринта, со всех ног пустился туда. Прошло около пятнадцати минут, когда я в сердцах повалил бамбуковую стенку и выбежал оттуда просто по прямой. Даже мешок горных трав, который я забыл внутри лабиринта, был мне уже не нужен.

После этого я, полный сил, спокойно, легко и свободно стал спускаться с горы. Я думал о том, как Фань Цзисян, оставаясь один в своем мертвом жилище, каждый раз нажимает на клавишу Open в старом магнитофоне, достает кассету, ставит ее и нажимает клавишу Play. Некоторое время кассета крутится беззвучно, а потом медленно начинает звучать голос тайваньского певца, поющего о ветре, сметающем все на своем пути. Звуки песни растрогают Фань Цзисяна и, обхватив ноги, он с сочувствием произносит: «Мэймэй, то, что приносило нам счастье, давно прошло, то, что приносило страдания, тоже прошло, нам лишь осталось доживать свою жизнь, будто мы уже дряхлые-дряхлые старики».

Перевод с китайского Елены РОМАНОВСКОЙ.

[1] Чжугэ Лян (181-234) — известный китайский полководец, политический деятель и изобретатель. Жил отшельником, пока Лю Бэй, ставший впоследствии правителем царства Шу, не уговорил Чжугэ Ляна быть его помощником. Автор многих изобретений, в том числе им был придуман лабиринт «Каменная Стража», который имеет восемь входов, но из которого чрезвычайно сложно найти выход.

ВЭЙ ВЭЙ



Крик,
или Хроника жизни маленького города 2

Рассказ

Эта история случилась двадцать лет назад.

Шитоу был самым видным парнем на нашей улице. Спросите соседей: кто из них не помнит Шитоу? Стройный, белокожий юноша, тихий и застенчивый, он разъезжал на велосипеде по городу с желтой сумкой на плече.

Соседские женщины утверждали, что за одни летние каникулы Шитоу заметно вырос и похорошел. Когда ему исполнилось семнадцать, все местные девчонки стеснялись открыто смотреть ему в глаза. Они смущались, краснели, не решались заговорить с ним.

Шитоу, когда смотрел в нашу сторону, тоже краснел и слегка улыбался уголками губ. Его мама говорила: «Гляньте на нашего Шитоу, он же целыми днями с девушками общается, а никто из взрослых и не замечает этого».

«Точно! Ох уж эти дети... Наша Цзяли такая же. Как говорится, в тихом омуте черти водятся», — отвечала моя мама.

При встрече Шитоу и я обменивались короткими взглядами и отправлялись каждый в свою сторону. Моей маме он очень нравился. Возможно, она даже в тайне мечтала, что в будущем он станет ее зятем.

Шитоу отличался от других юношей с нашей улицы, он был порядочным, воспитанным. Учился в одной из лучших средних школ города, и его оценки были довольно неплохими. Дядя Ли, отец Шитоу, говорил, что его мальчик немного хмуроват. До экзаменов в университет рукой подать, а он целыми днями пишет что-то в свой дневник.

Моей маме было очень интересно, что же Шитоу пишет в дневнике.

Дядя Ли вздыхал: «Что там можно писать? Предаваться печали? Философствовать? Кому будет интересно это читать? Жалкая писанина! Своим поведением он смешит людей!» Моя мама говорила ему в ответ: «Вы просто не понимаете. Возможно, наш Шитоу — поэт».

Дядя Ли часто приходил к нам в дом играть с моим отцом в шахматы. После нескольких партий он закуривал сигарету и заводил разговор о Шитоу. Он одновременно и гордился сыном, и тревожился о нем. Обычно дядя Ли начинал свои рассуждения с мыслей о новом поколении детей, потом он вспоминал истории своих армейских лет в провинции Шаньси, когда, несмотря на холод и снег, ему приходилось ездить в горы прокладывать железную дорогу.

«Это такие мучения, понимаешь, Цзяли? Некоторые люди так никогда и не вернулись с гор, погибли там; детонаторы трескались от жуткого мороза, что

уж говорить о людях?.. Говорю тебе, Цзяли, в то время твой дядя Ли не задумывался о своей судьбе, если такое выражение как «жизнь человека» всплывало перед глазами, я...», он вставал, начинал ходить по двору и продолжал: «я только и думал о твоей тете Чжан. Думал, что если выживу, то женюсь на ней. Родим с ней сына и назовем Шитоу. У Шитоу также родится сын — Шицзы». Во время своего рассказа дядя Ли все время с улыбкой смотрел на меня.

Дядя Ли — человек интересный. Он часто поддразнивал меня, говорил, что хочет в будущем найти такую невестку, как я, и моих родителей это ничуть не раздражало. Особенно мне запомнился один летний вечер: мы сидели во дворе нашего дома и дядя Ли восторженно рассказывал о сыне. Имя Шитоу слетало с его губ, как удары в барабан, звонко и ритмично: Шитоу, Шитоу. Дядя был весьма разговорчив: начав говорить, он мог продолжать часами, однако нам никогда не надоедали его рассказы, всегда хотелось послушать еще.

Лето подходило к концу, и в последний день августа в дом напротив приехала маленькая девочка. Она была местной, на вид около восьми-девяти лет. Отец уехал в командировку, а ее отправили к его двоюродному брату погостить на это время.

Я хорошо помню тот день, когда она вместе с мамой появилась на нашей улице. На ней было голубое платье с рукавами-фонариками. Ее глаза, спокойные и живые, щурились от солнца. Ее желтоватые волосики закручивались в два завитка на лбу, а слева и справа были завязаны в узелки, как рога антилопы. Потом мы узнали, что эту похожую на эльфа маленькую девочку звали Сясюэ. Она была ученицей первого класса начальной школы.

Она очень стеснялась незнакомых людей. Когда в первый раз шла по нашей улице, в одной руке у нее был небольшой пакет, в другой — мамина ладонь. Перед дверью дома она застыла, не решаясь войти. Ее мать засмеялась: «Что случилось? Мы же с тобой договорились! Ты же сама хотела приехать!» Провожая маму, стоя в дверном проходе с мокрыми от слез глазами, она произнесла: «Мама, ты обещала забрать меня через два дня». Мама ответила: «Если ты будешь послушной, то я съезжу тебе за новыми платьем и туфлями в Шанхай». Услышав это, Сясюэ проглотила слезы и заявила: «Туфли я хочу красные, а платье белое». Мама улыбнулась: «Ты уже тысячу раз мне об этом сказала!»

Тетка, у которой Сясюэ оставалась, произнесла: «На нашей улице живет много маленьких девочек. Вот увидишь, через два дня, когда нужно будет уезжать, ты захочешь остаться. У тебя же есть одноклассница по имени Ли Цин? Она как раз живет через улицу. Я отведу тебя к ней». После этих слов девочка через силу выдавила улыбку.

Ли Цин была младшей сестрой Шитоу. Две девчонки целыми днями играли вместе. В последние дни летних каникул им было особенно весело: они сломя голову носились по переулкам, играли в прятки. Одна, прислоняясь к столбу, закрывала глаза и спрашивала: «Готово?» Другая отвечала: «Еще нет, не смотри!» Частенько слышался их девчачий визг. Он начинался в одном из углов улицы и постепенно полностью заполнял ее.

По прошествии многих лет Шитоу вспоминал, что его часто преследовал этот детский крик. Иногда в полдень, иногда вечером, этот визг будто бы дожидался пока Шитоу встанет с кровати, и тут же исчезал. «Это очень странно, — говорил Шитоу, — он тут же исчезал».

Этот визг смутно напоминал свист и звучал всегда, когда Шитоу засыпал; а когда просыпался, его уже не было. Поэтому, каким именно был этот звук, Шитоу описать не мог. Иногда он даже сомневался, не слуховые ли галлюцинации у него. Шитоу стал нервным, его начала мучить бессонница.

Он постоянно ждал появления этого визга. Остальным же людям до игры девочек не было никакого дела.

Однажды вечером Шитоу отправился к младшей сестре в комнату за ножницами. Приоткрыв дверь, он увидел, как две девчонки сидят на кровати без одежды и играют в игру «каменный домик».

Шитоу непринужденно зашел в комнату, достал ножницы из ящика стола, глянул в их сторону, слегка наклонив голову, и спросил, усмехаясь: «Почему же вы так некультурно себя ведете?». Раньше Шитоу часто купал свою сестренку и, дотрагиваясь до ее несозревшей груди, часто шутил, мол, кожа да кости. Но в тот день на кровати рядом с сестрой сидела полноватая девочка. Шитоу почему-то взволновался, девочка тоже выглядела взволнованной. Она уставилась на Шитоу большими испуганными глазами, схватила платье и прикрыла тело. Ее движения были четкими и быстрыми, совсем как у взрослого человека. Шитоу показалось это интересным. Маленькая восьмилетняя девчонка с розовой кожей, полноватыми руками и ногами, согнула коленки, чтобы прикрыть грудь, двумя руками крепко обняла плечи и, съежившись, сидела на краю кровати. Шитоу тоже застыл, он никогда не попадал в подобную ситуацию с восьмилетней девчонкой. В какой-то момент ее платье соскользнуло, она опустила руки, чтобы поднять его, и Шитоу разглядел ее еще не успевшие набухнуть соски. Он услышал свой голос — слабый, тонкий, как будто звучавший издалека. Обливаясь по́том, он сказал, чтобы девочки оделись. Затем повернулся и вышел, закрыв за собой дверь. Он чувствовал себя как в тумане.

Первый случай изнасилования в истории нашей улицы произошел через два дня. Шитоу наконец услышал тот самый пронзительный крик, который он так долго искал. Это был его собственный крик, спрятанный глубоко внутри, и если бы он продолжал сдерживать его, то вскоре бы сошел с ума. Шитоу не признавался себе, что собирается совершить изнасилование, и все же в тот вечер он выпроводил сестру, и остался в комнате наедине с той девчонкой, прижал ее к груди и... заплакал. Он понимал, что вот-вот произойдет то, что повлечет за собой большие несчастья. Тем не менее, после преступления над восьмилетней девочкой, он чувствовал себя несправедливо обиженным.

Шитоу вспоминал, что когда увидел ее в первый раз, она ему сразу понравилась. Это было с ним впервые: он смотрел на маленькую девочку, сидящую в их дворе под виноградной рамой, наблюдал, как она поднимает свои глаза с длинными ресницами, и солнце сверкало на ее лице. В ее руках сидела тряпичная кукла, девочка помогала кукле совсем как грудному ребенку ходить в туалет, убаюкивала ее, и даже вдруг подняла платье, чтобы покормить ее грудью. То, как она это делала, было очаровательно: немного наклонив голову, то закрывая, то открывая рот. Шитоу говорил, что он никогда не считал ее восьмилетней, в его глазах она была старше его ровесниц — восемнадцатилетней, двадцатилетней.

«Она больше чем кто-либо с нашей улицы выглядит как молодая девушка», — эта фраза Шитоу ранила многих местных девчонок и в особенности их матерей. Моя мама тогда сказала: «Почему это она выглядит как молодая девушка? Девушка, потому что была изнасилованной?» Одним словом, она действительно была удивительной, могла вести себя по-женски сдержанно, могла общаться непринужденно, ее взгляд всегда был прямым и ясным, но в то же время лукавым. Шитоу не мог забыть, как те два дня повлияли на ее глаза, чистые, спокойные, казалось, они все понимают, он до сих пор видел на ее носу свои капельки пота.

Она называла его красавцем, старшим братом, иногда могла поцеловать его, упрашивая купить ей мороженое. Она также могла капризничать

и кокетничать с кем угодно, покачивая своим юным телом, а в минуты печали ее глаза становились влажными от слез. Она позволяла Шитоу носить ее на спине, ее тело свисало с его шеи, губы покусывали его мочку уха, она в отличие от Ли Цин называла его полным именем: Ли Ши, Ли Ши. Позже все на нашей улице говорили, что эта девочка — необыкновенное создание, хотя и ничего не понимает. Поэтому и нельзя винить Шитоу за содеянное.

В то утро пронзительный крик заполнил воздух на нашей улице, и спустя двадцать лет этот визг иногда отдается в наших ушах, напоминая нам о далеких событиях прошлого, о том, что произошло между семнадцатилетним парнем и восьмилетней девчонкой. Они оба были невинны и очень боялись. После, Шитоу умолял ее не говорить о случившемся никому, она согласилась и попросила сводить ее в кино, он тоже согласился. Постепенно ее стали донимать боли, и на этом последние летние каникулы Шитоу закончились.

Шитоу осудили на два года.

Отец девочки был начальником криминальной полиции, он был при исполнении, когда узнал о случившемся. Когда ему рассказали, он, двухметровый мужчина, упал на колени, разбил кулак в кровь о цементную плиту и горько зарыдал. Потом он достал свой пистолет и, целясь в пустоту звездного неба, выпалил несколько раз. В ту же ночь он вернулся на нашу улицу за дочерью. Уже было поздно, девочка сонно свернулась калачиком в объятиях тетки и засыпала. Все взрослые в комнате окружили ее, тихонько шептались, иногда отворачивались, чтобы вытереть слезы.

Отец девочки обнял ее, и слезы потекли по его щекам, девочка тоже громко заплакала. Жители улицы говорили, в конце концов, зачем плакать, но она тогда сама этого не знала.

Отец отправился в дом Шитоу, постоял немного в той самой комнате, пока его зубы не стали стучать. Он подумал, что он все же полицейский и не может действовать поспешно. Лишь уходя, он бросил фразу, что заставит Шитоу ответить жизнью за это.

И это было правдой, Шитоу едва не загубил свою жизнь в семнадцать лет. Его семья также заплатила высокую цену за произошедшее, они даже перескочили через несколько инстанций и добрались до административного центра провинции, чтобы как-то помочь Шитоу, ведь дядя Ли был начальником управления по энергообеспечению и имел неплохие связи. Тем не менее, еще полгода эта история была событием первостепенной важности в нашем городке, все вокруг только об этом и говорили. Два главных участника этой истории также стали местными знаменитостями.

А соседи то и дело вздыхали, мол, Шитоу загублен.

Они не могли избавиться от воспоминаний о молодом перспективном парне, элегантном и воспитанном, с фарфоровым цветом кожи и красивыми чертами лица, о том, как он беззвучно смеялся, слегка оголяя свои белоснежные зубы. Через год он должен был сдавать экзамены, все учителя наперебой не верили, что Шитоу мог совершить такое. Он был честным и скромным мальчишкой, хорошо учился. А количество тайно влюбленных в него девчонок, которые оставляли записки в его книгах! Однако он ничуть не обращал на них внимания.

Каждый новый учебный год несколько учеников не возвращались в школу, кто-то умирал от болезни во время летних каникул, кто-то тонул, а Ли Ши совершил изнасилование.

Ходили слухи, что девчонка, участница событий того лета, была отправлена в семью дяди по материнской линии, где каждый день в школу ее водили дедушка с бабушкой, и только на Новый год ее иногда привозили обратно. Все родственники старались создать вокруг девочки безопасную

обстановку, чтобы она могла забыть о прошлом, забыть этот маленький городок, то лето, улицу... как будто бы этого никогда и не было.

Один городской мудрец говорил, что это абсолютно лишнее, поскольку все уже случилось и оба молодых человека сломаны, и две семьи должны прекратить враждовать, а наоборот — ценить друг друга или вовсе породниться. Во всяком случае, говорил он, Шитоу должен подождать несколько лет, пока она подрастет, и стать ей парой. Многие тайком обсуждали такой вариант, однако, прошло время, и никто уже не вспоминал о словах мудреца.

Когда Шитоу вышел на свободу, мы уже почти забыли о нем. За два года местные ребята заметно выросли, завели новых друзей, приобрели знания и идеи. Однажды я увидела его в одиночестве идущего по переулкам, за его спиной оставалась наша разросшаяся шумная улица, по которой после работы в разные стороны спешили толпы людей, а огромное летнее солнце, каким оно бывает в самом начале осени, заходило за горизонт, освещая все вокруг.

Я увидела молодого человека, шаркающего вьетнамками по улице, одетого в белую рубашку и необъятных размеров желтые военные штаны, в очках, он как будто бы похудел, а выражение лица оставалось невозмутимым, но бодрым и здоровым. К тому же он курил, одну руку он держал в кармане брюк, во второй зажимал сигарету, время от времени он поднимал руку, затягивался и выдувал белый дым из ноздрей. Я увидела тот самый прямой мужественный подбородок, в девятнадцать лет пришло его время начинать бриться.

Мне трудно сказать, как именно я смотрела на Шитоу, но он тоже увидел меня, непринужденно махнул головой, улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. Странным образом, то непонятное напряжение, которое существовало между нами раньше, исчезло, я с огорчением поняла, что прежнего юного Шитоу уже нет, он вырос, и, увидев любую девушку, уже не будет смущаться и краснеть.

Моя мама говорила, что я должна остерегаться Шитоу, а вечерами и вовсе лучше никуда не выходить. На нашей улице все матери так же наставляли своих дочерей. Но я была уверена, что ни одна из нас не заинтересует Шитоу, ни красавица, ни уродина, потому что никто из нас не смог бы занять место Сясюэ, той восьмилетней девчонки. К тому же и он уже совсем не тот парень. В тот вечер я в одиночестве долго проплакала в своей комнате.

Время неумолимо бежит вперед, обновляясь, стремится в вечность. Мы уже доросли до возраста семнадцатилетнего Шитоу, а когда поступили на первый курс, Шитоу был уже тридцатилетним мужчиной, отцом. Он рано женился, взял в жены простую и работящую деревенскую девушку, поговаривали, что и отношения у них ладились. Дядя Ли в очередной раз подключил связи и устроил его на какую-то должность в фармацевтическую компанию. Эти годы Шитоу прожил довольно благополучно, он был здоров, спокоен и сдержан. Вдобавок он пополнел, но пока не достиг определенной степени ожирения, однако, и изящности его манер, и походки уже не было в помине. Он редко выходил, лишь время от времени мы могли увидеть его на улице, едущим на велосипеде с сыном на передней раме, иногда он нагибался, чтобы услышать, что говорит сын. Они ехали навстречу заходящему солнцу, он слегка прищуривал глаза, их тень за спиной казалась бесконечной.

Мы все говорили, что Шитоу хорошо проживет эту жизнь. Демон в его душе уснул.

И если бы не событие этой осени, Шитоу, возможно, заурядно прожил бы свои годы, наблюдая, как потихоньку разрушается его тело, старея, и спо-

койно бы умер от старости в своем доме на нашей улице. Он, как и мы, стал одним из благонадежных граждан, за весь свой век не достигнувших ничего особенного, чьи умственные и физические способности постепенно шли на убыль. Двадцать лет прошло, все мы, выросшие вместе в одном дворе, уже зашли за тридцатилетний рубеж. Дядя Ли вышел на пенсию, этой осенью он попал с инсультом в больницу.

Конечно, в это сложно поверить, но именно в этой больнице Шитоу и Сясюэ вновь встретились. За все эти годы в нашем городке случались необычные и дикие истории, но никто так и не переплюнул этих двух. Старики говорили, что это абсолютно невероятно, и, наверняка, с неба упала звезда, что они опять встретились. Другие же считали, что это судьба, и обязательно должно произойти возмездие за то, что случилось двадцать лет назад, ведь у них неспокойные души! Мудрец, который высказывал пророчества на их счет, еще был жив, и услышав про их встречу, долгое время молчал, а потом изрек, что эти два несчастных ребенка, если бы тогда вняли его словам и поженились, не дошло бы до этого.

Тем не менее, все случилось, как случилось. Два человека, пережившие общую мимолетную, но оставшуюся навсегда, историю, и прошедшие потрясения и лишения, уже не узнали друг друга. В их внешности произошли коренные изменения, девушка к тому же скрывала свое имя и фамилию, ее в восьмилетнем возрасте увезли из родного городка, как маленького воришку, а по прошествии времени окольными путями выдали замуж за военного, с которым они развелись три года назад. Этой осенью она приехала домой в отпуск, заодно повидать родителей. Всем посторонним она говорила, что это ее дядя с теткой.

В тот вечер, около пяти-шести, она приехала в больницу навестить родственницу. Ее «тетя» работала врачом, как раз дежурила и не могла находиться с ней, поэтому девушка отправилась побродить одна по территории больницы. Справа от амбулатории располагалась пустынная дорожка, по обеим сторонам которой были расставлены лавочки под высоченными деревьями. Девушка сначала немного посидела на лавке, поскучала и отправилась гулять дальше по дорожке. Она спрятала руки в карманы плаща, опустила голову и рассматривала собственные ноги, время от времени она поднимала глаза, осеннее солнце пробиралось сквозь густые ветви деревьев и словно каплями дождя попадало на ее веки. Она немного постояла, поморгала глазами.

В эту минуту она увидела, что навстречу ей идет мужчина средних лет, но не придала этому значения. В такие дни после обеда на этой дорожке всегда были люди, проходящие мимо. Этот человек такой же. Они мельком взглянули друг на друга и, казалось, остолбенели. Позже она говорила, что этот человек ей всего лишь показался знакомым, будто бы она с ним раньше встречалась, но никак не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. То мгновение, когда они проходили рядом друг с другом, словно замедлилось. Повернуться и посмотреть еще? Но вроде бы и нет в этом необходимости. Два человека прошли мимо друг друга, и у обоих что-то дрогнуло внутри, после чего каждый отправился в свою сторону.

Чуть позже она опять увидела этого человека, в самом начале пустынной дорожки, он смотрел, как она идет. Мужчина смотрел на нее, но притворялся, будто высматривает другого человека. Он был одет в джемпер с высоким воротником, джинсы и коричневые кожаные ботинки. Его волосы слегка растрепались на ветру. Он выглядел достаточно молодым, даже несмотря на видимый животик, круги под глазами и морщины. Люди с такой наружностью обычно ничем особенным не выделяются. Если подумать, то он выглядел, как и большинство мужчин среднего возраста из

этого города, ведущих тихий образ жизни с достатком, старея и разрушая свое тело день изо дня.

Однако в данный момент он видит девушку. Она совсем не красавица, высокая, слишком худощава, но, тем не менее, внутри у Шитоу затрепетало. После он говорил, что на протяжении этих лет он всегда ждал одну девушку, он не знал, как она выглядит взрослой, где живет, но он постоянно обдумывал один сценарий, как они встретятся. В такие моменты тело Шитоу напрягалось, на ладонях выступал пот, в его дыхании слышался едва различимый крик.

Такого крика не было уже двадцать лет. Шитоу говорил, что он уже почти забыл о нем, лишь иногда, когда ночь опускалась на землю, а он не мог уснуть и отправлялся посидеть во дворе или на ощупь пробирался в комнату младшей сестры, которую она оставила пустовать после замужества, и с кровати соскальзывал на пол, слезы, уже без его ведома, текли из глаз.

Иногда он не плакал, а лишь безучастно сидел, и ему слышался тот рычащий громкий звук, как в тот день под палящим солнцем много лет назад. Он, словно привидение, настигал его вновь. Как свист, как одышка, как нож проникал в его тело. Перед его глазами сразу возникал образ тела той восьмилетней девчонки, полноватой, розового цвета... Шитоу одним махом включал свет, опирался плечами на край кровати и рукою стаскивал простынь.

Шитоу решился подойти к девушке, в тот момент он и сам не знал, что собирается делать, он немного смущался, тело слегка подрагивало. Но вот он уже стоял перед нею, и она подняла на него глаза.

Шитоу же опустил голову, сжал руки, звучно похрустел суставами. Улыбнулся: «Вы тоже пришли навестить больного?»

Она окинула его взглядом и серьезно заявила: «Я жду родственника».

Шитоу сжал губы и сказал: «По акценту слышно, что вы не местная».

Она кивнула.

«А откуда?», — спросил мужчина.

Она улыбнулась, скорчила снисходительную гримасу, как будто бы все поняла. Лицо Шитоу залилось краской. Он потер руки и неразборчиво промямлил: «Ты не подумай, я ничего не имею в виду...» Продолжить говорить он не смог, заболело сердце. Кем она его считает? Что думает? Он практически начал сердиться. Двадцать лет прошло, двадцать лет ни один человек не знал, что он жил как мертвый человек, он давно уже умер. Его душу заполнили бесчисленные паразиты, мучившие его совестью и стыдом, каждый такой паразит напоминал ему об изнасиловании. Шитоу вздрогнул всем телом.

Она подняла на него глаза, насторожившись. С детства ее учили не разговаривать с незнакомцами, а то, что с ней случилось в восемь лет, уже почти стерлось из ее памяти. Она лишь помнила, что ей причинили боль, что это было что-то серьезное, и все ей сочувствовали. Она во всех отношениях хотела выглядеть хорошо и образцово, ей казалось, что именно так она ограничит себя от посягательств на ее жизнь, но все эти годы кто-то постоянно вторгался в ее мир. К ней всегда подходили люди и начинали разговор, интересовались, который час, как ее зовут и сколько ей лет, где она живет, и не нужно ли ее подвезти. Спрашивали, замужем ли она, и говорили, что она очень привлекательна. И как бы равнодушно и холодно она себя не вела, эти мужчины... если внимательно подумать, то она совсем не сердилась на них.

В этот раз было так же. Сначала этот мужчина не вызывал у нее отвращения, его лицо казалось ласковым, одежда уместной. Если бы он начал преследовать ее, пожалуй... она бы смогла деликатно ему отказать, объяс-

нить, что она разведенная, а дом далеко. Девушка отнеслась пренебрежительно к этому человеку, и говорить с ним не хотелось, чтобы не дать ему лишнего повода остаться.

А Шитоу не хотел уходить, он вдруг почувствовал себя влюбленным в нее, сам не зная почему. Эта девушка перед ним... она ему сказала, что ее фамилия Гу, а зовут Гу Пинпин. Без особых причин Шитоу услышал, как он звучно выдохнул воздух и будто бы вновь успокоился.

Много раз он хотел набраться смелости и сказать, кто он, какие поступки он совершил. Об этих вещах он никогда не говорил с другими людьми, держал их внутри, и всегда жаждал расплакаться. Он также хотел рассказать, что все эти годы он ждет одного человека, которого уже видел раньше. Пусть даже они не встретятся никогда, но только лишь увидав ее, он сразу поймет, что они близки, что она может понять его. Она совсем не красавица, но очень притягательна.

В одно мгновение Шитоу показалось, что он вернулся на двадцать лет назад, в то время он был очень молодым, ему только исполнилось семнадцать лет, и можно было бездельничать. Он словно опять услышал тот самый смутный пронзительный крик из своих снов, и вспомнил, как он под полуденным солнцем обдумывал что-то. Он заволновался и испугался.

Шитоу испугался глаз девушки — внимательных и проницательных, осторожных, как у беспокоящегося кролика. Понемногу начинало темнеть, на аллее не было людей, свет фонарей виднелся откуда-то издалека, прошла будто бы целая вечность. Он не мог рассмотреть ее, но помнил выражение ее глаз, тех мягких, нежных, очаровательных. Шитоу чувствовал себя подавленным, он с усилием собрался с духом, чтобы слезы не покатились из глаз.

Девушка своим видом показывала, что ей нужно идти. Она была растеряна и, ничего не сказав и опустив голову, пошла, ее шаги становились все быстрее и быстрее, почти перейдя в бег, Шитоу также побежал. Он что-то крикнул ей, через два-три шага уже схватил ее за плечо, они находились в тупике, обычно никто не заходил сюда, к тому же со всех сторон была непроглядная тьма...

Моя мама рассказывала: «Со всех сторон была непроглядная тьма, он догнал ее...», и я сразу начинала кричать. Я отчетливо помню, это был мой крик, острый, горький, он возник двадцать лет назад на летних каникулах, этот звук, похожий на мощный, неопределенный свист, он навсегда остался откликом в голове Шитоу, только он сам об этом не догадывался.

Как мог знать Шитоу? Шитоу!

Столько лет прошло, я думала, я уже забыла Шитоу, правда, ведь столько лет, но я никак не забуду его! В конце этого года я вернулась в наш городок навестить родственников, и когда моя мать упоминала о нем, когда я видела материалы тех лет у младшего брата (который работает в полиции), я начинала рыдать.

Двадцать лет прошло, а я никак не могу забыть Шитоу, а он до сих пор любит ее. В такие минуты я ощущаю себя до странности пустой и очень страдаю.

Перевод с китайского Ксении МЕЛЬНИКОВОЙ.

Макияж

Рассказ

I

Десять лет назад Цзя Ли была бедной студенткой: неразговорчивая, часто запинающаяся, с медленной походкой. Ее нельзя было назвать некрасивой, но и красавицей она никогда не была. Как и большинство девушек в кампусе, она носила очки с толстыми стеклами.

Цзя Ли не знала, какие красивые у нее глаза: большие, спокойные, живые и одухотворенные. Однажды какой-то парень сказал ей: «В твоих глазах свет». Цзя Ли спросила: «А разве этот свет не в глазах у каждого?» Тот парень окинул ее взглядом и засмеялся: «Я имел в виду... в твоей голове. Свет в твоей голове».

Цзя Ли вдруг смутилась. Она поняла, что он имел в виду. Тихая и незаметная, Цзя Ли очень редко привлекала чье-то внимание. Она была обычной студенткой, никогда не тратила много сил на учебу, но в отличие от других девушек не встречалась с парнями, не интересовалась одеждой и косметикой. Целыми днями в ее голове, словно лопающиеся пузырьки, рождались причудливые идеи и мысли — и это действительно был свет, мерцающий, как таинственные блуждающие огни в ее глубоких глазах. Эти странные мысли снова и снова, словно жужжание насекомых, кружили вокруг ее жизни, и их невозможно было прогнать. Иногда эти мысли и идеи даже пугали ее: а что, если однажды, движимая ими, она вдруг сделает что-то из ряда вон выходящее, что удивит и испугает всех. Но иногда она как будто получала удовольствие от них, погружаясь в состояние безудержной радости и волнения.

Жизнь Цзя Ли в университете текла спокойно и размеренно. Никто и не догадывался, о чем думает эта девушка. К счастью, за это время она не сделала ничего безрассудного и вызывающего.

Той осенью на последнем курсе ее распределили на практику в посреднический суд соседнего города. И за эти совсем короткие полгода практики Цзя Ли влюбилась в начальника своего отдела, между ними завязались отношения. Его фамилия Чжан, ему было за 30, способный и подающий надежды судья. Женат. Сыну восемь лет. Казалось, у него в семье все хорошо: на рабочем столе под стеклом лежала их совместная фотография. Они сидят на весенней клумбе — муж и жена средних лет с ребенком — и смотрят куда-то в пустоту, спокойно и сдержанно улыбаясь. Цзя Ли долго не находила себе места.

Она вот так безнадежно влюбилась. Такая наивная, увлеченная, печальная, совсем без опыта в любви. В университете столько много молодых парней — Цзя Ли смогла устоять перед ними, но не устояла перед этим мужчиной. Ее рабочий стол был прямо напротив его, иногда в какой-то момент их взгляды случайно встречались, но они тотчас же отводили глаза. Цзя Ли все никак не могла осмелиться посмотреть ему в глаза, такие невозмутимые и красивые. Он выглядел моложе своего возраста, носил очки в железной оправе, был очень элегантным, с хорошими манерами.

Как-то в четверг после обеда внезапно пошел дождь. Все сотрудники разбежались по делам, в кабинете осталась одна Цзя Ли. Она листала какую-то старую газету, время от времени обнимая руками плечи. В этот момент чей-то голос спросил: «Холодно?»

Цзя Ли совсем не удивилась, она непринужденно и спокойно улыбнулась ему. Он, очевидно, только что вернулся с банкета, с мокрыми волосами, от него пахло дождем и вином. Он остановился возле стола,

на ощупь стал что-то искать, потом собрал документы и снова бросил их на стол. В какой-то момент он мельком взглянул на Цзя Ли, с немного отсутствующим выражением лица. Поднялся и подошел к умывальнику взять полотенце. Дойдя до Цзя Ли, он снова остановился и спросил ее что-то по работе.

Цзя Ли положила локти на стол, из расклешенного рукава тонкого свитера виднелись белоснежные руки. Она не смотрела на него, но знала, что сейчас его взгляд прикован к ее рукам; этот взгляд, словно муравей, бежал по ним сантиметр за сантиметром.

Цзя Ли опустила руки и прилегла на стол. Он подошел к ней, потрогал ее рукав и сказал: «Ты так легко одета!»

Цзя Ли удивилась: его низкий голос будто кусал ее мочки уха, легонько дышал в барабанные перепонки.

Они договорились встретиться через два дня. Поздним вечером, в воскресенье, он приехал к ней в общежитие. В руках у него была стопка документов, он очень спешил, всю дорогу здоровался с коллегами и говорил непривычно много. Когда он вошел, то слова вдруг закончились, он сел на стул и, не проронив ни слова, стал смотреть на нее. Они не виделись два дня, он выглядел немного неряшливо: усы взъерошены, очень усталый вид. Сказал, что плохо спал. Цзя Ли вся напряглась. Она намеренно спросила его, заранее зная ответ: «Почему?»

Он закрыл глаза, встал и обнял ее, затем прикоснулся ртом к ее уху и прошептал что-то неразборчивое, бессвязное.

Они оба знали, что эта любовь безнадежна, к тому же у Цзя Ли осталось совсем немного времени — всего пару месяцев, а потом она должна вернуться в университет и принять распределение на работу. Когда они лежали вместе, он часто считал, загибая пальцы: «Осталось 43 дня... 32 дня». Чем дальше считал, тем безумнее становился. Иногда он успокаивался, внимательно рассматривал ее, будто никогда не знал, словно хотел впитать ее всю в себя. Он позвал ее: «Цзя Ли».

Цзя Ли отозвалась.

Он снова повторил: «Цзя Ли».

Цзя Ли, взъерошив его волосы, засмеялась: «Что такое?»

Он прошептал: «Мне всего лишь захотелось произнести твое имя».

Ее взгляд вдруг стал очень «терпким». В это мгновение она поняла, что этот мужчина любит ее. Когда лежит на кровати, когда прикасается к ней... он любит ее. Против обыкновения, он много говорил, раскрыл ей душу: кто с кем в хороших отношениях на работе, а кто в плохих; как он поднялся до начальника, что все это стоило ему огромного труда... Как его жена бегала за ним. Все говорят, что она хорошая, а он ненавидит ее. Они в браке 15 лет, но уже 7 лет не спят вместе.

Хотя и с Цзя Ли он спал очень редко — просто не было возможности. Если бы они встречались каждый день хоть на чуть-чуть, то в уголках глаз каждый мог бы унести с собой рукав, руку, прядь волос, половинку друг друга... Но не получалось. Он как будто очень спешил, время от времени мог резко поднять голову и долго смотреть на нее, словно накапливал силу, и ему было безразлично, видел это кто-то или нет. Цзя Ли быстро опускала голову, она не хотела понимать, что он сошел с ума. Както однажды он снова подошел к ней под предлогом посмотреть какой-то документ. Он говорил и что-то показывал в документе, а другой рукой в это время водил пальцами по ладони Цзя Ли.

Цзя Ли испуганно смотрела на коллег в кабинете, обливаясь холодным по́том. Через много лет она поймет, что этот мужчина очень жестокий.

Но он хотел спать с ней. Занятый, суетливый и тщедушный, он каждый день был окружен разнообразными людьми: начальство, коллеги, клиенты

в суде, друзья, жена и ребенок... У него почти не оставалось времени на Цзя Ли. Он еле освободился, чтобы сводить ее в ресторан. После еды он поспешно обнял Цзя Ли, уткнувшись лицом в ее грудь, и никак не мог успокоиться. Цзя Ли вздохнула. Она любила этого мужчину и всегда слушалась его.

Тогда Цзя Ли еще не знала, сколько радости и удовольствия могут приносить отношения между мужчиной и женщиной. Она любила его из-за чего-то другого, такого незначительного, на что многие даже не обращали внимания: его волосы, одежду, взгляд, словно сумерки, когда он спокоен, его ребячество. Напившись, он мог дурачиться с ней, наговаривать на коллег, барабанить по столу. Любила его самоуверенный вид на людях. Однажды вечером он вдруг заплакал и сказал ей, что все происходит не так, как надо, что он неудачник. Если бы он проснулся и жена не звала его домой... Цзя Ли должна понять его боль. Потом он ушел.

В тот вечер она осознала, что любит страдания этого мужчины, ту часть его жизни, о которой никто не знал. Как-то в полдень они стояли у окна высотного здания, он обнял ее сзади и, словно ребенок, прильнул головой к ее плечу. У Цзя Ли внезапно перехватило дыхание. Он бесшумно закрыл руками ее глаза и по очереди вытирал ей слезинки, которые одна за другой стекали с ее щек. Потом он придвинул ее поближе и, не находя себе места, от стыда сказал: «Цзя Ли, я ведь ничего не смогу тебе дать».

Цзя Ли сквозь слезы улыбнулась и медленно-медленно покачала головой. Ей ничего не надо. Это самый лучший период в ее жизни, ей двадцать два, у нее молодое цветущее тело. Даже через много лет она все равно будет помнить это время, помнить этого мужчину, ведь именно он помог ей расцвести и раскрыться.

Цзя Ли очень бедная. Она каждый месяц живет на деньги, которые присылают родители. Еще у нее есть младший брат, он учится на втором курсе. Ее родители простые рабочие, они залезли в долги, чтобы позволить им двоим учиться в университете. Свое происхождение и свою бедность Цзя Ли запомнила навсегда. Однажды на летних каникулах она поехала погостить к одногруппнице. Та девушка была гораздо богаче Цзя Ли. Ее мама подарила Цзя Ли вещи, которые раньше носила дочка. Но Цзя Ли не приняла их. Мама одногруппницы сказала: «Ты посмотри, одежда совсем старая — она нисколько не стоит».

Цзя Ли расплакалась.

Она никак не могла забыть свою бедность, эта бедность навсегда в ее сердце и она важнее всего. Цзя Ли постоянно напоминала себе, что должна есть самые дешевые продукты, одевать самую простую одежду, вести скромную жизнь. Иногда Цзя Ли спрашивала себя, что она любит больше всего в жизни. Мужчин? Чувство, оставшееся в памяти на всю жизнь? Нет. Свою бедность. Даже в глубокой старости перед смертью она все равно будет помнить тот мрачный период ее жизни — четыре курса университета, ее черные дни. Она была чувствительнее всех, ее обижали, а она принимала все очень близко к сердцу. Она ненавидела эту бедность, но в то же время любила ее. Она боялась, что никогда не сможет вырваться из этого слова — «бедность».

Во время практики Цзя Ли вместе с начальником отдела ходила в большие рестораны, он водил ее на самые роскошные концерты и дискотеки. Он не жалел денег, но Цзя Ли знала, что он тратит не свои деньги — у него не было денег. Он редко дарил Цзя Ли подарки. Только однажды, вернувшись из командировки, он привез Цзя Ли кольцо. Но ей оно было не надо. Она привыкла к бедности, ей не нужны никакие кольца, на ее руках они выглядят нелепо. Она совсем не разбиралась в золоте, но недавно ее тетя

купила кольцо. Тетино кольцо было больше, чем это, но тоже очень красивое. Оно стоило около 1000 юаней. Цзя Ли прикинула, что и это кольцо не меньше 400—500 юаней. Оно ей тем более не надо.

Он очень расстроился: «Цзя Ли, я не имел в виду ничего дурного». — «Я знаю».

Он снова достал кольцо и надел ей. Но Цзя Ли с улыбкой сняла его, он опять надел, а она снова сняла. Он разозлился и, нахмурив лицо, молча сел рядом с ней. Цзя Ли чувствовала себя виноватой, она любила его, но не могла принять подарок от него, ведь это кольцо, а кольцо стоит денег. Цзя Ли не могла принять деньги.

Они долго молчали, потом он сказал: «Я к тебе по-настоящему, я не могу дать тебе ничего другого. У меня есть только это... Я не знаю, что сделать, чтобы тебе было хорошо».

В конце концов Цзя Ли приняла это кольцо. С тех пор он не осмеливался заводить разговор о подарках. Но одежду все же иногда дарил. Цзя Ли была неприхотлива в одежде, носила все скромное и недорогое. Однажды он не выдержал и сказал: «Цзя Ли, ты, однако, довольно красивая».

Цзя Ли хмыгнула и улыбнулась: «Однако?!»

Он ответил, что ее нужно только немного приодеть.

Цзя Ли промолчала. Это было ее больным местом. Кому же не нравится красиво одеваться? Кому не нравится модная одежда? Она смотрела на нарядных девушек на улице... Нет, она не смотрела на них, она презирала их, ненавидела их. Конечно, все дело в деньгах.

Через несколько дней он пошел в универмаг выбрать ей одежду, но, боясь, что она снова откажется, заранее предупредил ее: «Только в этот раз не выкинь никаких глупостей». Цзя Ли, немного подумав, приняла эту одежду. Нельзя сказать, что она ей понравилась — старая модель и цвет чрезмерно яркий... Цзя Ли вдруг стала сомневаться насчет стоимости этой одежды, очень разволновалась. Потом все-таки не выдержала и пошла в универмаг посмотреть. Увидела — и расстроилась. Он купил одежду самого низкого качества, ему было жалко денег. Он всего лишь один раз подарил ей эту одежду, а она спала с ним полгода. Ему было жалко денег.

Цзя Ли снова достала кольцо, она хотела пойти в магазин и узнать его стоимость, потом усмехнулась и все же оставила эту идею. Зачем? Ведь дело не в деньгах! Он не любит ее, и это правда. Даже если он и тратил на нее деньги, это же в порядке вещей. Ведь даже проституткам нужно платить. Она подсчитала, что денег, которые он потратил на нее, даже не хватит на три посещения проститутки. Три раза! А она сколько раз? Цзя Ли заплакала — цена за нее даже меньше, чем за проститутку.

Цзя Ли не может забыть, как однажды заговорила с ним о женитьбе. На его лице промелькнула мрачная страдальческая улыбка. Он нежно погладил ее по голове и твердо сказал, что он... он не может развестись. Он должен думать о своей карьере. Ведь Цзя Ли хорошая девочка и должна понять это. У жены много недостатков, но — но... Цзя Ли быстро вытирала слезы, а их капало все больше и больше. Ей было жалко себя. Никто не сможет любить его так, как она; он — смысл всей ее жизни... А он всего лишь хотел спать с ней.

В полдень перед ее отъездом они снова переспали. Он проводил ее до вокзала. До отправления поезда оставалось еще много времени; он отдал багаж в камеру хранения, чтобы вместе пройтись по улице и поискать какую-нибудь гостиницу поблизости. Цзя Ли навсегда запомнила ту грязную частную гостиницу, как она поднималась по качающейся, разваливающейся лестнице, а сверху на нее свисала паутина. И Цзя Ли совсем

упала духом. Она сама удивилась, как же смогла полюбить такого человека, человека без интересов и устремлений, который вечно спешит. В комнате стояла только одна кровать, а на ее простынях еще остались следы от прошлых гостей.

Цзя Ли хотелось немного поговорить с ним, а он посмотрел на часы, улыбнулся и сказал: «Быстрее, мы еще успеем». Цзя Ли, как сумасшедшая, обняла его и стала срывать с него одежду. Была весна, и за окном уже расцвел олеандр. Цзя Ли не ожидала, что в такой обстановке еще можно видеть цветы, видеть олеандр.

Потом он с наслаждением вздохнул: «Как долго... мы так не веселились». Это было правдой. Он чувствовал себя немного неловко, смущенно снял очки и подул на них, а потом, не вытирая, снова надел. Цзя Ли как будто с большого расстояния смотрела на этого похотливого и непристойного человека. Она не узнавала его и больше не хотела его видеть. Цзя Ли даже начала ненавидеть этот город. Она прожила здесь полгода, этот город вымазал всю ее в грязь.

Он смотрел на Цзя Ли, держа обеими руками ее лицо. Как будто в то бесконечное мгновение у него возникло какое-то чувство, он очень долго молчал. Его лицо было растерянным и печальным, а на линзах отражались лучи солнца, проникающие с окна. Он спросил: «Цзя Ли, мы больше никогда не увидимся?»

Цзя Ли покачала головой.

Он ответил, что найдет ее.

Цзя Ли слушала его голос, запинающийся на каждом слове, будто он пришел совсем с другого мира. Он вдруг заключил ее в свои объятия и стал нежно покусывать ей ухо, волосы, шею, пальцы, одежду. Какое-то время Цзя Ли была словно в дурмане. Ей даже смутно показалось, что они любят друг друга — он удовлетворил свое желание и наконец-то понял, что любит ее... Сейчас Цзя Ли предпочитала думать, что она ошиблась, что несправедливо обвинила его. С тех пор она не понимала мужчин и всегда была очень осторожна с ними, она не могла простить его. Мужчины — самые странные существа, они свирепые звери, они не умеют выражать свои чувства... даже если любят.

Он как будто вспомнил самое главное — достал 300 юаней, сунул в карман Цзя Ли и сказал: «Возьми, потом купишь себе что-нибудь».

Цзя Ли сразу очнулась, она пристально смотрела на него и не могла вымолвить ни слова. Она и не представляла, что он так поступит с ней. Они только переспали, а он дает ей деньги. Она скривила губы от боли и тихонько заплакала.

Он не понял, что произошло. Неожиданно растерялся и стал бессвязно успокаивать ее: «Эти деньги... Цзя Ли, ты сначала возьми, я знаю, тебе они очень нужны. Как только ты вернешься в университет, то сразу забудешь меня, — его голос внезапно стал ниже, мягче, еще подлее, с дрожью. — Прости меня... денег совсем немного».

Цзя Ли вскочила с кровати, закрыла уши и, глядя на него, закричала пронизывающим голосом так, что было слышно даже возле вокзала.

II

Эти десять лет для Цзя Ли прошли неплохо. Она осталась в городе, где находился ее родной университет. Вначале непрерывно искала и меняла работу, и так продолжалось очень долго. Но четыре года назад она вместе с коллегой открыла юридическую контору, потом коллега вышел из дела, и ей пришлось одной поднимать эту контору. В последние два года дела

конторы заметно улучшились. Она наняла несколько сотрудников, арендовала офисное здание в престижном районе в центре города. Каждый день Цзя Ли, управляя черной ауди, мчалась по дороге к своему коттеджу за городом...

Цзя Ли не понимает, почему она сделала свою жизнь именно такой... Роскошной, где много всего напоказ. Да, у нее есть деньги, и она может позволить себе все, что захочет. Но многие богатые люди живут по-другому, они простые и замкнутые, никогда просто так не потратят ни копейки. А Цзя Ли нет. Она прекрасно понимает, что сорит деньгами только для того, чтобы самой посмотреть. Она сидит в ресторане пятизвездочного отеля, где никто ее не знает. Цзя Ли тихонько ест, и за один обед отдает 600—700 юаней.

Цзя Ли несчастна. Иногда она думает: «Почему как только появились деньги, они вдруг потеряли всякий смысл?» Разве не ради них она жила все эти годы? Но все это время ей было скучно и пусто. Она простой ребенок и с детства очень строго воспитывалась; Цзя Ли часто жаловалась на свою бедность, но никто ее не презирал — раньше она была бедной, и это правда. Как-то вечером она вернулась домой, и все ее тридцать лет пронеслись перед глазами. Она вспомнила, как встречалась с несколькими мужчинами, но потом они все ушли. Из студенческих лет она никак не могла забыть ту студентку по имени Сю Цзя Ли, в глазах которой часто мерцал какой-то свет, а в голове было много безумных мыслей.

Да, те странные и причудливые мысли, в которых не могла разобраться даже она сама... Сейчас они ушли, не осталось ни одной. Цзя Ли вдруг сильно испугалась, ей захотелось заплакать. Сначала она сидела на диване, потом сползла на пол и, свернувшись калачиком от боли, долго лежала на полу.

Как-то в полдень Цзя Ли позвонили. Она сняла трубку и, услышав «алло» на том конце провода, сразу поняла, кто звонит. Прошло десять лет, но даже если бы он уже умер и превратился в пепел, она все равно бы узнала его голос. Она только удивилась, как он ее нашел. Эти годы она больше всего гордилась тем, что смогла отпустить его. Ту страничку с ним в ее жизни она перевернула.

Первые несколько лет еще не могла. Она постоянно вспоминала его — глубокой тихой ночью могла внезапно подняться с кровати. Иногда вспоминала о нем, когда шла по дороге на работу: рано утром в переулке под беспорядочными вывесками автобусных остановок, поздним вечером, когда сидела на обочине, где чинят обувь... Часто слезы лились, как дождь. Многие видели, что она плачет, но не знали, почему и по кому она плачет. Она никогда ему не звонила.

Однажды на праздник Весны он позвонил домой ее родителям. Цзя Ли только тогда вспомнила, что как-то оставила ему свой домашний номер в самом начале их отношений. Он спросил, как у нее дела, немного рассказал о себе и вздохнул: «Цзя Ли, я скучаю по тебе».

Цзя Ли вдруг стало очень больно, она даже разозлилась. Ее родители стояли рядом и с подозрением смотрели на нее. Было неудобно разговаривать, и она быстро повесила трубку. Потом она настойчиво попросила родителей никому не говорить, как с ней связаться. Наверное, родители забыли об этом, так как через полтора года он снова нашел ее, этот очень печальный голос... Цзя Ли сразу подумала, что ей следует изменить номер.

Последний раз они разговаривали шесть лет назад. Цзя Ли соврала ему, что уже вышла замуж. На том конце провода повисло молчание. Потом он спросил: «Все хорошо?»

Цзя Ли ответила: «Хорошо».

Он ничего не сказал и повесил трубку.

Раз начальник Чжан приехал в этот город, Цзя Ли решила встретиться с ним. Он был в командировке. Начальник Чжан сказал по телефону, что все эти годы он никак не мог забыть ее.

Он долго набирался смелости, чтобы позвонить. Сказал, что эти несколько лет он часто приезжал сюда по делам. Иногда шел по улице и надеялся, что случайно встретит ее среди множества людей, что вдруг какой-то голос окликнет его, что кто-то сзади похлопает его по плечу. Он неожиданно спросил: «Цзя Ли, а ты изменилась?»

Цзя Ли опустила голову, немного подумала и ответила: «Я постарела».

«И я постарел», — ответил он.

Цзя Ли прижала трубку телефона к груди, и ее рука с письменной ручкой повисла в воздухе. Она надеялась, что он действительно постарел. Только сейчас она поняла, что очень жестокая, ведь они оба постарели. Свое самое лучшее время она отдала ему. Но она не жалела. Ей стало гораздо легче, и она снова соврала, что уже развелась.

На той стороне провода вздохнули, но по телефону о многом не поговоришь, поэтому они договорились встретиться вечером.

Где-то около 4—5 часов вечера Цзя Ли собралась пойти в салон привести в порядок волосы и в бутик — купить одежду, а потом вернуться домой и отдохнуть. Она подумала, что сегодня они, скорее всего, переспят, ведь они не виделись десять лет, да к тому же Цзя Ли уже «развелась». В общем, точно переспят, не о чем и говорить.

Когда Цзя Ли подошла к магазину старых вещей, ей в голову случайно пришла одна странная идея. Она робко толкнула дверь и вошла. Толстая хозяйка, наверное, в первый раз видела такую красиво одетую покупательницу, поэтому ходила за ней по пятам, хихикая и заикаясь. Цзя Ли из старой бамбуковой корзины достала несколько студенческих рубашек, пару кожаных ботинок грубого фасона, потерявших всякий блеск, и одну свободную вязаную черную кофту, потом приложила их к телу, чтобы прикинуть, и удовлетворенно засмеялась.

Сейчас Цзя Ли точно знала, что делать. Она должна переодеться, накраситься, стать совсем другим человеком, той, кем была десять лет назад — угрюмой, с низкой самооценкой, бедной. Она снова должна стать серой и незаметной. Да. Никто не может помнить то время, когда она была простой и бедной девушкой, то нестерпимое, словно поедаемое паразитами, страдание, тот позор... Никто не может помнить ее ту, десять лет назад, даже родители и брат, но он помнит, так как у него было только это.

Ей вдруг стало легче, она даже начала дрожать. Цзя Ли полностью погрузилась в это состояние. Она впервые заметила, что за прошедшие тридцать лет ее ничто так не волновало. Она неслась на машине по сельской дороге и чувствовала дуновение ветра. Это была пора листьев и пшеницы, пора, когда распускались золотые цветки рапса. Сколько лет в ее жизни не было этих красок? И сейчас, глядя на них, она мчалась по дороге, улыбаясь и восхищаясь.

Цзя Ли потратила целый полдень на то, чтобы придать себе соответствующий вид. Сейчас она стояла перед зеркалом и внимательно рассматривала себя. Ей показалось, что не к чему придраться. Женщина в зеркале выглядела где-то лет на тридцать, на ней были толстые очки (те самые, которые она нашла десять лет назад в мусорном ящике), а в ее взгляде читались беспокойство и подавленность. Это была женщина с буровато-серым цветом лица, сухой кожей, гусиными лапками в уголках глаз, которые появлялись при улыбке. Ее одежда, наоборот, была

чистой и аккуратной, словно тщательно подбиралась, хотя уже с первого взгляда становилось ясно, что это всего лишь дешевый товар с раскладок на земле. Она понимала, что ей предстоит встреча с кем-то очень важным, поэтому в виде исключения намазалась губной помадой. Как и все, кто в первый раз наносит помаду, она очень сомневалась и переживала, поэтому намазала губы очень толстым слоем — получился цвет, который оставлял тревожное ощущение.

В общем, таких девушек можно часто встретить на улице — совсем обычная, с посредственной внешностью. С первого взгляда было понятно, что она с самых низов, она... она бедная.

Да, бедная. Вдруг Цзя Ли вся задрожала. Кто еще мог понять страдания бедного человека: его обиду и ненависть, подавленность, беспросветную темноту. Цзя Ли смотрела на себя со слезами на глазах — сейчас она на самом деле поверила, что вернулась. Время десятилетней давности снова повернулось вспять, десятилетняя борьба оказалась напрасной. Та великолепная и ослепительная Сю Цзя Ли, которой она была всего несколько часов назад, сейчас вспоминалась как сон.

Цзя Ли вдруг стало очень грустно. Она прислонилась к стене; спотыкаясь, еле дошла до дивана в гостиной и опустилась на него. Она обвела взглядом все это громадное пространство: люстра, искусная барная стойка. Огромный телевизор. Стеклянные ступеньки лестницы. Зеленая клумба за окном, соседский ребенок и собака. Кожаный мяч выкатился на клумбу, и солнечный луч побежал вслед за ними.

Она внимательно рассматривала все эти предметы, как будто однажды лишится этого. Все, что принадлежит ей, она должна навсегда запечатлеть в своем сердце.

Цзя Ли вышла из дома, оглядываясь на каждом шагу. Сперва она доехала до подземной стоянки в городе и оставила там машину. Когда Цзя Ли вышла со стоянки, уже начало смеркаться. На улицы опустилась тень заходящего солнца. В это время все возвращались с работы, множество людей, словно листья деревьев, проносились один за другим. Цзя Ли застыла на дороге и некоторое время не знала, как быть.

И вдруг она увидела, что с другой стороны улицы к ней направлялся какой-то мужчина. Это был Ли Мин Лян, директор фирмы ценных бумаг. С Цзя Ли он начал общаться два года назад, когда столкнулся с проблемами на рынке ценных бумаг. Цзя Ли помогла ему выиграть это дело, и с тех пор они время от времени поддерживали связь. Было видно, что он испытывал к ней какие-то чувства, иногда мог позвонить и спросить, как у нее дела. Не так давно он пригласил ее на чай. Они мило кокетничали друг с другом, даже если разговаривали исключительно о работе.

Цзя Ли не ожидала, что в первый же день встретит знакомого. Сейчас он направлялся к ней, похоже, он ее заметил... Цзя Ли испуганно застыла на дороге — от страха волосы встали дыбом. Ее первой мыслью было повернуться и уйти, умчаться со всех ног, она должна избегать всех, знакомых и незнакомых... Цзя Ли вдруг услышала его «Ой» и подняла голову — он стоял перед ней.

Она задержала дыхание. Они с сомнением посмотрели друг на друга, он засмеялся и сказал, что обознался.

Да, обознался. Цзя Ли расслабилась и прислонилась к столбу. Он ушел. Сейчас она была уверена, что ее никто не узнает, даже ее друзья и близкие... Будет день, когда они все отвернутся от нее.

Сейчас ей не терпелось увидеть одного человека. Только он мог узнать ее, даже если она стала старой и уродливой, одета в лохмотья, превратилась в нищенку. Только он мог поверить ей, даже если Цзя Ли не вымолвит ни слова, он все равно поймет, что это она.

Цзя Ли в нерешительности пошла на автобус (у нее даже не возникло мысли взять такси). Она опустила голову и, словно вор, осторожно рассматривала людей вокруг. Они все куда-то очень спешили, равнодушно идя по дороге. Цзя Ли в первый раз совсем по-другому смотрела на мир вокруг: на этих разодетых мужчин и разукрашенных девушек, только вышедших из офисных зданий. Обычно они бы смерили друг друга взглядом — у каждого внутри свои весы — оценили внешность, положение, статус, годовой доход... Но только не сейчас. Сегодня как бы она ни смотрела на них, они не удостоят ее своим вниманием.

Цзя Ли внезапно испугалась, она стояла в сторонке далеко от них. Они презирали ее, презирали всех бедных. У нее появилось чувство ненависти: почему они так? Кто дал им такое право? Эти маленькие сотрудники больших фирм, они стоят под вывеской общественного транспорта, будто рядом с ними нет никого, стоят с умиротворенным выражением лица... Она, она почувствовала зависть. Время от времени Цзя Ли боковым зрением незаметно рассматривала их. Даже в это время она не могла забыть свое положение и, плюясь про себя, сказала: «Эй, вы! Обычно ваши начальники ползают у моих ног!»

Приехал автобус. Она растворилась в толпе людей и, почти не касаясь пола, впихнулась в него. В салоне чувствовался запах пота — такой знакомый Цзя Ли запах — она подняла руку и поспешно прикрыла рот, подавляя подступивший порыв тошноты. Эти многочисленные лица, скопленные вместе — желтые, нервные, скривившиеся... Цзя Ли смотрела на эти лица и горячо любила их, ведь это часть ее прошлой жизни, но сейчас она далеко от них. Только она знает, какую недостойную и распущенную жизнь вела все эти годы. Цзя Ли предала свою бедность, предала свою толпу.

Она подалась вперед, ее рука пронеслась над бесконечным множеством голов и схватилась за поручень; лицо Цзя Ли покраснело от волнения. Кондуктор раз за разом повторяла в громкоговоритель: «Только вошедшие пассажиры, пожалуйста, покупайте билеты, следующая остановка Аньхуали, пассажиры, покупайте билеты». Цзя Ли протиснулась в толпу людей и этим дала понять, что не собирается платить за проезд.

Да, она не будет покупать билет. Один юань для нее ничего не значит, но для бедного человека он означает тарелку пельменной похлебки, три кусочка жареной лепешки, один поход в парикмахерскую постричься; а если два-три раза подряд не платить за билет, то можно купить кроссовки, яркую майку и шорты... Для нее этот один юань означал полностью новую жизнь.

Цзя Ли никогда не ездила зайцем. Сейчас она стояла в толпе, настороженно прислушиваясь к звукам по сторонам. Она немного согнулась, но подумав, что это неестественно, снова выпрямилась, потом как ни в чем не бывало прищурила глаза и стала смотреть в окно автобуса. Автобус медленно двигался вперед, затем куда-то повернул; воспользовавшись моментом, Цзя Ли спокойно отдышалась и невольно подумала: куда же увозит этот автобус ее жизнь?

Автобус остановился. Цзя Ли вслед за другими пассажирами направилась к выходу; кондуктор как раз в это время проверяла билеты, ее голова была словно погремушка-барабанчик: передняя дверь-задняя дверь, налево-направо. Цзя Ли вышла из задней двери автобуса, она совсем не боялась — в тот самый момент, когда кондуктор повернулась к передней двери, она мгновенно растолкала толпу, выскочила, как заяц, из автобуса и бешено помчалась по переулку. Многие замедляли шаг и удивленно смотрели на нее. Цзя Ли было безразлично, потому что она знала, что ее темная ночь уже наступила.

III

Цзя Ли, утомленная долгой дорогой, наконец-то дошла до гостиницы, где остановился ее начальник. Она опоздала более чем на час. Сотрудник обслуживающего персонала в серой рабочей форме стоял у входа в зал. Он немного наклонился, одну руку положил за спину, а другой рукой открывал дверь для вышедшего из такси посетителя. Сама не понимая, что на нее нашло, Цзя Ли взглянула на него, он тоже посмотрел на нее, Цзя Ли заискивающе улыбнулась ему. Когда она собралась войти, он окликнул ее.

Это был молодой видный парень около двадцати лет, сначала он смерил ее оценивающим взглядом — на молодом лице появилось сомневающееся, но сдержанное выражение. Он спросил, куда она направляется. Цзя Ли остолбенела, ее лицо сразу покраснело. Да, это место не для таких, как она. Цзя Ли, не обращая на него внимания, собралась войти внутрь. Он внезапно вытянул руку, заграждая ей путь. Спокойно и равнодушно сказал: «Позвольте спросить, к кому вы пришли?»

Цзя Ли вдруг разозлилась. Она приподняла брови, долго смотрела на него, а потом сказала: «А вы не знаете?»

Он закрыл глаза, опустил руки и прекрасно обученным голосом ответил: «Я не знаю».

«Сам не знаешь, что спрашиваешь?» — Цзя Ли неожиданно повысила голос. Многие из тех, кто был в зале, оглянулись. Какой-то мужчина, скорее всего директор зала, поспешно подошел к ним и спросил, что случилось.

Цзя Ли вдруг расплакалась. Что сегодня случилось с ее жизнью? Что произошло с ней самой? Директор и сотрудник о чем-то шептались, потом директор потер руки и улыбнулся: «Извините, девушка, произошло небольшое недоразумение».

Недоразумение? Цзя Ли вся взорвалась, эти мелкие людишки — снобы, которые гонятся только за наживой и властью! Указывая на снующих туда-сюда посетителей в зале, она закричала: «Почему это недоразумение не произошло с ними, почему вы не ошиблись относительно них? Посмотрите на себя, вместо того, чтобы придираться к другим! Я буду жаловаться на вас, негодяи, еще посмотрим, я адвокат». Она внезапно осеклась. Что она говорит? Какой она сейчас адвокат?

В собравшейся толпе некоторые, прикрывая рот рукой, улыбались. Цзя Ли только теперь заметила, что возле нее группками по два-три человека стояли какие-то люди: уборщицы гостиницы, девушки с приемной, несколько разодетых скучающих посетителей. Все как-то странно смотрели на нее, словно ждали, что же она еще придумает. Два огромных охранника схватили Цзя Ли с двух сторон, они были наготове и часто бросали нетерпеливые взгляды на директора; если бы не логика и смысл в словах этой мымры, они бы уже давно выкинули ее как сумасшедшую.

Цзя Ли осознала серьезность всего происходящего, она не хотела унижаться перед этими людьми. Сегодня она пришла на встречу с ее старой любовью, ее ожидает много важных дел... Она стерпела. Всхлипывая, Цзя Ли назвала директору имя постояльца, к которому пришла, и номер комнаты.

Цзя Ли, шатаясь, словно тень, вошла в лифт и прислонила голову к его ледяной стенке; перед тем как двери лифта закрылись, она и толпа, провожавшая ее взглядом, враждебно посмотрели друг на друга. Она ненавидела их. Цзя Ли закрыла глаза. Из-под ресниц скатились слезы, потекли по носу и попали в рот. Сейчас она точно знала, что ненавидит этот мир, ненавидит всех людей.

Ее начальник постарел. Когда он открыл дверь и, улыбаясь, стоял перед Цзя Ли, у нее все оборвалось. Она должна была понять раньше, что

он изменился. Много раз она даже представляла его сгорбившимся седым стариком, опирающимся на трость. Конечно, все было не так плачевно. Мужчина сорока шести лет, он старел так, как того требует время; его кожа стала дряблой, начали свисать мешки под глазами, немного поправился. Цзя Ли невольно вздохнула — время очень несправедливо. Природа — странная вещь, что могут сделать с мужчиной эти десять лет! Куда подевались прежняя непринужденность и обаяние?

На нем был костюм темно-синего цвета; он положил руки на дверную ручку. В ту секунду в его сосредоточенном взгляде читались десять лет воспоминаний и тоски. Он вздохнул и воскликнул: «Цзя Ли».

Цзя Ли почувствовала себя немного неловко и, вся согнувшись, вошла в комнату. Сейчас он сидел напротив нее, но они долго не могли начать разговор, даже боялись посмотреть друг на друга. Да. Десять лет... все разрушено: внешность, любовь, жизнь. Цзя Ли была словно в тумане, она не могла поверить, что они знакомы уже десять лет! А как она прожила эти десять лет? Цзя Ли покачала головой и ничего не смогла вспомнить.

Он протянул ей руки и Цзя Ли сжала их. Он применил силу — Цзя Ли прислонила голову к его запястьям, непроизвольно наклонилась, обошла круглый стол и стала перед ним на колени.

Он опустил руки в ее волосы и спросил: «Цзя Ли, эти годы... у тебя было все хорошо?»

Цзя Ли внезапно вся раскисла, еще чуть-чуть и она бы заплакала.

Он нагнулся, прикоснулся лицом к ее волосам, потом спустился со стула и обнял ее.

Цзя Ли спрятала голову на его груди, в этот момент она почувствовала какой-то запах, который исходил из V-образного воротника его шерстяного свитера. Этот запах был в его теле, руках, ногах, груди, дыхании, это был запах старости, его еще называют «запахом старого человека».

Мужчина сорока шести лет, этот запах появился у него немного рановато. Цзя Ли нахмурила брови и почувствовала отвращение. Она взглянула на него и подумала, что не заставит себя переспать с ним.

Цзя Ли заговорила, ведь ради этого она и пришла. Чтобы избавиться от чувства напряженности, вызванного волнением, она несколько раз глубоко вздохнула. Цзя Ли сказала ему, что эти десять лет для нее были... непростыми. Она говорила спокойным и печальным голосом, словно погрузилась в далекое прошлое, покорилась судьбе.

Десять лет назад ее распределили в юридический отдел государственного предприятия, муж был из профсоюзной организации того же завода. Уже тогда доходы на государственных предприятиях были очень низкими; они посоветовались и решили, что он уйдет с работы и откроет фирму цветов и деревьев. Он не заработал ни копейки, а она, наоборот, стала хорошо получать. Потом они развелись. Два года назад ее завод обанкротился, поэтому сейчас она безработная или, другими словами, «сокращенная».

Дойдя до этого места, Цзя Ли остановилась. Она надавила на грудь и почувствовала, что ее настроение начало взлетать, она уже не могла остановиться.

Когда Цзя Ли говорила, он изредка прерывал ее, чтобы что-то уточнить. Но Цзя Ли и так рассказывала очень подробно. Ее застывшее, без всякого выражения лицо было прямо напротив его, и она продолжала рассказывать про свое надуманное прошлое. Когда она смотрела на него, иногда ее глаза оставались неподвижными и безжизненными, а иногда моргали.

Начальник сидел на ковре у кровати, подложив руки под щеки, с серьезным выражением лица. Он внимательно слушал, а потом сказал: «Цзя Ли».

Цзя Ли отозвалась, подняла голову и посмотрела на него.

Он немного засомневался, но потом все равно спросил: «А каким он был человеком?»

Цзя Ли догадалась, о чем он думал: он не хотел долго останавливаться на этом вопросе. Два мужчины, имеющих внебрачную связь, два финала — он не мог поставить себя в затруднительное положение. Хорошо, что Цзя Ли тоже не горела желанием рассказывать про развод. Она покачала головой, давая понять, что не хочет обсуждать бывшего мужа, и продолжила разговор о своей нищей и неудавшейся жизни.

Цзя Ли интересовало только это. Как только она начинала говорить о бедности, то ее пробирала дрожь по всему телу, глаза наполнялись особой одухотворенностью, дыхание учащалось, что ей даже приходилось останавливаться и откашливаться. Цзя Ли преподавала на дому, работала юридическим консультантом в частных фирмах, потом ее уволили. Бывали дни, когда она даже не могла себе позволить пользоваться общественным транспортом — в руках оставалось только три мао, приходилось звонить другу и просить о помощи... В университете она думала, что все трудности пройдут и наступит белая полоса, но кто же мог подумать, что выйдет по-другому.

Она глубоко вздохнула, у нее не осталось сил продолжать дальше. Ей вдруг стало жалко саму себя, так правдоподобно она рассказывала о своей жизни. Он подошел и крепко обнял ее, долго говорил что-то невразумительное и никак не мог придумать, как ее успокоить. Потом он спросил: «Цзя Ли, как же ты так? Как же так?» Цзя Ли смотрела ему в лицо, смотрела до тех пор, пока оно не отпечаталось у нее перед глазами. Она упала на его плечо, стала кричать и плакать навзрыд, плакать так, как никогда не плакала за эти тридцать лет.

Он спустился с Цзя Ли вниз, чтобы найти какой-нибудь маленький ресторанчик. Во время еды он почти не разговаривал, постоянно накладывал ей в тарелку еду, приговаривая: «Это свиная печень, ешь побольше, она очень полезна».

Цзя Ли была очень тронута его заботой, даже прослезилась. В этом мире нет больше таких хороших людей, как он. Он уважает и любит ее. В какой-то миг Цзя Ли даже подумала, что снова влюбилась. Она готова была простить его за все то, что было десять лет назад. Раньше она презирала его, не имея на то никаких оснований. Да, он тратил на нее деньги, но какой же влюбленный парень не тратит денег на свою девушку? Это абсолютно нормально. Ей просто не следовало обращать на это внимание, она была такой мелочной. Но тогда из-за бедности деньги казались ей чем-то постыдным. Она сохранила те 300 юаней, которые он оставил ей в гостинице в прошлый раз. Сохранила на память, словно это были деньги, за которые она продала свое тело.

Они выпили немного вина и вернулись в номер. Цзя Ли показалось, что она опьянела. Она быстро сняла свитер, легла на кровать и стала смотреть на него. Цзя Ли думала, что он подойдет к ней, но нет. Он спокойно сидел на стуле возле окна, немного наклонился и, закинув ногу на ногу, курил.

Он как будто о чем-то размышлял, под лампой все его лицо пылало. Он внезапно поднял голову и посмотрел на Цзя Ли. Цзя Ли вся содрогнулась — в его мрачных глазах было что-то многозначительное. Прошло еще немного времени, он потушил сигарету, подошел к кровати, сел и заговорил о каких-то посторонних делах. Потом словно невзначай спросил: «Цзя Ли, на что ты жила эти годы?»

Цзя Ли была не против ответить на этот вопрос. Она подумала и засмеялась: «На что же еще можно жить — подрабатывала, помогали друзья, иногда приходилось одалживать».

Он засмеялся: «Помогали друзья?! Мужчины или женщины?»

Цзя Ли сразу же поднялась с кровати, долго и внимательно смотрела на него, а потом тоже улыбнулась: «Конечно, мужчины».

Он громко рассмеялся, давая понять, что ему это совсем безразлично. Потом, скрепя зубами, спросил: «Много?»

И тут Цзя Ли не выдержала. Она вскочила с кровати, наделась и приготовилась уходить. Он поспешно задержал ее и, крепко обняв, сказал: «Цзя Ли, послушай, я все объясню».

Цзя Ли оттолкнула его и отошла на несколько шагов к столу. Она больше не будет расстраиваться, сколько раз она уже плакала сегодня? Сколько раз разочаровывалась? Сколько людей оскорбляли и унижали ее? Но все это уже позади.

Она назвала его по имени, потом сказала: «Ты не бойся, у меня нет никаких плохих болезней, но и медицинской справки тоже нет. Решай сам, верить мне или не верить».

Он сел у изголовья кровати, весь сконфузился и, растирая руками виски, стал ее успокаивать: «Цзя Ли, ты неправильно поняла, я только пошутил».

Цзя Ли смотрела свысока на этого мужчину. Ей хотелось плюнуть ему в лицо. Нет, он не плохой, но он подлый, слабовольный, скучный. Она спросила: «У тебя есть венерические болезни?»

Он удивленно посмотрел на нее и покачал головой. Они знали, что им предстоит, и поняли друг друга без слов: все это время он думал, что она продавала себя другим, а сегодня вечером она продастся ему.

Цзя Ли развернулась и вышла в уборную, закрыв за собой дверь. Пойти на это она решилась в одно мгновение, все произошло так неожиданно, что в голове немного помутилось. Цзя Ли посмотрела в зеркало на свое лицо. Посмотрела — и сильно разочаровалась. Она увидела, что постарела. У нее совершенно обычная фигура, но в одежде деревенских рабочих, приехавших в город на заработки, Цзя Ли полностью растворилась. Десять лет назад она ему нравилась, потому что была молодой. А теперь? Она вспомнила их встречу у двери. Он хоть и старался изо всех сил, но все равно не смог скрыть своего разочарования.

Цзя Ли оперлась на полку в туалете и, приложив усилия, села на нее. Сейчас она вспомнила все. Все, что сегодня произошло за этот мучительный день: его странный заигрывающий вид, поднятые вверх глаза, как будто он о чем-то размышляет. Он думал о деньгах, думал, сколько ей дать, чтобы было наверняка.

Он презирал, ненавидел ее: на протяжении десяти лет та Сю Цзя Ли, которую он воображал, была блистательной и ослепительной женщиной, он хотел увидеть ее успешной, со счастливой семьей. Он мечтал о встрече с ней, возможно, скучал по старому чувству, но, скорее всего, просто ради удовольствия — кто захочет встретиться с бедной и несчастной женщиной? Хотел, чтобы они вместе погуляли по парку, посидели в чайной, немного посекретничали; конечно, если удастся еще и переспать, то лучше не придумаешь. Но в этот день все пошло не так — она разбила его десятилетнюю мечту. Ему больше всего не нравилась ее манера говорить, что-то низкое и подлое было в ее речи. Ему было стыдно за нее, он почувствовал разочарование и опасность: она пришла за его деньгами.

Цзя Ли долго не возвращалась, а когда вернулась, они начали беззаботно разговаривать. Сейчас их больше всего пугало слово «деньги», до сих пор они не заводили разговор о деньгах напрямую. Но это слово всегда стояло между ними: когда они говорили, то оно пряталось за каждой фразой, а когда молчали, то говорило это слово. Оно было везде, готовое вспыхнуть в любой момент.

В какую-то секунду Цзя Ли показалось, что она больше не выдержит этого. Ей хотелось, опустив голову, уйти, вернуться домой и выспаться, а на следующий день, как ни в чем не бывало, красиво одеться и пойти на работу. Да, нужно прекратить этот кошмар, вести себя так, словно ничего не произошло. Она сегодня точно сошла с ума! Почему она переоделась? Почему она должна смотреть, как люди раскрываются перед ней самым ужасным образом, смотреть, как сама унижается перед другими. Она должна прекратить все это!

Он откашлялся и начал говорить. У него дрожали губы. Он продумал все до мелочей, но слова все равно застревали в горле. Он честно сказал ей, что не взял с собой много денег, что в последние дни все потратил, поэтому при себе почти ничего не осталось.

Цзя Ли пристально посмотрела на него и тихонько спросила: «Сколько у тебя осталось?»

Он нахмурил брови и не смог скрыть своего удивления:

«А сколько тебе надо?»

«А ты как считаешь?»

«Я не знаю».

«Ты когда-нибудь снимал проститутку?»

Он покачал головой.

Цзя Ли засмеялась: «А ты, оказывается, такой порядочный человек».

Он холодно посмотрел на Цзя Ли: «Мне не нравится снимать проституток». — «Ну да, чтобы снять девушку, нужно потратиться, а тебе жалко денег».

Он сразу разозлился, остановил свой взгляд на Цзя Ли и долго смотрел ей в лицо. «Но я же тратил на тебя деньги, ты не забывай, — он со всей силы взмахнул рукой, — я тебе не должен».

Цзя Ли молчала. Она сняла одежду и закуталась в одеяло. Уже была глубокая ночь, голоса за окном постепенно утихли, хотя время от времени еще доносились звонкие зазывания торговцев едой, но и эти едва различимые отголоски становились все слабее и слабее.

В полночь он залез к ней в кровать. В темноте Цзя Ли открыла глаза, в голове был беспорядок, ей казалось, что она безумно устала, поэтому она снова закрыла глаза. На следующий день рано утром он ушел. Цзя Ли не спала всю ночь, она только притворялась, что спит. Как только он стукнул дверью, Цзя Ли поднялась посмотреть, оставил ли он деньги, но нет... не оставил. Цзя Ли не стала его догонять. Наверное, он подумал, что этот раз даже не стоит того, чтобы за него платить. А может, это был самый постыдный опыт за всю его жизнь?

Цзя Ли в одиночестве шла по улице. Постепенно светлело, людей на улице становилось все больше и больше. Подул ветер, Цзя Ли укуталась в свои лохмотья и, словно собака, вся затряслась. Она ступила на мост. Рано вставший нищий, набросив старый плащ, сел возле перил и ждал «гостей». Он равнодушно посмотрел на Цзя Ли, задрав нос кверху, словно она его совсем не интересует, а потом опустил голову и погрузился в свои мысли.

Цзя Ли оперлась на перила, под мостом мелькали люди и машины. Она с отсутствующим взглядом смотрела на них, словно была в забытьи. Цзя Ли подалась вперед и вытянулась над мостом. Всего лишь, чтобы лучше рассмотреть их.

Перевод с китайского Ирины НЕСТЕРОВОЙ.

ЧЖУ ВЭНЬИН



Суета

Рассказ

1

Ван Ляньшэн впервые приехал в Шанхай пасмурным дождливым днем после обеда. В тот день он ехал в каюте второго класса, пароход был небольшим и от того, что дул ветер, его сильно трясло. На полке напротив лежал худощавый высохший старик, которого стало тошнить сразу, как только он забрался на пароход. Ван Ляньшэн с трудом вздремнул, во сне он слышал странные звуки — несколько дней назад он смотрел пекинскую оперу, в которой героиня была обижена, отчего горько плакала, прошло много времени, а слеза все так и висела на краю рукава[1], — когда Ван Ляньшэн открыл глаза, старик, обнимая какую-то маленькую банку, сидел на корточках рядом с полкой. Во время того, как его тошнило, глаза старика оставались полуприкрытыми, замечательная картина, она наводила на мысль, что в банке было не что иное, как живая рыба, которую вот-вот приготовят и подадут к столу.

Ван Ляньшэн, вздохнув, поднялся и пошел на палубу.

Дождь тем временем почти прекратился. И даже немного показалось солнце. Где-то далеко, ближе к поверхности воды, летали белые чайки, Ван Ляньшэн долго смотрел на них и подумал, что они как будто собираются нырнуть в воду и покончить жизнь самоубийством.

Подошел с безучастным видом иностранный патрульный в кепке. Ван Ляньшэн, только что натерпевшийся от высохшего старика, в душе стал немного ближе всему тому, что было связано с нормами, чистотой, порядком и авторитетом. Он с улыбкой сделал шаг навстречу. Ван Ляньшэн кое-что повидал на своем веку, и мог худо-бедно сказать несколько фраз на иностранном языке. Это в некоторой степени повлияло на то, что в серо-голубых глазах патрульного появился какой-то жемчужный блеск.

«Сколько еще до Шанхая?» — спросил Ван Ляньшэн.

«Плохая погода, возможно, немного опоздаем».

«Пароход трясет-то как...»

«Слышал, что... слышал, что уже перевернуло две лодки».

Похоже, это были вести, которые начальство пыталось сохранить в тайне, но голубоглазый патрульный, немного поколебавшись, все же проговорился.

---

[1] Струящиеся рукава (расклешенные рукава, манипулируя которыми актер в китайском театре дополняет создаваемый им образ).

Но только он сказал, как сразу же пожалел об этом, и жемчужный блеск в его глазах исчез. А рука тотчас потянулась к дубинке, висевшей на поясе.

Ван Ляньшэну хотелось разузнать еще о некоторых моментах, касающихся общественного порядка. Слышал, что в Шанхае не так уж и спокойно, в переулках за пределами шикумэнь[1], как только наступает девять вечера, необходимо закрывать двери на замок; и еще, слышал, что в Шанхае вкусностей много, красивых людей много, но и мелких жуликов, бандитов, уличных проституток и обманщиков тоже много... Как раз в этот момент с носа парохода вдруг донесся крик, кто-то во все горло кричал: «Попрошайка, это все попрошайка!». Ненадолго замолчав, он снова продолжил: «И что мне теперь делать... Что делать... Я прыгну в море...»

У Ван Ляньшэна сжалось сердце. Но никакого звука падения в воду он не услышал. Никто не спрыгнул, и тут подкралось любопытство.

Голубоглазый патрульный впереди, Ван Ляньшэн за ним. Голубоглазый патрульный говорит на иностранном языке, Ван Ляньшэн повторяет по-китайски.

Кто-то в зеленой одежде, перегнувшись через перила парохода, плакал. Это был хиленький молодой человек лет двадцати, первое, что увидел Ван Ляньшэн, — это белое, как нефрит, лицо все в слезах. Хотя они были похожи на яркие и прозрачные жемчужины, тем не менее, разбавляли белизну лица. И это еще больше обнаруживало его печаль.

«Не подходите! Я прыгну... я, правда, прыгну...» — горестно рыдал он, содрогаясь всем телом. Но когда юноша говорил и кричал, в его голосе проскальзывали странные женские нотки. Из-за чего эта уму непостижимая драма постепенно превращалась в комедию. Даже Ван Ляньшэн не выдержав рассмеялся.

«Сколько тебе лет?» — поморщил брови голубоглазый патрульный. Людей, обступавших со всех сторон и смотревших на происходящее, уже стало больше, у всех у них были бледно-зеленые, как при морской болезни, или белые лица. Ван Ляньшэн заметил, что высохший старик, который был вместе с ним в каюте, тоже вышел, теперь он казался еще меньше и сгорбленнее. В руках он все также крепко держал свою банку.

«Девятнадцать».

«Девятнадцать лет? Всего девятнадцать, а ты уже собираешься прыгнуть в море?» — брови голубоглазого патрульного сдвинулись еще сильнее.

По волнам во все стороны покатилось еле сдерживаемое хихиканье. Хотя эта фраза была сказана со всей справедливостью и внушительностью, прозвучала она так, как будто для того, чтобы прыгнуть в море в двадцать лет, нужно иметь на то веские причины.

Девятнадцатилетний парень, погрузившись в свою печаль, эгоистично сказал: «Тот попрошайка! Ох, и мерзавец! Когда я спал, он вошел... откуда он только появился! Почему люди сейчас такие злые...»

Все вдруг насторожились. Некоторые тотчас пошли обратно по своим каютам. Но все же остались и те, которые не были напуганы вызывающим поведением вора, какая-то полная женщина с ребенком на руках решила разузнать: «Так украл что-нибудь или нет?»

«Ах, хорошо бы украл, уж лучше бы он украл...» — это было сказано довольно странно, и те, кто стоял на палубе, на какое-то время притихли. Такая неожиданная обстановка заставила парня снова выйти из своей печали: «Ну что у меня за жизнь-то, еле уговорил человека купить для

[1] Шикумэнь — архитектурный стиль жилых домов в Шанхае, сформированный в 1860-х годах и наиболее распространенный в районе Синьтяньди. Шикумэнь — это сочетание западных и китайских архитектурных элементов нижнего течения Янцзы.

меня золотых рыбок, столько денег потратил, да что там, деньги не главное...», — он замолчал, не зная, стоит ли продолжать. И все же продолжил, и теперь в его словах вдруг появилась какая-то ясность, он стал по порядку рассказывать: «Я потратил много денег, чтобы купить золотых рыбок, вот это красивые рыбки, сверкающие всеми цветами, говорят, они из очень жарких мест, мы здесь таких никогда не видели. Даже шанхайцам таких встретить непросто. В Шанхае уж че тока нет, а вот рыбок таких золотых нет! Я взял ее с собой на пароход, хотел в Шанхае сделать подарок. Откуда ж мне было знать, только я вздремнул, и этот мерзавец явился... Я спал некрепко, спрыгнул с кровати и сразу схватил его... И тут случилось, мерзавец-то сбежал, а вот аквариум с золотыми рыбками я поставил под кроватью, а пока спал то забыл совсем и тут по неосторожности разбил его, ой, беда, рыбки сами накликали на себя беду...»

Все хором спросили: «А что вор?»

Парень в слезах топнул ногой: «Вот уж действительно, убить его мало! Мерзавец... я позволил ему сбежать, я так разволновался, что даже не запомнил, как он выглядит... кажется, он был в черном». Юноша скользнул своими миндалевидными глазами по толпе. Там, действительно, были двое в черном, услышав это, они сразу как-то съежились на подсознательном уровне. Тут парень передумал: «Нет, возможно, он был в синем...»

Но тут уже не выдержал голубоглазый патрульный. Он сделал шаг вперед и очень властно проговорил: «Такими словами не бросаются, то в черном, то в синем, ты подумай хорошенько, будешь уверен, тогда и говори. А то даешь тут ложные показания против людей».

Парень, и так уже обиженный, в этот момент был еще и напуган словами патрульного, он раскрыл было рот, потом прикрыл наполовину, и стоял так некоторое время, не зная, что сказать. А люди рядом постепенно оживлялись. Полная женщина с ребенком на руках подошла к Ван Ляньшэну и стала жаловаться, что на прошлой неделе она ходила за покупками... «Ох, денег просил, тот человек стоял на краю дороги, руку протянул и денег просил. Он сказал, что он беженец, просил, чтобы я сжалилась над ним, а мне, как знать, беженец он али нет. Одежда вся рваная, руки черные, как смоль, как у настоящего бродяги... я так перепугалась, так перепугалась, что аж руки задрожали. Знаешь, взгляд злобный такой, денег не дашь, так он тебя и прикончит».

Пока полная женщина говорила, ребенок, что был у нее на руках, пинал ногой Ван Ляньшэна. Ван Ляньшэн попытался было уклониться, но у него ничего не вышло, и только невольно появилось чувство неприязни, и он сказал, чтобы отделаться: «Мир в беспорядке, ничего не остается, как быть осторожным, надо быть осторожным». Сказал и сам понял, что это пустые слова.

Высохший старик тоже протиснулся. Симптомы его морской болезни в данный момент уже значительно отступили, и человек вдруг оживился.

«Таких рыбок, про которых он говорит, — я встречал». Он весьма довольный собой подмигнул Ван Ляньшэну.

«Хм, хорошо, хорошо, коль встречал». Поведение старика только что в каюте по-прежнему вызывало у Ван Ляньшэна чувство тревоги, и поэтому он не очень-то хотел ему отвечать.

Но и старик, похоже, не принимая этого близко к сердцу, продолжал сообщать Ван Ляньшэну сведения о золотых рыбках: «Не слушай, он несет околесицу, рыбки, про которые он говорит, были уже во времена династии Сун, их разводили во дворце...»

Ван Ляньшэн и сам прочел несколько старых книг, к тому же он очень интересовался династией Сун. Ему казалось, что у человека, который в трясущейся каюте с банкой в руках только что издавал звуки рвоты,

нет никакого права рассуждать о династии Сун. И из его чуть приподнятых ноздрей вырвалось презрительное «Хм...», в итоге, не удержавшись, он со своей стороны спросил: «Ты что же думаешь, он говорит о китайских золотых рыбках?»

Тут подошла очередь старику потерять дар речи и не найтись, что сказать. Ван Ляньшэн немного повысил голос: «Он говорит о рыбках, которые водятся в тропиках, тропики — знаешь?» Про себя он предположил, что сказанное старик вряд ли поймет, Ван Ляньшэн невольно почувствовал какое-то пренебрежение, но все же не удержался, чтобы не закончить эту наполненную знаниями фразу...

Как раз в это время в толпе вдруг снова поднялось волнение. Только было видно, как парень перекинул одну ногу через перила, прокричал какое-то странное имя — похоже, женское. Затем он громко закричал: «Ах, я не достоин того, чтобы тебя увидеть!»

Раздался звук: «Бултых!» Еле слышный, так как звук волн был слишком громким и полностью перекрыл его. От испуга все замерли секунды на две, а потом, как сумасшедшие, бросились к перилам парохода. Человека и след простыл, пароход мчался вперед сквозь белые, словно снежные хлопья, нахлынувшие волны, вдалеке по-прежнему летали белые чайки, все так же близко к поверхности воды... все это вызывало сомнения, не была ли зеленая тень, только что склонившаяся через перила, — всего лишь галлюцинацией.

«Ой-ой-ой, какой ужас, какой ужас!» — полная женщина изо всех сил била себя в грудь и в панике начала бить и ребенка, которого держала на руках. В конце концов, она довела ребенка до слез, и тот стал реветь: «Уа-уа».

На палубе люди метались и бегали сюда-туда без остановки, все знали, что кто-то спрыгнул и покончил с собой, что это парень. Те, кто только что вышел, не понимали, что произошло, они были возбужденные и напуганные, задавали вопросы встречным; а большинство тех, кто все видел своими глазами, все еще не пришли в себя, в этой суматохе было лишь слышно, что кто-то закричал:

«Акула! Быстрее, смотрите, там акула!»

Там и в самом деле было что-то черное и большое, покачивалось недалеко на поверхности воды. Вполне вероятно, это, действительно, была акула, но также вероятно, что и вовсе не акула. Вдруг теплоход резко тряхнуло, Ван Ляньшэн вдруг почувствовал, как к груди что-то подступило, и поторопился схватиться за перила, тут снова где-то сбоку раздался голос высохшего старика: «Я уже видел этого парня, я вспомнил... правда, вспомнил, он играл в пьесах, ох, как жаль, правда, жаль».

Ван Ляньшэн почувствовал головокружение, и хотя он закрыл глаза, но слух его обострился...

И снова голос старика: «Да, пьесы, переиграл, вот и доигрался до ручки. Отравился».

Какой-то парень сильно кашлянул пару раз: «Ради каких-то золотых рыбок, хм, что за чертовщина! Где ж это видано, утопиться из-за пары золотых рыбок, никогда даже не слыхал о таком».

Вдруг какая-то женщина вставила: «Наверняка, это был подарок для какой-нибудь девицы из «Шуюй»[1], те девушки...», — она сказала только полфразы, что до второй половины, то предполагалось, что тон и интонация скажут сами за себя. Перед глазами Ван Ляньшэна вдруг промелькнуло несколько девушек в одежде персикового цвета с вышивками драконов

[1] Шуюй «Книжная палата» — публичный дом высшего класса в Китае эпохи Цин.

и фениксов. Какой-то извозчик на повозке появился из глубины ивовых зарослей — на голове павлиньи перья[1], одетый в желтого цвета магуа[2] — раньше титулованные чиновники при императорском дворе примерно так и одевались. Ван Ляньшэн раньше часто слышал, что шанхайским проституткам высшего уровня, как правило, нравилось таким образом выставлять себя напоказ. Они жили в своем мире, китайцы ничего о них не знали, а иностранцы и не хотели знать. Но что самое главное, ни у кого из них не было постоянного мужчины — говорили они уверенно, не то, что покорные женщины из благополучных семей, но если встречался мужчина, который ради одной из них кончал собой, прыгнув в море, трудно сказать, что в душе она не испытывала радости.

Подумав об этом, Ван Ляньшэн открыл глаза и увидел, как рука высохшего старика поднялась, а банка, которую он не выпускал из рук, блеснула и упала прямо в море — конечно, возможно, это была всего лишь галлюцинация.

После знакомства с Шэнь Сяохун Ван Ляньшэн несколько раз рассказывал ей о случившемся на пароходе. В то время Ван Ляньшэн жил один в особняке, в гостиной на побеленной стене висел плакат с надписью: «Когда появляются листья лотоса, жалеешь о том, что уходит весна, когда засыхают листья лотоса, жалеешь о том, что пришла осень...»[3], который он купил, когда только приехал в Шанхай, в то время Ван Ляньшэн еще не бывал в публичном доме, и тем более еще не был знаком с Шэнь Сяохун. Тогда он и его друг-коммерсант с двумя помощниками накупили много разных вещиц. В какой-то лавке, торговавшей изделиями из нефрита, Ван Ляньшэна привлекла одна достойная нефритовая подвеска[4], он остановился, чтобы немного поболтать с хозяином лавки. Когда он опомнился, то обнаружил, что ни друга, ни тех двух помощников уже не видать.

В начале лета, когда нет солнца, то небо голубое с облаками; но иногда солнце светит так ослепительно ярко, и особенно солнце, которое поднимается вверх из толпы людей... Ван Ляньшэн бродил среди бесчисленных нефритовых табакерок, резных кальянов серебристого цвета, бамбуковых ширмочек, ни на что не похожих бело-голубых фарфоровых ваз с золотистыми каемками — люди, повсюду люди, шанхайцы, сучжоуцы, чжэцзянцы, «цзянбэйцы[5]», люди с желтой кожей, с белой, люди с кожей, ставшей серой от курения опиума...

Какой-то невысокий коренастый старик в черной хлопчатобумажной одежде вдруг появился рядом с Ван Ляньшэном. Он сжал правую руку в кулак, затем весьма таинственно раскрыл ее так, что появилась только маленькая темная щелочка: «Берешь?»

Ван Ляньшэн поначалу не расслышал и растерянно покачал головой. Тогда старик придвинулся ближе, у него были ноздри, как у быка, которыми он втягивал, а затем выпускал горячий воздух: «Хорошая вещица, берешь?»

И тут Ван Ляньшэн вдруг вспомнил слова той женщины с ребенком на пароходе: «Протягивает руку, просит денег, вот уж страшное дело. Руки

---

[1] Хуалин — павлиньи перья на головном уборе чиновника династии Цин (знак отличия при династии Цин).

[2] Магуа — куртка китайского покроя, одевается поверх халата.

[3] Строка из стихотворения танского поэта Ли Шанъинь (813—858 гг.) «Плыву в одиночестве по реке Цюйцзян в конце осени».

[4] Нефритовые украшения, которые люди носили на поясе, на груди или на плечах в Китае в прежние времена.

[5] Люди с регионов к северу от реки (имеется в виду реки Янцзы).

черные, как у бродяги, — а взгляд у него такой свирепый, денег не дашь, так он тебя и прикончит!» Ван Ляньшэн почувствовал, как у него по горлу прошел леденящий холодок. Он поспешно схватил подол своей одежды и, как ветер, бросился убегать изо всех сил.

В тот день Ван Ляньшэн, вернувшись домой, обнаружил, что пока он безумно мчался, плакат, который он держал в руке, за что-то зацепился, отчего немного повредился. Однако это никак не повлияло на его основную задачу. Позже Шэнь Сяохун пришла как-то навестить его. Она наклонила голову и простояла так очень долго перед белой стеной, на которой висел плакат.

«...Прекрасно осознавая, что, только имея крепкое здоровье, смогу прожить долго, смотрю удрученно на воду и слушаю голос реки»[1]. И тут она фыркнула и спросила: «Ведь в этих двух последних строчках говорится о реке Хуанпу?»[2]

Ван Ляньшэн опешил от ее слов — конечно же, нет, несмотря на то, что река Хуанпу находилась здесь недалеко и по вечерам можно было даже услышать гудки пароходов. Как будто дети плачут, шумит, не переставая.

«В тот день, когда я был на пароходе, я слышал, как в каюте рядом кто-то играл на сяо[3]. Но когда я подошел послушать, звук прекратился. Тогда дул очень сильный ветер и были большие волны, весь пароход трясло... говорили, что на том участке моря водятся акулы».

Тут Шэнь Сяохун вставила: «Слышала, что они очень страшные, зубы очень большие и очень острые, а еще часто вывернуты наружу, вид устрашающий». Вдруг вспомнила что-то еще и спросила: «Тот парень, о котором ты говорил, что он прыгнул в море, — это правда?»

Ван Ляньшэн курил лежа на низкой кровати, услышав это, почему-то поперхнулся, хорошенько прокашлялся и только после этого ответил: «Как же не правда, я сам видел, как он прыгнул. Не успел моргнуть, и нет человека».

Шэнь Сяохун понимающе кивнула, но тут же продолжила: «Что-то мне не верится, если прыгнешь, то утопишься, а если не получится, тогда тебя съест акула».

Ван Ляньшэн медленно выпустил изо рта клуб дыма и сказал: «Вспоминать об этом к несчастью, даже волосы дыбом встают. Ну, скажи, как можно было напороться на такое несчастье?»

Шэнь Сяохун, как будто не услышав, продолжала свое: «Я не верю, я все-таки сомневаюсь, что это правда».

Как раз в это время пролетел мотылек, он трепетал крыльями и откидывал огромную тень на кончик носа Шэнь Сяохун. Ван Ляньшэн, воспользовавшись случаем, отвернул голову... он все еще был там, в тускло-желтом свете лампы, Шэнь Сяохун сморщила брови и слегка приподняла подбородок. Хотя в ней все еще оставалось то кокетство, бывшее в борделе Чансань, но вдруг Ван Ляньшэн был потрясен, как он раньше не замечал, это маленькое, остренькое и вытянутое лицо Шэнь Сяохун, натянутая улыбка, маленькая дуга в воздухе, образованная ее приподнятым маленьким подбородком — все это вдруг заставило его вспомнить то, что было много лет назад, когда он был еще подростком в своем родном доме в деревне. Случилось это после обеда ранней весной, мать послала его передать какие-то подарки родственникам в соседнюю деревню. Шел

[1] Продолжение стихотворения танского поэта Ли Шанъинь (813—858 гг.) «Плыву в одиночестве по реке Цюйцзян в конце осени».

[2] Хуанпу — река Хуанпу, протекает через Шанхай.

[3] Сяо — музыкальный инструмент, китайская флейта.

моросящий дождь, пройдя довольно долгий путь, он вдруг почувствовал, что кончик носа промок (это заставило его вспомнить о своей домашней собаке). Он постоял немного под ивой с закрытыми глазами, и почувствовал, как будто в воздухе кружит множество размокших от дождя иголок для вышивания...

Он услышал голос матери. Она звала его. В руке у нее был зонт.

Он забыл, где увидел ту девушку. Под ивой? На извилистой меже? Дождь прекратился? Или шел сильный? Рядом с ней шла собака с липким носом?

Он помнит ее овальное лицо, глаза, улыбку на устах... кажется, они еще и разговаривали. Но то, о чем говорили, не имело особого смысла. Он остановился около нее, немного помедлив, сказал: «Идет дождь».

Ван Ляньшэн женился в очень раннем возрасте. Это был брак по старому образцу, отвечающий всем канонам. Жена была какой-то дальней родственницей, девушка с круглым лицом и белой кожей. Мать Ван Ляньшэна говорила ему: «Помнишь, когда вы были маленькими, вы даже играли вместе!» Но Ван Ляньшэн ничего такого не помнил. Он только помнил, как перед свадьбой, когда впервые заговорил с ней, она стыдливо склонила голову и покраснела. Но позже Ван Ляньшэн обнаружил, что она краснела всегда, не только, когда говорила с ним, но и с любым другим. А еще позже Ван Ляньшэн как-то случайно увидел, как она одна сидела в садике и вышивала, из-под красной юбки выглядывали ее маленькие перебинтованные ножки, она была похожа на озирающуюся по сторонам птичку. Солнце светило ласково и тепло, бабочки летали разомлевшие... она сидела, склонив голову, с раскрасневшимся лицом.

Она из тех женщин, что краснеют, и тогда, когда говорят, и тогда, когда не говорят. Ван Ляньшэн догадывался, что в своей жизни, кроме отца и братьев, она практически и не встречала других мужчин, но во время первой брачной ночи она необычайно активно выполняла свои супружеские обязанности, даже появилось подозрение, что она пытается снискать его расположение. У Ван Ляньшэна вдруг возникла какая-то непостижимая мысль, как будто она думает, что он многолетний сутенер. Это вызвало у него еще больше отвращения, чем даже то, что она по всякому поводу краснела.

Позже, когда Ван Ляньшэн уезжал по делам, жена оставалась с матерью в деревне. Он возвращался пару раз в год, а когда уезжал, она провожала его, семеня своими маленькими ножками. Прошло много лет, а она все так же краснела, и как-то рано начала стареть. Она стояла, вся дрожа, под деревенской ивой, и провожала его нежным взглядом. Под этим нежным взглядом Ван Ляньшэн как будто превращался в сон — она смотрела на него, такая жалкая и несчастная. Судьба определила так, что среди многих тысяч людей именно эта женщина принадлежала ему, но Ван Ляньшэн вдруг снова что-то вспомнил, помахал ей рукой, развернулся и пошел прочь.

В дальнейшем он все реже и реже возвращался домой, а когда его перевели на работу в Шанхай, то возможностей стало еще меньше. Однажды он вместе с Шэнь Сяохун пошел в «Шуюй» поесть, он вошел в гостиную и остолбенел. Он видел только аквариум для золотых рыбок, который стоял в западной части гостиной, с виду метр шириной, квадратной формы, воды в нем было больше половины. Аквариум был очень глубокий, со дна поднимались водоросли темно-зеленого цвета. Двери и окна гостиной были широко распахнуты, по ногам откуда-то снизу прошелся сквозняк... Разноцветные рыбки все вдруг остановились, их хвостики перестали двигаться. Застыли на месте, как будто что-то слушают. Ветер подул спереди, и серо-голубой халат Ван Ляньшэна сильно облепил его тело, сморщился так, что он стал похож на согнутую высохшую креветку.

В конце концов, Шэнь Сяохун рассмеялась и, прикрывая рот, сказала: «Смотри! Тот аквариум, про который ты говорил, здесь!»

Ван Ляньшэн не сказал ни слова, он немного постоял один. Какая-то пару дней назад появившаяся служанка принесла закуски на стол. Ван Ляньшэн тихонько у нее спросил: «Эти рыбки... они откуда?»

Служанка казалась чистенькой, но с глазами у нее было что-то не так. На лице у нее появилось выражение смятения, хитрости, и глупости. Она тихо ответила: «Гость нашего хозяина подарил». При этом на щеке у нее появилось странное красное пятно.

Позже Ван Ляньшэн все время думал о том, как служанка покраснела от стыда. Поневоле он впал в глубокие раздумья, все-таки это была служанка из борделя Чансань. И хотя Ван Ляньшэн никак не мог придумать, из-за чего она могла покраснеть, вдруг перед ним промелькнула та ива. Девушка из его деревушки стоит под ней, лицо, как цветок персика. Почему-то ему показалось, что она, как сушеная рыбка... он не смотрел на нее, она стояла застывшая, пока он не посмотрел на нее издалека, и только тогда она ожила. Но даже когда ожила, она все равно оставалась рыбкой, которая плавала по аквариуму с одного места в другое и снова возвращалась...

«Ходите сюда-туда, осторожнее, этот аквариум очень легко разбить», — Ван Ляньшэн неожиданно крикнул это служанке. Та была чем-то занята и не придала его словам значения, а вот Шэнь Сяохун была рядом и все услышала, закусила губу — даже служанка из борделя его заботит, повернула голову и косо посмотрела на него.

2

Ван Ляньшэн уже давно пообещал, что сегодня после обеда отведет Шэнь Сяохун к одной портнихе. Это была русская женщина с золотистыми волосами. В последнее время по Шанхаю ходило множество легенд о ней, которые в основном включали следующее.

Во-первых, магазин одежды, который держит русская, на сегодняшний день самый дорогой в Шанхае.

Во-вторых, русская довольно красивая, а фигурка у нее, как тросточка, тоненькая и худенькая.

В-третьих, будучи портнихой, русская, тем не менее, отказывается делать одежду для тех, кто толще заданных ею параметров.

Шэнь Сяохун более всего волновало третье. Она как-то с крайним любопытством спросила Ван Ляньшэна: «Эти заданные параметры, что она имеет в виду?» Ван Ляньшэн немного подумав, решил, что не может на это ответить. Ван Ляньшэн часто попадает в такую ситуацию с Шэнь Сяохун. Например, иногда Шэнь Сяохун может спросить: «А что, правда, что вы, мужчины, все любите такие места?» Или еще в последнее время она часто спрашивает: «Скажи правду, не обманывай меня, про того парня на пароходе, что утопился, ты сам все придумал?» А еще однажды они стали из-за чего-то ссорится, и Шэнь Сяохун с растрепанной головой, испачканным лицом, вся в слезах и соплях устроила скандал, как самая что ни на есть сварливая баба. А потом через некоторое время она вдруг смягчилась, обняла его сзади, прислонилась заплаканным лицом к его спине: «Ну что у тебя за сердце! Как ты страшно изменился — я что тебе больше не нужна?»

Ван Ляньшэн не знал, что и сказать, что он четко знал, так это то, что сердце у него не на спине, но почему-то от ее слов у него защемило сердце.

Кое-что Ван Ляньшэн знал наверняка. Он клиент, а она — женщина, которую он покупает за деньги. В Шанхае таких женщин, как она,

немало: Шэнь Сяохун живет в Хуэйфане[1], Чжоу Шуанчжу — в Гунъяне, а Хуан Цуифэн — в Шанжэне... И такие отношения, как у них, тоже широко распространены: клиенты проституток тратят на них свои деньги, покупают им мебельные гарнитуры из красного дерева, покупают им одежду, украшения, оплачивают их всевозможные затраты. Сначала они еще едва знакомы, но постепенно становятся обычными клиентом и проституткой. С некоторыми из них можно долгие годы поддерживать хорошие отношения, с другими, как только все наладится, почему-то расстаешься, а есть и такие, кто готов голову отдать на отсечение, лишь бы все было хорошо... даже когда финал уже очевиден, все равно не отступают. Была одна, все уговаривала его: «Ляньшэн, все это время я, чем больше стараюсь, тем хуже. Ну и ничего, мы же как-то справлялись все эти годы».

Но есть кое-что, что он никак не может понять — он часто слышит тоненький, но пронзительный голос, который кричит: «Я не такой, как вы... я не такой, как вы...» Вопрос, однако, в том, что он не может сказать, в чем именно он не такой. Он просто не в силах выразить это словами или, может, это для него табу. Ван Ляньшэну казалось, что даже просто думать об этом уже табу.

В этот день после обеда было пасмурно, временами шел дождь, Ван Ляньшэн пошел встретить Шэнь Сяохун. В переулке было тихо, от торгашей, которые обычно продают «пряные яйца, варенные в чае», стеганую вату, ремонтников обуви, гадателей не осталось и следа. В тот момент, когда Ван Ляньшэн, склонив голову, молча думал о чем-то, какая-то женщина с зачесанной челкой вдруг высунула голову в дверной проем, раздался звук «плюх», она вылила целый таз грязной воды.

«О боже! Как же ты меня напугал!» — ударив себя в грудь изо всех сил, она закричала Ван Ляньшэну, как будто средь бела дня черта увидела.

Совершенно очевидно, что испугаться должен был Ван Ляньшэн, а в результате испугалась она. Невольно Ван Ляньшэн рассердился на нее. Но как только он рассердился, слова вдруг показались не связными, и он даже стал немного заикаться. Поэтому он просто уставился на нее широко раскрытыми глазами — посмотрел, и всего-то, а женщина вдруг выронила таз, схватилась обеими руками за голову и убежала внутрь, как будто от кого-то убегая.

«Только что в переулке я встретил какую-то ненормальную». Ван Ляньшэн с трудом переводя дыхание сообщил Шэнь Сяохун, как только они уселись в повозку.

«Ненормальную?» — на лице у Шэнь Сяохун показалось изумление.

«Ну, скажи, разве это нормально, она чуть не обдала меня с ног до головы водой, а говорит, что это я до смерти ее напугал», — со злостью сказал Ван Ляньшэн.

«Как она выглядит?» — Шэнь Сяохун это показалось забавным, хихикая, она подвинулась ближе к Ван Ляньшэну, продолжая допрос: «Небось, красивая?»

«Хм, это называется красивая? Расчесала челку и стала похожа на крышку от унитаза», — говорил, скрежеща зубами, Ван Ляньшэн, он немного успокоился, но что-то его все еще волновало, и он спросил: «Я что сегодня выгляжу как-то особенно страшно?»

«Ну, о чем ты говоришь», — сказала нежным голосом Шэнь Сяохун.

«А чего она тогда вела себя так, как будто черта увидела?» — не удержавшись, спросил Ван Ляньшэн, вспомнив недавнюю сцену.

«Это...», — Шэнь Сяохун не нашлась, что сказать, но она была умной женщиной и по многолетней профессиональной привычке зашла издалека:

[1] Район в Шанхае.

«Боюсь, что она так испугалась из-за того, что произошло на прошлой неделе».

«На прошлой неделе?» — Ван Ляньшэн все же попался на ее удочку и спросил, следуя мысли Шэнь Сяохун.

«На прошлой неделе у нас в переулке кое-что произошло. Рано утром чья-то служанка вышла за овощами, проснулась очень рано, небо еще не посветлело, да что там темно, сыро, влажно, а еще плюс ко всему и туман. Служанка-то, небось, накануне вечером не выспалась, сонная в полудреме и пошла, идет, зевает. А когда уже подходила к выходу с переулка, незаметно наступила на что-то мягкое. Она, любопытная, приблизилась посмотреть, оказалось, это куча каких-то рваных тряпок. И она, как ребенок, давай пинать ее ногой, пинала-пинала, пока тряпки эти и не развалились, и оттуда что-то показалось — угадай что?»

«Деньги?» — сорвалось у Ван Ляньшэна с языка. Когда Ван Ляньшэн ходит к Шэнь Сяохун, он часто ей что-нибудь приносит. Иногда она сама просит его купить какие-нибудь головные украшения из жадеита, яшмовые подвески, а иногда он и сам вдруг воодушевленный может купить ей пышный букет белых жасминов или кулек горячих засахаренных каштанов... он навещает ее по большей части от того, что скучает по ней. Но если прийти с пустыми руками, даже если она ничего и не говорит при этом, он все равно чувствует, что это неправильно. Он не может приходить лишь только со своими чувствами, чувства — пусть даже они, на самом деле, есть. Похоже, и это уже стало табу.

«Тогда, это была мышь?» Шэнь Сяохун боится мышей. Когда Ван Ляньшэн первый раз ночевал у нее, по полу в лунном свете пробежала какая-то серо-белая мышь. Шэнь Сяохун завизжала от страха. Ван Ляньшэн до сих пор помнит ту картину, ранним утром часа в три-четыре в мутном лунном свете она казалась такой слабой и беспомощной. На самом деле, он тоже слабый, в тот день он как раз посмотрел фильм о войне — в нем так много мертвых, так много крови, так много полуживых корчащихся тел, а еще так много попавших под пули, бултых-бултых, прыгали с лодок в воду...

«Все еще не догадался?» — подгоняла его Шэнь Сяохун.

«Честно, не знаю», — Ван Ляньшэн протянул руку, легонько вырвал с головы Шэнь Сяохун седой волос и сказал: «Ну, говори, что же там было внутри?»

«Мертвый младенец... мальчик, его лицо уже посинело», — сказала Шэнь Сяохун.

Магазин русской одежды располагался на нижнем этаже гостиницы. Когда Шэнь Сяохун и Ван Ляньшэн выходили из повозки, дождь прекратился. На небе появилась небольшая радуга. Шэнь Сяохун подняла голову, посмотрела на нее и вдруг почувствовала, как у нее перед глазами все закружилось. Эта радуга, висевшая в пасмурном свинцовом небе, своей яркостью слепила глаза. Таким же ярким было и высокое здание гостиницы рядом с ней. Чисто белые кирпичные стены, а посередине — талия из красного кирпича. Как будто специально проектировали для портнихи.

Темный свет лампы больше был похож на свет свечи. Звукоизолирующий ковер напоминал снежный покров в лесу. Множество извилистых лестниц, множество длинных изогнутых коридоров... не видно ни конца ни края. По снежному покрову леса с зажженными свечами вышел человек. В белой форме и белых перчатках. И то, что он говорил, Шэнь Сяохун тоже не понимала. Позже заговорил Ван Ляньшэн, он сказал: «Мы к госпоже Лидии».

Портниха Лидия сидела на диване и читала газету. Перед тем, как открыть дверь к Лидии, в длинном коридоре, вызывающем различные фантазии у людей, Шэнь Сяохун встретила несколько женщин. Две очень

худые, одна полная, и еще одна очень толстая. «Чтобы она померила мне талию, я сегодня даже не поела». Шэнь Сяохун, с одной стороны, тихонько подтрунивала над Ван Ляньшэном, с другой стороны, размышляла, что эта женщина по имени Лидия непременно весьма странная особа. Шэнь Сяохун и раньше встречала русских женщин, тоже красивых, но большинство из них крупные и высокие. Проходя в полдень сквозь белую дымку под солнцем, они отводили в сторону свои серо-зеленые глаза и всем своим телом напоминали айсберг... поэтому, когда сидевшая на диване настоящая Лидия подняла голову, Шэнь Сяохун опешила. Все так, как она и думала, но что-то и не так: Лидия, действительно, красивая, только она больше похожа на красивую, искусственную фигурку из музея восковых фигур, и в ней не было ни капли тучности. Она была одета в китайский халат, из-под которого виднелся подъем ноги и высоко выступающие ключицы — Лидия, действительно, очень странная, когда Шэнь Сяохун разглядывала ее, она смотрела в ответ холодным взглядом, глазами, не похожими на глаза человека, чужими глазами... Шэнь Сяохун растерялась и покраснела, а лицо Лидии оставалось белым. Шэнь Сяохун подумала, это, скорее всего, из-за безразличия.

Занавески в комнате были опущены, чувствовалось, что они сделаны из хорошей материи, но уже немного выцвели. В камине виднелись искры, слышалось потрескивание, и было непонятно, он только разгорается или уже затухает. Несколько горшков с гладиолусами и азалиями, возможно, только что принесенных из оранжереи, были поставлены небрежно в угол. Немного вялые, они как будто дремали. А еще был свернутый клубком персидский кот, он лежал разомлевший в ногах у Лидии, спал, как убитый. Лидия неторопливо свернула газету, затем еще раз тихонько хлопнула себя по коленям и только тогда заговорила с Шэнь Сяохун: «Какой у тебя размер талии?»

Было видно, что китайский у Лидии не очень хороший, но Шэнь Сяохун показалось, что вот так кратко и четко выражать мысли как раз наиболее подходит для Лидии. Поэтому, когда Ван Ляньшэн предложил переводить им, она решительно помахала рукой в знак отказа.

«Один чи[1] и восемь цуней[2]... вполне возможно, что один чи и семь цуней», — нерешительно ответила Шэнь Сяохун, заметив, как у Лидии изменился цвет лица.

Лидия слегка нахмурила брови и коротко сказала: «Померяем, подойди».

Руки Лидии скользнули, как змея, по талии Шэнь Сяохун. Ее золотистые волосы были похожи на пламя, но пламя, у которого нет температуры. В руках она держала прямую, как стрела, специальную линейку для шитья. На руках выступали четкие голубые вены. Они находились так близко друг к другу, что Шэнь Сяохун практически могла почувствовать кисловатый запах тела русского человека... Почему-то Шэнь Сяохун показалось, что Лидия не похожа на обыкновенного человека из крови и плоти. У нее было какое-то сильное чувство, как будто Лидия с ног до головы кукла, даже черти из «Ляо-Чжай»[3] уступали ей. Потому что у нее нет сердца.

Спустя какое-то время, руки Лидии наконец-то остановились. Она равнодушно, как будто сама себе сказала: «Один чи и семь с половиной цуней».

Шэнь Сяохун любопытно спросила: «Ну что, пойдет?»

---

[1] Чи, китайский фут, единица длины, равная 0,32 метра.

[2] Цунь — мера длины, равная 3,33 см.

[3] «Ляо-чжай-чжи-и» («Ляо-Чжай») (повести о странном из кабинета Ляо) — название книги китайского новеллиста Пу Сун-лина, по прозвищу Лю-цюань (1622—1715), родом из провинции Шаньдун.

Лидия кивнула головой. Опустив при этом «Пойдет» или «Не пойдет».

Когда речь заходит об одежде или мужчинах, любая женщина невольно приходит в восторг. Шэнь Сяохун без остановки продолжала, размахивая руками: «Ну, тогда, кайму надо сделать пошире, темно-фиолетового цвета или ярко-синего тоже ничего... воротничок повыше, по краям немного косой. Снизу подлиннее надо, чтобы ноги прикрывало...» Она сама не заметила, но стоящий сбоку Ван Ляньшэн подтолкнул ее локтем, а затем демонстративно покашлял.

И только в этот момент Шэнь Сяохун заметила, что Лидия качает головой, всем своим лицом выражая утомление.

Шэнь Сяохун смущенно посмотрела на Ван Ляньшэна, а затем также смущенно на Лидию и спросила: «А что такое?»

Ответ Лидии по-прежнему был очень коротким, она сказала так, как будто каждое слово и каждое предложение стоило денег: «На какой случай оденешь? Мне надо знать только это».

Шэнь Сяохун в этот момент, заразившись ее лаконичностью, разделяя слова, произнесла: «На банкет».

Лидия, растянув уголки рта, сказала: «Хорошо».

У Шэнь Сяохун от изумления вырвалось: «Хорошо? Ты даже не спросила, какая модель? Рукава широкие или узкие? Высокий или низкий воротник? Какой длины? А цвет каймы? Откуда ты знаешь, что хорошо?»

Лидия, как и прежде, определенно сказала: «Это все не надо. У тебя нет права голоса. Заберешь одежду через полмесяца».

На верхнем этаже гостиницы располагался ресторан-танцзал с изысканной отделкой. Шэнь Сяохун, усевшись на стуле у окна, с удивлением обнаружила, что река Хуанпу, оказывается, находится внизу. В сумерках на поверхности реки, отражающей свет, медленно двигалось несколько китайских парусников. Один дальний родственник Шэнь Сяохун живет на реке в районе Сюцзяхуэй, у него есть маленький сампан[1] шириной не более шести футов, сверху покрыт плетеным навесом. Когда Шэнь Сяохун впервые пришла туда, какая-то женщина с перебинтованными маленькими ножками сидела на борту и вышивала тапочки. Она тихонько сказала Шэнь Сяохун: «Это для иностранного рынка. Им нужно очень много таких тапочек, белых, шелковых». В каюте несколько мужчин играли в мацзян[2]. Светло-голубая дымка поднималась из печи, в которой горел древесный уголь... В воздухе висел какой-то запах вонючей воды из канавы, вплоть до самого ухода Шэнь Сяохун так и не поняла, этот запах исходил от мутной речной воды или он все же имел отношение к тем босым мужикам с голыми торсами.

«Смотри, Лидия...», — в этот момент Шэнь Сяохун услышала, как Ван Ляньшэн сказал тихим голосом.

Действительно, это была Лидия. В ресторан на верхнем этаже клиенты доставлялись на лифте старого образца, одним из двух человек, выходивших в данный момент из лифта, была портниха Лидия. Лидия была одета в облегающее вечернее платье черного цвета, на шее у нее висела нитка огромного жемчуга. Ее золотистые волосы были связаны в большой хвост, даже горная вершина в лучах заходящего солнца ей сильно уступала. Другой, высокий красивый мужчина, который стоял в данный момент рядом с Лидией, кожа у этого человека была слегка смуглой, но его глаза светились, как две лампочки.

[1] Сампан (от китайского «саньбань», буквально — три доски) — собирательное название для различного вида дощатых плоскодонных лодок, плавающих недалеко от берега и по рекам Восточной и Юго-Восточной Азии.

[2] Мацзян — китайская игра в кости.

«Это ее муж, говорят, он очень модный офицер военно-морского флота». Ван Ляньшэн, немного помявшись, сказал: «Ее муж — хороший знаток Китая, они каждый вечер приходят сюда потанцевать, все говорят, что вместе они очень красиво танцуют. А еще все говорят... они очень любят друг друга».

Один из работников в белой одежде прошел впереди, Лидия и ее муж, военный офицер, проследовали за ним. Похоже, что Лидия уже узнала их с Шэнь Сяохун, она опустила голову и что-то тихонько сказала мужу.

«Здравствуйте!» — Шэнь Сяохун как раз, склонив голову, жевала жареного цыпленка по-мэрилэндски, когда высокий офицер военно-морского флота уже стоял перед ней и Ван Ляньшэном.

Было ясно, что по сравнению с молчаливой Лидией, ее муж офицер любил поболтать, он взял из рук официанта бокал спиртного со льдом, пожал плечами и сказал: «Лидия никогда не шьет мне одежду, она говорит, что я превышаю ее параметры». И тут, как будто вспомнил что-то веселое, рассмеялся и громко сказал: «Знаете, Лидия странный человек».

Однако Шэнь Сяохун показалось, что муж Лидии тоже странный. Он без умолку болтал, без перерыва пил. Своими глазами, похожими на лампочки, он постоянно смотрел на Лидию. Он сказал: «Лидия каждое утро смотрит в окно, когда я выхожу из дома, я езжу на милом низкорослом монгольском жеребце, он был куплен еще в прошлом году осенью... это, действительно, хороший жеребец, ведь так, Лидия?» Он снова сказал: «О да, вы знаете низкорослого монгольского жеребца? Они растут в Китае в монгольской степи, раз в год их пригоняют на юг. Их можно купить только на конном рынке в бассейне реки Янцзы... Знаешь, насколько они крепкие?» — он повернул голову и посмотрел на Ван Ляньшэна. Ван Ляньшэн в полном недоумении помахал головой. «Знаешь, насколько они крепкие?» — он снова обернулся и посмотрел на Шэнь Сяохун. Шэнь Сяохун также в растерянности покачала головой. «Они, на самом деле, очень крепкие!» — на этот раз он ни на кого не смотрел, сам себе продолжал: «А вы знаете, что одна лошадь ростом около пятидесяти дюймов может везти на себе человека весом сто сорок фунтов! Сто сорок фунтов! Вы только подумайте, сто сорок фунтов!»

Сумерки уже, подобно сигарному дыму, выпускаемому из носа офицера, потихоньку начали расползаться вокруг. Шэнь Сяохун обратила внимание на то, что когда офицер говорит, Лидия молча слушает. Если сегодня после обеда Лидия была похожа на острый и холодный лед, то в данный момент Лидия была окутана плотной дымкой. Почему-то Шэнь Сяохун вдруг вспомнила, как однажды в переулке она увидела одну перепуганную белую лошадь. Она умчалась далеко с высоко поднятой гривой, издавая пронзительные звуки. Она поранила нескольких человек. Но Шэнь Сяохун помнит очень хорошо, глаза лошади были красные, как будто она плакала.

Речь офицера, как с той испуганной лошадью, как только отпустил поводья, уже сложно остановить: «Но приручить такую низкорослую лошадь не так-то и легко. Дикий темперамент степных лошадей очень сильный, в самом начале мне понадобилась помощь трех людей, двое держали голову, третий захватил ее заднюю ногу... Вот уж, поистине, смертельное занятие, поистине, смертельное занятие...» Его тело странным образом качнулось, как будто в данный момент он сидел на лошади и был в пути.

Тут Ван Ляньшэн, тоже выпив немного спиртного, возбужденно присоединился к разговору. Он сказал, что как-то за компанию ходил смотреть скачки, они бывают два раза в год весной и осенью. Он с огромным интересом сказал: «Да уж, там так много людей делает ставки, даже девушки играют — они, конечно же, играют не на деньги, а на веера, шляпки, портсигары, даже иногда на своих парней».

Все расхохотались. Громче всех смеялся офицер.

Шэнь Сяохун тоже вставила свое слово: «Так это, наверняка, иностранные девушки». Шэнь Сяохун не играла на деньги, деньги ей доставались от мужчин за свободную любовь. Хотя все же недостаточно свободную.

Глаза офицера блеснули: «А я видел одну, в шелковом платье». Стоящая рядом Лидия в этот момент вдруг подняла брови, а офицер стал еще веселее: «Китаянка, красивая». Обернулся, взглянул на Лидию, и затем добавил, выделяя каждое слово: «Конечно, Лидия самая красивая».

Как раз в это время на танцплощадке заиграла тихая музыка. Вдруг, как призрак, появился низкий старичок с черной бабочкой на шее. Свет лампы был очень тусклым, он как-то странно мерцал, лицо старика было то белым, как у мертвеца, то серым, как разогретый древесный уголь. Он, склонив голову, выглядел слегка безразличным. Спустя некоторое время старик поднял глаза и посмотрел вниз на публику — это было самое странное из того, что произошло, потому что очень многие подумали, что старик смотрит именно на него или на нее. Шэнь Сяохун, Ван Ляньшэн, Лидия, офицер, муж Лидии, сидящая за соседним столиком парочка пожилых супругов шанхайцев, которые, казалось, уже скоро не смогут ходить, двое стоящих в темноте, китайская проститутка в ципао[1] с вырезом до пояса, слуга в белой одежде с французским шампанским в руке, а также красивая девушка, которая только что вышла из открывшегося лифта, она была красивее ангела, с таким безразличием, какого не было даже у монахини...

На лице у старика появилась улыбка. Он собирался спеть. И каждый думал, что он поет специально для него.

«Лидия! Иди сюда, моя маленькая Лидия!»

Офицер, покачиваясь, поднялся со своего места. Как только он встал, Лидия тоже поднялась. Они, держась за руки, прошли на танцплощадку. Когда они дошли до площадки, те, кто уже встал или кто собирался встать, снова один за другим заняли свои места.

Но звуки песни уже полились. Без малейших пауз.

Прежде, чем взошло солнце, на меня навалилась тоска,
И я залился слезами.
Прежде, чем взошло солнце, на меня навалилась тоска,
И я залился слезами.
Мне не нравится это чувство,
Оно так всех печалит.

Шэнь Сяохун, не отрывая глаз, смотрела на них. Лидия и ее муж офицер танцевали, на самом деле, очень красиво. Так красиво, что это даже сложно было назвать танцем, скорее это было какое-то видение над рекой Хуанпу. Но это видение вскоре было прервано сидящей за соседним столиком парочкой шанхайских супругов.

Сначала было слышно, как пожилой господин стучал рукой по столу, затем он тяжело вздохнул и сказал: «Ох, парочка несчастных людей».

Они, похоже, были любящими друг друга мужем и женой, потому что седовласая пожилая дама по привычке тоже вслед за ним вздохнула. Но все же, не понимая, в чем собственно дело, вздохнув, она спросила: «Почему?»

Пожилой господин, тяжело переживая, продолжал: «Так ведь у них нет дома. У всех русских в Шанхае нет дома».

---

[1] Ципао, женский халат, маньчжурское женское платье обычного во времена династии Цин покроя; позднее, в несколько измененном виде — обычное в Китае женское платье, длинное, в талию, со стоячим воротником и широкой правой полой.

Пожилая дама вслед за ним также сказала: «Точно, нет дома — а почему?»

В этот момент пожилой господин понизил голос и медленно сказал таким тоном, каким мужчины обсуждают современную политику: «Их правительство лишило их гражданских прав. Так как они сейчас живут за границей, им больше никогда не вернуться. Ты знаешь, что теперь они уже беженцы».

Пожилая госпожа, услышав столько странных слов: правительство, гражданские права, беженцы... от изумления менялась в лице так быстро, как огни фейерверка. Она кивала головой и продолжала спрашивать: «Как может правительство так поступать?»

Пожилой господин задумчиво и удовлетворенно кивнул головой, затем снова кивнул и все не переставал вздыхать: «Нет дома, нет дома... » У него-то дом есть. Из окон своего дома он может видеть реку Хуанпу. И даже конечная судьба уже определена, заботясь о современном, очень раскованном молодом поколении, они говорили: «Не беспокойтесь, похороните меня прямо в реке Хуанпу».

Почему-то даже покладистая пожилая дама немного опечалилась и замолчала на какое-то время. Они молчали, а Шэнь Сяохун вдруг повернула голову, посмотрела на мерцающего в свете ламп Ван Ляньшэна и очень серьезным, очень строгим тоном спросила: «Тот прыгнувший в море парень, о котором ты говорил в прошлый раз, это правда?»

3

Это был великолепный цветущий весенний день.

Накануне вечером Шэнь Сяохун плохо спала, она лежала в полудреме и слышала, как в соседнем переулке лаяла собака. Она два раза открывала окно, чтобы посмотреть, что случилось. Первый раз увидела только луну, очень яркую, похожую на напудренное лицо актера из оперы, но без каких-либо определенных черт. Второй раз она как раз успела заметить прошмыгнувшую мимо черную тень, раздался свист «фьють», а за ним последовали крики издалека: «Пожар! Пожар!».

Шэнь Сяохун страшно испугалась. Она только хотела спуститься отправить кого-нибудь вниз посмотреть, что же все-таки произошло, как черная тень остановилась неподалеку, и было слышно только, как кто-то хриплым голосом закричал: «Там, на улице Восточная Ципань!».

Затем сразу же раздались удары колокола, кажется четыре раза. Еще позже звук колокола вдруг превратился в тяжелый бой барабана, а затем звонкий пайбань[1] — почти, как в театре. И тут показалось красивое изящное лицо, набеленное без каких-либо черт, и тихо запело: «В мгновение ока все семь чувств упрячу, узнав истинное горе, замочила весь подол слезами... Богатство и бедность предопределены судьбою, но вот кто знает, в какую минуту жизнь человеку ясна»[2].

То лицо, ту фигуру, тот устремленный взгляд... даже если бы все превратилось в пепел, Шэнь Сяохун все равно бы узнала его. Она протянула руку, кокетливо поманила его, но вдруг перед глазами все покрылось пеленой. «Ж-ж-ж», как будто тысячи мелких белых жемчужин падали стеной дождя и разделяли их, разделяли его и ее. Она прошла через один ряд, но там был следующий. Ряд за рядом и ни конца, ни

---

[1] Пайбань — китайский ударный музыкальный инструмент.

[2] Отрывок из Пекинской оперы «Суо Линь Нан (Счастливый кошелек)», автор Вэн Оухун (1908—1994).

края — она с трудом стала засыпать, но нет, только уснула, как вдруг снова проснулась.

Но день, на самом деле, был очень хорошим. Такой день, как этот, непросто встретить в течение всего года. Все цветы, которые росли в маленьких садиках Хуэйфана, распустились: персики, груши, азалии, камелии, пионы, белые пионы... И даже, когда Ван Ляньшэн, приподняв одежду, спустился с повозки, медленно ступая, перешел через бесчисленные ветки распустившихся цветов и испускающих аромат лепестков — и в итоге предстал перед Шэнь Сяохун, это также внезапно... вызвало у нее восторг.

Они собирались сходить в небольшой храм неподалеку от Лунхуа[1], чтобы погадать. Это была многолетняя привычка. Все предыдущие годы они всегда ходили в известный храм Лунхуа. Ездили туда на повозке. По дороге встречалось много повозок, повсюду пыль, в повозках все такие же, как они, паломники. Набожные или вовсе не такие уж и набожные. Они курили фимиам, давали обет Будде, гадали и заодно смотрели древнюю пагоду храма Лунхуа, в которой колокол звонил от ветра. Но в прошлом году случилось что-то необычное. Их извозчик почему-то заблудился, ехали-ехали и вдруг заметили, что на дороге осталась только их повозка. Чем дальше они ехали, тем больше запутывались, но вид вокруг при этом становился все лучше и лучше. По обочинам дороги цвели персики, по деревьям летали сороки, местами начинал капать мелкий дождь. Обоим вдруг расхотелось возвращаться, и они стали, как дети, забавляться в повозке. Тут вдруг за поворотом перед ними, как сон, появился маленький местный храм.

Сначала вышел Ван Ляньшэн, ступил несколько шагов, повернулся и помахал рукой Шэнь Сяохун.

По сторонам был мокрый ярко-зеленый бамбуковый лес. Дождь шел небольшой, и каждая капелька дождя уверенно размещалась на бамбуковых листьях. В воздухе висела дымка дождя... и даже эта дымка была зеленоватой.

«Так тихо, как будто здесь черти водятся», — прошептала Шэнь Сяохун.

В конце бамбукового леса был каменный мост, храм находился на том конце моста. Уже давно облупленная дверь храма была открыта, но внутри никого не видно. Из дверей храма просматривался только бамбуковый лес. Не видно края.

«Ой, как страшно-то, ой, как страшно». Голос Шэнь Сяохун вдруг стал каким-то неестественным.

«Все хорошо, не мели чушь, все очень хорошо». Ван Ляньшэн протянул руку и взял за руку Шэнь Сяохун. Так они вдвоем — клиент Ван Ляньшэн и проститутка Шэнь Сяохун, — держась за руки, в дымке дождя прилетели, пролетели сквозь бамбуковый лес, влетели в храм без дверей, и затем влетели в другой бамбуковый лес, где не видно края...

В тот день каждый из них погадал себе. Какой-то старый монах с каменным лицом стоял рядом и бил для них в колокол. Сначала он спросил у Шэнь Сяохун: «Ты загадала желание или нет?» Шэнь Сяохун поспешно кивнула головой и ответила: «Загадала! Загадала!» Старый монах все с тем же каменным лицом ударил для нее в колокол. Дальше он спросил у Ван Ляньшэна: «А ты? Загадал или нет?» Ван Ляньшэн не успел ответить, возможно, потому, что его только что немного продуло, в горле как будто что-то застряло, и у него вырвался звонкий чих — но, похоже, никто не заметил недостойного поведения Ван Ляньшэна, потому что ста-

[1] Лунхуа — самый известный и большой (более 20 тыс. м^2) буддийский храм Шанхая.

рый монах с каменным лицом уже поднял руку, чтобы колокол зазвенел, и только и было слышно:

Дин-дон — дин-дон — дин-дон — дин-дон,
дин-дон — дин-дон — дин-дон — дин-дон.

Они заранее договорились, о том, что не будут подсматривать в желания друг друга. Не только не будут подсматривать, но и не будут говорить об этом. Но когда они вышли из храма и снова сели в повозку, чтобы вернуться домой, Ван Ляньшэн и Шэнь Сяохун вдруг, не сговариваясь, одновременно пришли к общему заключению: в следующем году надо еще раз приехать. Не ехать в храм Лунхуа, а приехать сюда. А еще, чтобы этот старый монах с каменным лицом снова бил для них в колокол.

Все тот же заблудившийся извозчик, все та же пора года, в кармане лежит все та же гадательная бирка с прошлого года. Они думали: когда исполнится загаданное, тогда и расскажут друг другу, что там было написано. Но они и не думали о том, что в этом году не смогут найти тот храм.

Когда они возвращались, уже было далеко за полдень, извозчик торопился так, что весь вспотел — в этот раз не из-за ошибки, а из-за того, что невозможно было второй раз ошибиться также. Как только повозка подъехала к переулку, Шэнь Сяохун капризно спустилась с нее, и даже не оглянувшись, вошла в Хуэйфан. Хотя Шэнь Сяохун иногда проявляла свой своевольный характер, но сегодня Ван Ляньшэн, у которого и так на душе было невесело, равнодушно не обратил на нее никакого внимания.

Повозка ехала вдоль переулка, постукивая «тук-тук», кто-то тянувший в руках корзину с серебряными деньгами, сдавленным голосом прокричал: «Цветы жасмина» — только прокричал первую половину фразы, поднял голову, взглянул в лицо Ван Ляньшэна, сплюнул и проглотил вторую половину фразы. Ван Ляньшэн сидел, не произнося ни звука, в непрерывно покачивающейся повозке, так же покачивалось что-то, что он крепко держал в руке. Это была гадательная бирка, которую Ван Ляньшэн написал в прошлом году в том маленьком храме. Когда они поехали, Ван Ляньшэн бережно взял ее с собой, но сейчас, она вдруг стала как будто ненастоящей. Ван Ляньшэну показалось, что она стала похожа на большую горсть песка и рассыпалась с каждым шагом.

После обеда Ван Ляньшэн поспал немного у себя дома. Примерно в три-четыре часа офицер, муж портнихи Лидии, заезжал к нему. В руке он держал сигару, постоял немного в гостиной перед белой стеной, на которой висел плакат с иероглифами. В последние дни время от времени офицер заходил к Ван Ляньшэну. Однажды он любопытно спросил у Ван Ляньшэна: что такое «Секрет наполнения трубки для курения опиума, доставляющего человеку удовольствие»; а еще один раз он вдруг, вытаращив свои голубые глаза, с возмущением сказал: «Этот ваш Лао-цзы, этот, которого зовут Лао-цзы, на основании чего это он заявляет, что все люди Поднебесной с собаками равны!»

Однако, сегодня вечером офицер ничего не обсуждал с Ван Ляньшэном. Он только пил свежий чай, который заварил Ван Ляньшэн, и был очень молчаливым. А Ван Ляньшэн, не зная, что сказать, спросил: «Как там Лидия? Все хорошо?» Офицер злобно отхлебнул чая, покачивая головой и улыбаясь, сказал: «У нее все хорошо, только она теперь стала еще страннее, отказывается шить для тех, у кого объем талии превышает один чи и семь с половиной цуней». Ван Ляньшэн посмотрел в окно и с отсутствующим видом спросил: «А сколько было раньше?» Офицер, вздохнув, сказал: «А раньше был один чи и восемь цуней».

Выпив две кружки чая, офицер вдруг поспешно встал и простился. Ван Ляньшэн из вежливости попросил его остаться, он, махнув рукой, сказал: «Знаешь, Лидия в последнее время увлеклась ездой верхом! Ездит-то она еще не очень хорошо, но вот смелости у нее побольше, чем у мужиков!», — затем понизив голос сказал: «Недавно мы купили еще одного низкорослого коня, Лидия назвала его “Огонек”»... В этот момент офицер, как будто обожженный огоньком, затрясся всем телом, слегка пошатнувшись, сказал: «Чуть позже мы собираемся кататься на лошадях, поэтому я должен поторопиться, мне надо еще подготовить упряжку». Немного погодя, он, заботливо качая головой, сказал: «Ох, уж эти женщины... Ох, уж эти женщины...»

Под вечер временами стал дуть ветер, Ван Ляньшэн сидел задумчиво у окна, вдруг нежно зеленый листок, кружась, упал ему прямо на кончик носа. В воздухе висел весенний запах свежей рыбы. В прошлом году, когда они с Шэнь Сяохун возвращались из того маленького храма, по пути встретили группу мужчин и женщин, одетых в костюмы для скачек. Мужчина в черном отдал приказ, конюх тотчас скинул покрывало и затянул подпругу. Наездники все сели по коням. Повозка Шэнь Сяохун и Ван Ляньшэна проехала еще некоторое время за ними следом. Это была ровная деревенская песчаная дорога, по краям дороги местами встречались высокие и низкие могилы, а также заводи, окруженные ивами. Проехав сквозь заросли деревьев, местами редкие, местами густые, Ван Ляньшэн увидел рыбака, который с помощью бакланов ловил рыбу. Чуть более десяти бакланов, как на построении, выстроились в ряд около его сампана, на шеях у них были металлические кольца...

Свистел ветер, в воздухе висел запах конского пота и запах духов женщин, сидящих сзади. Конечно, на лошадях мчались Лидия и ее муж, они ехали верхом на лошадке по имени Огонек. Над их головами кружилась какая-то сорока, — Ван Ляньшэн вдруг почувствовал, как у него защемило сердце, и он стал вдруг суетливо смотреть по углам комнаты в поиске чего-то.

Та гадательная бирка спокойно лежала себе на углу большого квадратного стола. На ней было написано пять простых слов: «Только бы весною все цвело[1]».

Все тот же безмолвный переулок. Все та же странная погода: то ветер, то дождь, то просто пасмурно. Все тот же тихий тонкий голосок в душе Ван Ляньшэна: «Я не такой, как вы... Я совсем не такой, как вы...» Даже тот, тянувший в руках корзину с серебряными деньгами, еще не ушел далеко, он явно узнал Ван Ляньшэна, но на этот раз он протяжно и мягко пропел всю фразу: «Цветы жасмина — желаете, белые орхидеи — желаете».

Все было как будто уже когда-то знакомым. И этот сыпучий песок в ладони, как будто сосредоточившись на себе, снова словно по песчинке собирался в руке. Золотые рыбки снова вернулись в аквариум, листья вернулись на ветки... Вдруг из окна одного дома высунула голову девушка с зачесанной челкой, она, не то улыбаясь, не то нет, посмотрела на Ван Ляньшэна.

На этот раз испугался Ван Ляньшэн. Он подсознательно отступил на два шага назад, втянул шею. Он ждал, когда с неба упадет таз воды из-под макарон.

Однако воды не было, девушка с челкой подняла руку и убрала волосы со лба, она приблизила рот к уху Ван Ляньшэна и сказала: «Падает дождь, болван!». Когда она говорила, у нее изо рта шел горячий воздух, и от этого

[1] Строка из стихотворения Ли Шутун (1880—1942), имя после пострижения в буддийские монахи Учитель Хун И.

«Всемирная литература» в «Нёмане»

у Ван Ляньшэна образовались капельки воды в ушной раковине. Ван Ляньшэн чувствовал, как бесчисленное количество теплых маленьких капелек поднимались и опускались в его сердце. Опускались, снова поднимались... Он, закрыв глаза, услышал, как кто-то, не очень похожим на его собственный голос, где-то там говорил: «Что ты сказала? Что ты только что сказала? Повтори, повтори еще раз!»

Рука девушки с челкой потянулась из того же ципао с вырезом до пояса. Как белая змея, потихоньку скользила по подолу Ван Ляньшэна. Прохладная и липкая. Она, смеясь, сказала: «Болван! Я сказала, что ты — болван!»

Через десять минут Ван Ляньшэн, в чем был, выбежал из шикумэня, в ушах все еще звучал голос девушки с челкой, похожий на змеиный: — «Болван! Я сказала, что ты — болван!» — пробежав несколько шагов, он вдруг вспомнил, что только что, когда раздевался, оставил у кровати девушки с челкой ту прошлогоднюю гадательную бирку. Но когда он повернулся назад, чтобы забрать ее, то вдруг наотрез расхотел делать это. В течение тех десяти минут сильного ветра и внезапного дождя Ван Ляньшэн почувствовал, что время повернулось вспять, и он совсем перестал узнавать себя. Тот молчаливый, культурный, воспитанный Ван Ляньшэн, тот любящий красоту, слабый, страдающий от перемены времени Ван Ляньшэн, где он? В этот сильный ветер и внезапный дождь Ван Ляньшэн не только до смерти испугался, но минута за минутой тушил разбушевавшийся пожар... Поэтому, когда он снова вернулся в тихий переулок и услышал издалека сдавленный голос торговца цветами, Ван Ляньшэн ощутил холод с головы до ног. Он, на самом деле, всей душой ненавидел себя, он, действительно, сошел с ума!

Ван Ляньшэн, опершись на иву, приводил одежду в порядок. Его мысли были спутаны. В эту минуту он испытывал огромное отвращение к себе, и из-за этого он испытывал отвращение и ко всем остальным. Ему казалось, что у него грязные руки, грязные ноги и грязный рот.

«Есть деньги?» — кто-то низкого роста с черным лицом в рваной одежде вдруг возник перед ним.

Ван Ляньшэну казалось, что у него грязный рот, и поэтому он не желал говорить с ним, выражая это своим каменным лицом.

«Есть деньги?» — руки человека маленького роста протянулись перед Ван Ляньшэном. Две очень черные руки, Ван Ляньшэн только глянул на них и сразу почувствовал тошноту. Ван Ляньшэн не хотел смотреть на эти грязные руки.

«Деньги на еду, господин, хорошо, хорошо, хорошо, дай немного». Человек маленького роста говорил простыми, но пугающими словами, и все же вежливо и тактично. Если бы это случилось в обычный день, Ван Ляньшэну обязательно понравился бы такой умный нищий... Но сегодняшний Ван Ляньшэн действовал наперекор всему. Он не хотел говорить, не хотел двигаться и даже не хотел ни на что смотреть.

Через несколько секунд Ван Ляньшэн упал под ивой со смертельной раной. Он не вымолвил ни слова. Кто бы мог подумать, что у нищего маленького роста оказались такие хорошие способности. Он схватил Ван Ляньшэна за голову и ножом перерезал Ван Ляньшэну глотку. Нищий бросил нож на землю, одним махом сорвал нефритовую подвеску с Ван Ляньшэна, развернулся и ушел.

А в это время в располагавшемся всего в нескольких десятках шагов отсюда Хуэйфане Шэнь Сяохун лежала с каким-то мужчиной в кровати. Шэнь Сяохун наклонилась, привычным движением заправила трубку для курения опиума. А мужчина одной рукой подпирал подбородок, а другой размахивал в воздухе, делая изящные движения, при этом большой

и средний палец касались друг друга, а все остальные были подняты вверх. Чертами лица он более напоминал девушку, и хотя сейчас на его лице не было пудры, оно выглядело чистым, как прозрачная вода.

Темнело. На небе повисли свинцово-серые тучи, из-за туч показался краешек месяца. Изогнутый, он висел где-то там, напоминая собой очень тонкий нож. Только дребезжащее острие, без блеска.

Шэнь Сяохун стряхнула трубку, которую она держала в руке, затем еще хорошенько стряхнула и только после этого передала ее сидящему рядом мужчине. «Держи, — сказала она, смеясь. — Задолжала тебе, как старшее поколение — вчера ночью ты мне снился! Из-за тебя снова не спала всю ночь».

Мужчина взял трубку и что-то невнятно сказал. Почему-то его голос чем-то был похож на те его изящные движения рукой в воздухе. Как будто куколка превращается в бабочку.

Шэнь Сяохун лежала лицом вверх, она посмотрела на мужчину, улыбаясь всем лицом. Немного погодя она как будто что-то вспомнила, выпрямилась и очень серьезно спросила: «Есть кое-что, о чем я хочу тебя спросить, вот скажи, в одном месте, где водятся акулы, один парень вдруг взял и прыгнул в море — как думаешь, это правда?»

Не успел мужчина ответить, как вдруг издалека стали доноситься шумные голоса. Это были звуки от ударов в гонг, звуки плача, звуки барабана, крики ребенка... Мужчина застыл в ужасе, сказал, что, похоже, где-то похороны. Но так как это происходило далеко, то в итоге звуки перестали быть отчетливыми. У обоих вдруг поднялось настроение, и им захотелось подойти к окну и посмотреть. Когда они спускались с кровати, что-то, непонятно откуда взявшееся, вдруг шлепнулось на пол: «Хлоп».

Мужчина с любопытством поднял, чтобы посмотреть. Это была гадательная бирка из храма. Он перевернул, а затем тихонько прочел: «Лишь бы луна по воле небес была полная[1]».

Луна наконец медленно выползла из-за туч. Все же это была пора весеннего цветения, и луна, даже не совсем полная, все равно казалась полной. В воздухе висел какой-то приятный запах. Свет от луны освещал землю. Но ни лежащий на земле Ван Ляньшэн, ни лежащая в кровати Шэнь Сяохун не знали, что только что, в то время, как поднялся ветер, кто-то неподалеку от города нашел в рисовом поле портниху Лидию и ее мужа офицера. Оба они упали и уже были мертвы. А та лошадь по кличке Огонек лежала рядом и тяжело дышала.

Очень скоро личности Лидии и ее мужа были опознаны. Поскольку в Китае у них не было других родственников, прошло несколько дней, и друзья похоронили их в море. На берегу они совершили простой обряд погребения в китайском стиле. Для проведения заупокойной службы был приглашен какой-то старый монах. Он закрыл глаза, что-то пробормотал. Затем старый монах изо всех сил бил в медный барабан.

Перевод с китайского Юлии МОЛОТКОВОЙ.

[1] Окончание строки из стихотворения Ли Шутун (1880—1942), имя после пострижения в буддийские монахи Учитель Хун И.

ЛУ МИНЬ



От имени отца

Рассказ

1

Если бы не звонок мамы, я бы снова забыла, что в один из дней этого месяца умер отец и что в его память нужно было сжечь жертвенные деньги[1]. По маминым напоминаниям это приходилось делать несколько раз в году: в день поминовения предков, в день зимнего солнцестояния, на его день рождения, в праздник «цинмин»[2] и в канун Нового года. Я всегда забывала об этом. Забывала вовсе не потому, что была поглощена житейскими заботами или отдыхом в свободное время — даже когда отец был жив, я почти не вспоминала о нем.

Мама сказала, что пришлет много золотых и серебряных слитков в форме башмачка, много-много, ведь в этом году двадцать лет, как умер отец. Маму и отца не связывали теплые чувства, но она никогда не забывала о почтении его памяти. Перед моими глазами часто всплывает одна и та же картина. Вторая половина пасмурного дня. Проснувшись от послеобеденного сна, мама складывает деньги-башмачки, от которых ее руки покрываются золотой и серебряной пыльцой. Плохо освещенная гостиная — мама привыкла экономить электричество. Она привыкла и к тому, что уже долгое время живет совсем одна и по несколько дней ни с кем не разговаривает. А я в это время пью где-нибудь чай, стою в очереди в банке, слушаю жалобы водителей на цену бензина, жизнь вокруг меня бурно кипит. После маминого звонка мое приподнятое настроение тут же исчезло. Я не поверила своим ушам: прошло уже двадцать лет! Так много... И тут я испугалась. Если бы случилось так, что по старости мама забыла об отце или вовсе умерла, не осталось бы никого, кто помнит о нем. Его последняя формальная связь с этим миром окончательно оборвалась бы в моих руках.

Одиннадцатилетняя дочка рисовала на земле мелком круги, ведь жертвенные бумажные деньги для умерших душ нужно жечь только внутри очерченного круга. «Дедушка, дедушка», — увлеченно бормотала девочка, так редко произносившая это слово. Она не была знакома с отцом.

---

[1] В Китае для поминовения усопших в особые дни принято сжигать бумажные деньги. Считается, что сожженные деньги помогут умершим в загробном мире.

[2] Цинми́н («праздник чистого света») — традиционный китайский праздник поминовения усопших, который отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния.

Отец не знает о том, как после окончания учебы я искала работу, как вышла замуж и родила ребенка, купила квартиру, меняла работу. Ему неизвестно, что произошло со мной за эти двадцать лет.

Он не разделил со мной испытанное ощущение растерянности, удары судьбы, любовь и жестокость.

Когда он умер, мне было шестнадцать лет. Отец не увидел, что с тех пор я подросла на пару сантиметров.

Я потихоньку подкидывала бумажные деньги в пылающий огонь. Бумажки, сложенные мамой слоями, скручивались, сморщивались и исчезали.

Наверное, любой другой пепел мог бы подняться с ветром высоко-высоко, но пепел от бумажных денег мелкими крупинками черного и серого цвета кружился под лампой уличного фонаря. Казалось, будто он прокладывал дорогу в небо, к душам умерших. Я еще долго наблюдала за происходящим передо мной действием. Дочка нашла маленькую веточку и, словно играя, ворошила пепел. Ей хотелось, чтобы недогоревшая бумага снова и снова сияла ярко-красным светом пламени.

Сгоревшая бумага приятно пахла. Дочка понюхала свои руки.

«Не разбивай пепел на слишком маленькие крупицы! Мертвые могут не получить свои деньги».

«Это су-е-ве-рие! — словно заученным в школе тоном прошептала дочка. — Зачем жечь бумажные деньги?» — снова и снова спрашивала она.

Я не сводила глаз с пепла, который потихоньку становился все белее. Зачем жечь бумажные деньги? Мертвым не суждено узнать об этом, как и живым не дано познать небеса.

2

Я никогда по-настоящему не жила с отцом. Да и виделись мы с ним только на Новый год.

Он был одним из первых в деревне, кто стал студентом. Он мог гордиться тем, что поступил в один из университетов Нанкина, а после распределения продолжил работать в этом же городе. Его городская работа была настолько важной, что возвращаться домой он мог только на Новый год. В нашей деревне был еще один человек, работавший в Нанкинском военном округе, и они вместе с отцом возвращались домой, чтобы встретить Новый год. Весь первый месяц наступившего года их, а вместе с ними и деревенского секретаря, бухгалтера, фельдшера, директора начальной школы и других местных «шишек», сельчане приглашали на праздничные посиделки к себе домой, иногда и по два раза за день. За большим квадратным столом в чьей-нибудь гостиной они выпивали, играли в карты, обменивались сигаретами, обсуждали государственные дела.

Когда на улице становилось совсем холодно, отец переходил на одежду из шерсти, а тот офицер из Нанкина надевал свою впечатляющую военную форму. Никто из них не носил ватники, и в сравнении с сельчанами, их одежда казалась довольно прохладной, но вместе с тем и более внушительной и подходящей. Жители деревни единодушно признавали, что горожане не боятся холода. Пожалуй, именно за это их и почитали в деревне.

На сорок девятый день после смерти отца семья пригласила человека для отпевания умершего. Кроме того, нужно было сжечь некоторые его вещи, привезенные из Нанкина. Большинство этих вещей я видела впервые, ведь они принадлежали незнакомому мне человеку — мужчине, прожившему сорок лет и собравшему за половину своей жизни все это имущество. Бабушка от слез снова потеряла сознание; сестры, закрыв глаза, плакали, а мама занималась приготовлением еды. Мне было поручено жечь вещи. Русский словарь, шарф, журнал, украшения из дерева, пла-

стиковая кружка. Но больше всего мне запомнился пуховик, двусторонний и толстый, с одной стороны серебристо-серый, с другой — коричневый. Как хорошо он горел! Перышки пуховика, только очутившись в огне, тут же растрепались и ярко запылали в багряном пламени. Изумленная, я забыла о боли. Я вспомнила о том, как на каждый Новый год отец возвращался домой. Зимой в деревне было очень холодно, но, несмотря на это, отец никогда не брал с собой пуховик. А все потому, что ему хотелось казаться городским. Жители деревни до сих пор помнят его одежду из шерсти и две полоски на штанинах.

Всякий раз, когда отец приезжал домой на Новый год, мы почти не разговаривали друг с другом. Но я все же помню исключения.

В нашей семье было принято делать для соседей новогодние парные надписи. Сначала это делал дедушка, учитель частной школы. Его старомодные надписи, известные всем, выглядели слишком правильными и простоватыми. Затем, то ли потому что дедушка постарел, то ли по какой-то иной причине, парные надписи стал делать отец. И ему нравилась эта обязанность. Для разведения чернил он использовал фарфоровую банку для сладостей. Со стола убирались все вещи, что добавляло всему происходящему особую торжественность. Если у соседей не было особых пожеланий, он давал волю своей фантазии, своевольно изменяя верхние или нижние иероглифы в надписях, делая их наполовину узнаваемыми. Предметом надписей становились также танские стихи и древние изречения, а иногда и вовсе услышанные отцом по местному радио гимны деревенскому пейзажу, которые он, посмеиваясь, внимательно слушал. А еще отец любил добавлять к парным надписям «наклейку». Он брал газетный лист, произвольно скручивал его, а затем макал в золотисто-желтые специи, аккуратно отпечатывая по краям надписи цветки. И выглядело это просто удивительно! Но все же отец знал чувство меры и никогда не забавлялся с надписями, предназначавшимися для гостиной и входной двери соседей.

Однажды он сделал надпись «Чуньфэнхэсю»[1], и когда невысокий парнишка пришел, чтобы забрать ее, отец, указывая на четвертый иероглиф, спросил: «Знаешь, что за иероглиф?». «Что вы, откуда мне знать», — радостно закачал головой низенький сосед. «А ты?» — спросил отец у меня.

Я разволновалась. Я училась в третьем классе, и отец никогда не интересовался моей успеваемостью. Он не знал ни о тех экзаменах, которые я сдала на сто баллов, ни о том, что меня выбрали лучшей ученицей... Мне всегда казалось, что людей, способных разделить мою радость, было очень мало. Но, как назло, я не знала, что это за иероглиф. Отец ничего не сказал, он продолжил письмо, так и не объяснив мне значения иероглифа. Не обращал он внимания и на приветствия проходящих мимо соседей. Всю следующую половину дня я была подавлена. Я сердилась не потому, что хотела как-то выделиться перед отцом и показать себя с лучшей стороны, а потому, что он так по-настоящему и не проверил, на что я способна. Отец делал так, как ему хочется, и от этого я еще больше ощущала его равнодушие ко мне.

Я навсегда запомнила тот написанный в стиле бан-цао иероглиф «сю», ту ярко-красную бумагу и черную тушь. Я до сих пор испытываю отвращение к этому иероглифу.

Накануне Нового года вся семья занималась генеральной уборкой. На отца была возложена только одна обязанность — начистить обувь. И делал он это с большим энтузиазмом. Вначале он вытирал грязь, затем

[1] Чуньфэнхэсю — китайский фразеологизм со значением «мягкий, как весенний ветер». Наиболее часто встречается другой вариант фразеологизма — чуньфэнхэци.

обильно наносил гуталин, после чего оставлял обувь для «напитки». Далее с помощью маленького кусочка старой шелковой ткани он, не жалея сил, с быстротой ветра натирал обувь, крепко прижав материю к коже. И какой бы старой ни была обувь, после такой чистки она выглядела ослепительно. В самом конце отец радостно расставлял начищенную обувь в один ряд. Сильный запах гуталина, по-западному модный, проникал в ноздри. В первый день Нового года я обула начищенные отцом красные ботинки из свиной кожи. Но, купленные в прошлом году, ботинки оказались мне маленькими и жали, поэтому проносив их полдня, я переобулась. Отцу это не понравилось, и он, будто питая отвращение к деревенским детям, произнес: «Для начала хотя бы... Пусть хотя бы один человек научится носить кожаную обувь».

Как тогда я не понимала слова отца, так и не представляю до сих пор, по какому критерию можно определить, умеет человек носить кожаную обувь или нет. Но, чтобы я ни говорила, сейчас я чищу обувь точно так, как это делал отец. Особенно это проявляется на последнем этапе чистки, где очень важна скорость натирания кожи шелковой тряпочкой. Мне кажется, что именно от этого будет зависеть то, насколько заблестит обувь после чистки. Кто-то скажет, что все ерунда, пустяки, не стоящие внимания. Да я и сама особо не дорожу этими мелочами. Нас с отцом мало что связывало, поэтому эта деталь — то немногое, что я запомнила о нем из детства.

Весь первый месяц нового года отец допоздна играл в карты и возвращался домой лишь глубокой ночью. От него пахло перегаром, а в карманах его брюк валялась мелочь с игрального стола. Отец вставал очень поздно, и сваренные для него яйца к тому моменту уже остывали. И если в этот день отца не звали на праздничные посиделки, то обедали мы вместе. Во время обеда он был немногословен, кушал быстро, после чего вытирал рот носовым платком и выходил из дома, чтобы прогуляться по голому, без зелени, дворику, где сушили зерно. И только тогда, когда он уходил, я расслаблялась и начинала кушать. Я просила у мамы положить мне постного мяса, которое я могла громко жевать, а потом съедала еще и пару тарелочек супа. Я не привыкла к тому, что отец сидит за обеденным столом, поэтому, когда он был рядом, я не могла нормально поесть.

На самом деле, я очень боялась его. Помню, как однажды, во время своего короткого приезда на зимних каникулах, он ударил меня. В тот день, пока мама и бабушка были заняты приготовлением рыбы и мяса, я кушала зажаренный кусок свинины. И тут, к моему несчастью, мне попался кусочек, который я не смогла разжевать и проглотить. В тот момент, когда я хотела его выплюнуть, за моей спиной незаметно появился отец и строго приказал мне проглотить кусок. Как бы ни старалась я разжевать и проглотить мясо, мой рот и глотка не хотели поддаваться. Тогда мне было всего семь или восемь лет, поэтому я сразу расплакалась. А отец продолжал ругаться и даже ударил меня своими кожаными ботинками по ноге. Ударил несильно, ведь мне было совсем не больно, но от того, что в порыве гнева он незаслуженно побил меня, я стала по-настоящему бояться отца. Я с нетерпением ждала момента, когда он вернется в Нанкин. Мне не хотелось встречать Новый год.

Этот случай с непроглоченным куском свиной зажарки нашел свое отражение в одном их моих рассказов. Возможно, я не должна была использовать такие личные подробности своей жизни, но я не могла больше держать это в себе.

Немного повзрослев, я стала лучше понимать отца. И хоть мне было нелегко простить то, как он когда-то ударил меня ногой, все же я стала терпимей к нему. Можно только догадываться, что чувствовал отец, возвращаясь каждый раз домой под Новый год. Его, грустного и безрадостно-

го, никто не понимал, никто не хотел войти в его положение. В Нанкине у него была своя жизнь, свои желания и стремления. Когда отец видел родные места, мою маму, он начинал сердиться. Ему хотелось сбежать от всего этого. Тогда, ударив меня за непроглоченный кусок мяса, он вымещал на мне зло. Возможно, он сердился на меня и за то, что я была к нему так враждебна. К тому же, отец, точно так же как и я с мамой, так и не осознал, что такое семейное счастье, ведь у него, как и у нас, не было семьи в полном смысле этого слова.

3

Вина в том, что произошло между ними с матерью, лежит на отце. Слухи о его постыдных делах ходили по всей деревне. Любовные похождения — дело не новое, незачем и вспоминать об этом. К тому же, отец получил суровое наказание за свои проступки. Ему не раз приходилось сидеть в тюрьме и дважды проходить трудовое перевоспитание. Отца обвиняли в разврате.

В этой истории есть один случай, так похожий на тот, что вырван из романа, написанного плохим автором. О нем мне рассказала мама. Когда отец во второй раз попал в переделку, об этом знали все, кроме нашей семьи. До летнего отпуска оставалось совсем немного, и моя мама-учительница, незаметно для самой себя, поделилась с коллегами своими планами: «В этом году нужно пораньше собрать кукурузу, а потом можно и с ребенком в Нанкин поехать, пусть отдохнет...» В конце концов, две преподавательницы, которые больше не могли держать эту тайну в себе, последовали за мамой в туалет, где, положив руки на ремень брюк, они притворились, что пришли облегчиться. В вонючем, полном летающих мух туалете они наконец-то открыли маме тайну: «Какой уж тут Нанкин! Вашего папу снова поймали!»

Все мои воспоминания об этих событиях остались от разговоров с мамой. То, что по-настоящему происходило с отцом в Нанкине, не суждено узнать уже никому. Как бы то ни было, последующая болезнь отца так или иначе связана с теми событиями. Его подавленное состояние привело к тому, что у него заболела печень.

Я уверена, отец, покинувший деревню, словно воспаривший в небе гриф-великан, всегда стремился к чему-то высокому, запредельному. Говорили, что отец был талантлив во всем и даже умел играть на скрипке и гармошке. Он без труда мог починить приемник или швейную машинку, пожарить вкусное нежирное блюдо, красиво обыграть всех в бридж, при трехочковом броске забить в баскетбольную корзину девять мячей из десяти. Он умел писать иероглифы перьевой ручкой лучше, чем кистью, а его подражания стилю письма председателя Мао получались яркими и выразительными. Многие восхищались им, что, конечно, могло хорошо объяснить причину его любовных похождений в Нанкине. Но в последующие несколько лет его жизнь резко изменилась. Его стали презирать даже работавшие с мотыгой в поле крестьяне, осуждавшие отца. Когда он возвращался домой встречать Новый год, его больше не просили сделать праздничные парные надписи, и, уж тем более, никто не приглашал на праздничные посиделки и игру в карты на деньги. Отца задавили моралью и облили грязью.

А ведь когда-то люди очень хорошо относились к отцу. Я помню, как однажды моя пожилая бабушка отмечала день рождения. Несмотря на то, что в тот день шел мокрый снег, отец устроил в честь бабушки салют во дворике для сушки зерна, во время которого он, поскользнувшись, очень смешно упал. Если бы на его месте оказался кто-нибудь другой, вся дерев-

ня уж точно бы смеялась над ним весь первый месяц наступившего года. Но отца, наоборот, хвалили за его почтительность к маме, ведь он упал, выполняя свой сыновний долг. Вот только после того случая люди, когда-то любившие отца, все хуже и хуже стали относится к нему, и от этого контраста в отношении становится страшно.

К счастью, отец постепенно заболевал. Его лицо, когда-то сверкающе белое, потемнело, а тело распухло. Он умер в Нанкине, и ему больше не нужно было возвращаться домой, чтобы встретить Новый год.

Вот почему до самого последнего момента я, находясь на стороне большинства и подчиняясь обстоятельствам, имея при этом достаточно аргументов, была разлучена с отцом. Я как будто играла роль маминого солдатика, и сочувствующие маме женщины говорили, что у меня есть опора в жизни. Но были и люди, тратившие слишком много сил на обсуждение произошедшего с отцом и излишнюю заботу обо мне: дочь работающего в Нанкине человека, дочь отправленного на трудовое перевоспитание нарушителя, дочь преподавательницы, лучшая в классе ученица... Куда бы я ни пошла, я видела, как при моем появлении замолкали люди, и даже дети, по возрасту младше меня, умудрялись найти способ, чтобы причинить мне беспокойство. В том году я только перешла в пятый класс, но мама решила, что мне нужно бросить школу, в которой она преподавала, перескочить один год и поехать к жившим далеко отсюда родственникам, чтобы поступить в среднюю школу. Она объясняла это решение тем, что там я смогу получить лучшее образование.

Вот так, словно вырванная из земли редька, я неожиданно для себя рассталась с семьей, мамой и покинула дом с голубыми окошками. Деревянные окна, выкрашенные в голубой цвет, — это воплощенная в жизнь задумка отца, вдруг возникшая у него во время празднования Нового года. Отец сам красил эти окна, и каждую весну они, красиво сочетаясь с распустившимися цветами персика и груши, радовали наши глаза. Я очень любила вид из синего окошка, который казался мне воплощением моего детского представления о романтике. Но с одиннадцати лет у меня больше не было возможности наслаждаться этим прекрасным весенним видом, ведь я, словно маленький путешественник, возвращалась домой только на зимние каникулы. По правде говоря, я бы и сейчас охотно променяла пару лет своей жизни на возможность вернуться в тот весенний день, когда я, маленькая, вернувшись из далеких мест домой на каникулы, любуюсь видом из синего окошка или без тени печали в душе иду вприпрыжку домой.

Родственники, соседи и одноклассники относились ко мне очень хорошо. Но проблема заключалась в том, что все они знали о случившемся с отцом, и поэтому я так до конца не смогла принять их дружбу. Я, ученица третьего класса средней школы, жившая нахлебницей у родственников, ощущала свою отчужденность.

В своем дневнике, не жалея слов, я описала подаренную мне кошкой теплоту. Это маленькое существо любило, свернувшись клубком, спать в уголке моей кровати, укрывая своим теплым тельцем мои ноги. Пробиваясь сквозь борозды огромного поля, я шла в школу. Густой весенний туман застилал все вокруг, а я все шла и шла, и в этот момент меня переполняли самые разные чувства. Я с нетерпением ждала выходных, когда ко мне приезжала мама. При расставании с ней, глядя на вычищенную для меня обувь и на выстиранную одежду, с которой еще капала вода, я плакала так, что с трудом дышала. Вечером, как можно ближе пододвигая к себе керосиновую лампу, я делала уроки. Я враждовала с детьми моих родственников и могла целыми неделями не разговаривать.

Но в то же время я многому научилась. Умела поддержать беседу с любым человеком, свыклась с тем, что кто-то меня уважает, а кто-то не

обращает на меня внимания, я привыкла к радушию, а еще больше к учтивости. Я все больше и больше становилась послушным ребенком.

Мне кажется, я так и не повзрослела за эти три года. Помню, как однажды к нам приехала с представлением цирковая группа. Представление было, конечно, очень слабым, но, увидев только пару номеров, я почувствовала в своем сердце дрожь, мне захотелось тайком сбежать вместе с ними, чтобы оказаться ребенком, по воле судьбы истязающим себя тренировками. Мне хотелось, чтобы окружающие меня люди стали переживать за меня и еще лучше относиться ко мне. За все три года проживания в чужом доме, не считая ребяческого самоистязания, мне пришлось пережить еще очень многое. Кто виноват в моих страданиях? Отец.

Но, снова но... Когда я достигла возраста, в котором начала наконец понимать, что такое отношения между мужчиной и женщиной, и что в них нет ничего предосудительного, мне стало горько за отца. Его трагедия, словно вынырнув из воды, ясно предстала передо мной. Я, подобно средних лет мужчине из прошлого поколения, стала понимать отца и сочувствовать ему. Поэтому и сейчас точно не могу сказать, каково мое отношение к изменам, непрерывно существующим и так похожим друг на друга. Бывает так, что они не имеют для меня никакого значения, но время от времени во мне может проснуться и борющийся за нравственность моралист. Чаще всего мне кажется, что измена — это осыпающий жизненный путь человека пепел. Человек, рожденный, чтобы пройти этот путь, едва ли сможет не оставить после себя пепла.

Конечно, я не в силах изменить свое отношение к отцу, его восприятие мной, сформированное много лет назад. Прошлое неустанно повторяет мне: то, что сделал отец, омерзительно и презренно.

Возможно, однажды у меня и был шанс все исправить.

В четвертом классе на время летних каникул меня отправили на пару недель к отцу. Он работал на огромном военном заводе, где была своя столовая, кинотеатр, парикмахерская и баня. Отец показал мне завод и разрешил каждый день после обеда покупать прохладительный напиток в магазинчике рядом с кинотеатром. Летом в Нанкине было особенно жарко, и только деревья могли спасти от жары. Каждый день, проснувшись от послеобеденного сна, я, прячась под тенью деревьев, шла к кинотеатру и покупала маленькое мороженое марки «Матоу» и, облизывая его, читала афишу. Как мне хотелось попасть внутрь и посмотреть фильм! Но я так и не осмелилась предложить это отцу. К тому же, кушать мороженое и читать афишу — это ведь уже немало! Еще до отъезда в Нанкин окружавшие меня дети очень завидовали мне, а когда я вернулась, то во всех деталях рассказывала им о послеобеденном просмотре афиш и мороженом.

Но я бы никогда не рассказала о своем завтраке. Отец, чтобы подольше поспать, поручил мне ходить в столовую за завтраком. В столовой всегда были огромные очереди, ведь нужно было отдельно посчитать талоны на рис и на овощи. Отвар из зеленой фасоли в алюминиевой кастрюле, засоленные овощи на перевернутой крышке котла, торчащие из большой заварочной кружки пампушки и палочки испеченного хлеба... Как мне, деревенской девочке, было не по себе в этой знойной, с засаленным полом, столовой! Каждый раз в суете и волнении я покупала завтрак, смертельно боясь потерять талоны на еду или перевернуть кашу. Я была очень низенькой, и стоявшая в окошке женщина, ругаясь, со злобой в голосе, с сочувствием говорила мне: «Кто это такой, что заставляет малютку разливать кашу! Смотри, не обожгись...». Я не могла рассказать отцу о том, что происходило со мной в столовой. Каждый раз я оставляла его порцию у изголовья кровати, и, если в один из дней я выливала слишком много каши, то моя порция доставалась отцу.

Вернувшись домой, я пожаловалась маме, пересказав ей слова женщины из окошка. На самом деле, все было не так и плохо. Отец жил своей жизнью, а я — своей. Так мы и прожили с ним один на один две недели, совсем не общаясь.

Но все же мне запомнился маленький горшочек с жасмином у него на подоконнике. Каждый день я смотрела на него и вдыхала нежный аромат цветка, который приносил мне особое удовольствие ночью. Когда я уезжала домой, мне было очень жалко расставаться с этим горшочком.

4

Избавиться от напряженности и неприспособленности в отношениях с отцом я смогла только спустя многие годы.

В тот год, когда он заболел и лег в больницу, я была уже в Нанкине и получала профессию в училище. Отца в больнице почти никто не навещал. Все это время мама не выезжала из деревни: у нее был выпускной класс и она не могла бросить его в самый ответственный момент предстоящего финишного рывка. Каждые выходные в переполненном автобусе я ехала из училища к нему, забирала грязную одежду, испачканную мочой и кровавой рвотой. На сушильной раме нашего женского общежития высоко, все время пошатываясь на вешалках, висела его одежда, но девушки, проходившие по коридору небольшими группками, не замечали ее. И только я ощущала ее запах, запах больницы и болезней, запах ослабевшего мужчины, который не исчезал даже после нескольких полосканий. Невозможно точно сказать, что я чувствовала, но даже несмотря на то, что отец серьезно заболел, мне было ни капельки не жалко его. Он по-прежнему оставался для меня человеком, приезжавшим домой на зимние каникулы и плохо ладившим с мамой. Его, отчужденного от меня, я не понимала и не хотела понимать.

Однажды, стирая одежду, я заметила на его изорванной до дыр майке следы крови. В общей ванной общежития тускло светила лампа. И мне вдруг стало жалко отца. Его майка, выглядевшая немного по-нищенски, внезапно показалась мне одеждой для новорожденного малыша, во мне все перевернулось, и я поняла: отец скоро умрет. Я сразу перестала бояться отца, и моя обида к нему тоже исчезла. Его, тяжелобольного и слабого, скоро не станет. Я, будто находясь в состоянии скорого высвобождения, пошла в магазин и купила ему майку, недорогую, всего за пару юаней. Кто бы мог подумать, что это так обрадует отца. Он стал расхваливать меня перед соседом по палате, хвастаясь моей успеваемостью и тем, что у меня был третий в Яньчэни результат на экзаменах за среднюю школу: «Она такая умница, в пятнадцать лет помогает мне стирать одежду! Да еще и новую покупает! Наверняка, потратила деньги со стипендии! У нее особая стипендия, одна на все училище!». Об этом мне рассказала жена соседа по палате, умершего на полмесяца раньше, когда отец уже был при смерти. Она пришла в больницу, чтобы завершить какую-то процедуру, и, увидев в окно, что отец без сознания, она взяла меня за руку и, с трудом сдерживая слезы, сказала: «Твой отец всегда хвалил тебя, говорил, что ты умница и отличница!».

Но меня не тронуло это. Особенно мне не понравилось то, что отец гордился моей успеваемостью и стипендией. В среднем профессиональном училище я училась по воле отца. В нашей деревне считалось, что нет ничего лучше, чем возможность поступить в училище: бесплатное обучение, предоставление питания и прописки, быстрый и надежный заработок. Но это совсем не тот путь, по которому мне хотелось идти! Я хотела поступить в университет и стремиться вперед настолько, насколько это возмож-

но, ведь с самого детства я хорошо сдавала экзамены и всегда выигрывала по баллам. В борьбе за свою мечту я неустанно плакала, и мама, хоть и неохотно, разрешила мне записаться на экзамены в старшую школу. Но моя радость длилась не долго. Через несколько дней из Нанкина приехал отец. Весь вечер он совещался с моим классным руководителем. (Если девочка поступит в старшую школу — пиши пропало! И даже если она выдержит старшие классы, то в университет ей все равно не поступить!) В самый последний момент отправки заявления в уезд отец, никого не спрашивая, поменял среднюю школу на училище: «Почтово-телеграфное дело! Лучше синица в руках, чем журавль в небе!» — радостно объявил мне отец с таким видом, будто поставил на меня крупную сумму денег.

Вот так в руках отца оборвалась моя мечта об университете! Конечно, сыграло свою роль и мнение мамы с классным руководителем, но именно отец исправил заявление. А разве не так? Отец заживо похоронил мою жажду учиться в университете. И простить его за это я не смогу. Я никогда не скрывала свою обиду и не раз признавалась в этом маме.

Все каникулы того лета, когда я сдавала экзамены в училище, потерявшая надежду, я лежала, словно пытаясь спрятаться, в душной москитной сетке. Чтобы отметить мой третий результат по району на экзаменах в почтово-телеграфное училище (ха-ха, синица в руках!), домашние накрыли праздничный стол и пригласили родственников, местных жителей, директора школы и учителей. Пусть это было и невежливо, но я решительно отказалась поднимать по этому поводу бокал. Разве они смеялись, ели, пили и праздновали не по случаю того, что я потеряла надежды на будущее?

И сегодня, проходя мимо любого университета, пусть даже не очень хорошего, я испытываю душевную боль, такую же свежую и острую, как раньше. Время как будто не лечит мои раны. Это вовсе не значит, что я не довольна своей жизнью. Просто осознаю, что без высшего образования ростку моих способностей так и не суждено было вырасти. А поэтому я упорно не могу излечиться от этой боли. Однажды ступив на правую дорогу, ты никогда не узнаешь, что было на левой. И я не могу об этом не думать, ведь ступив влево, я могла оказаться совершенно на другой развилке своего пути, встретить других людей, прожить другую жизнь, стать другим человеком.

После смерти отца мама потеряла работу сельского учителя, и мы вместе с младшей сестрой переехали в квартиру, где когда-то жил отец. Мама хотела, чтобы мы жили в Нанкине, потому что с самого своего рождения считала, что жизнь в городе полна надежд и устремлений. Все эти годы были для нас очень трудными. Достаточно только вспомнить одну деталь: овощной суп, сам по себе очень вкусный, но если в него добавить доуфу, то получится совершенное блюдо. Но в жизни было не совсем так, и один кусочек доуфу приходилось делить на две части. Я никогда не забуду, как мама аккуратно делила его на два ровных ломтика и, положив в поблеклую чашку, замачивала в воде, не забывая при этом менять воду, чтобы доуфу не испортился. Вскоре я окончила училище и устроилась на почту, где получила свою первую зарплату — 84 юаня. «Смотри, как хорошо, что отец исправил твое заявление, не обижайся больше на него», — уговаривала меня мама.

Я пересчитала эти 84 юаня, из которых 50 отложила, а 34 отдала маме. Мне самой деньги были не нужны. Да, я все еще злилась на отца. Я поддерживала связь со своими бывшими одноклассниками, и в тот год, когда я начала работать, они были уже на втором курсе университета. Их письма приходили из разных уголков страны, и аббревиатуры университетов на конверте словно прожигали мои глаза. И то, что среди них не было никого,

кто поступил в хороший университет, не означало, что этого не могла бы сделать я. И вот я считаю деньги, что за позорная работа! Я, как и любой человек, люблю деньги и понимаю, насколько они важны. Но я получила свою первую зарплату на три года раньше, чем мои одноклассники, и это испортило мое отношение к деньгам. Я не люблю тратить деньги, которые не приносят мне ни свободы, ни удовлетворения. Иногда кажется, что мне нужно было стать человеком, не умеющим зарабатывать деньги, набожным нищим интеллигентом, сидящим в кабинете и заучивающим наизусть отрывки из книг. Как же мне хотелось оторваться от материального мира, но непоколебимая действительность сурово проучила меня, дав беззвучную пощечину, и я подчинилась, тесно связав себя с обыденностью жизни.

Я часто скучаю по учебной аудитории, по несуществующему университету — моему символу благородства и чести. Мне и сегодня снятся сны, в которых я хожу на занятия и радостно жду, когда учитель прочитает отметки. Я знаю, что мое имя прочтут первым.

5

Мне лишь хочется попросить у отца прощения за два поступка.

Однажды он подарил мне записную книжку. После поступления в училище я записала на бумажке адреса всех людей, с которыми бы могла переписываться: два одноклассника из начальной школы, одноклассники из средней школы, любимый учитель по химии, два двоюродных брата и возмущенный поступлением в училище парень, с которым я познакомилась во время экзаменов... Адресами людей были исписаны два листочка, которые всегда были со мной. На зимних каникулах отец случайно увидел эти листочки и сказал маме: «Смотри, она так не написала мой адрес».

Через несколько дней отец принес мне записную книжку формата B7. Сделанная из черной кожи, она потрясала своей тонкостью и искусностью. Такая записная книжка как раз подошла бы мне для того, чтобы переписать туда с листочка все адреса. Она очень нравилась мне, но, хоть в это сложно поверить, я не взяла ее. Не взяла и точка. Мне просто не нужно было ничего, что дарил отец. Не дождавшись и половины первого месяца нового года, я вернулась в нанкинское училище, оставив записную книжку дома на самом видном месте.

Отец вернулся в Нанкин во второй половине месяца. Любопытно, но, не смотря на то, что он работал в Нанкине, а я училась там же, нам так никогда и не довелось ехать вместе в пригородном автобусе. В этом нет ничего удивительного, ведь начало и конец моих каникул не совпадал с его отпуском. Мама рассказала мне о том, что перед возвращением в Нанкин отец отдал записную книжку моей тетушке, у которой в поселке был свой магазин постельного белья. За всю свою жизнь тетя ни разу не выезжала за пределы поселка и, как мне казалось, могла использовать книжку, разделенную на графы «телефон» и «адрес», только для учета простыней и покрывал. После смерти отца мне хотелось получить записную книжку назад, но я не решилась поговорить об этом с тетей. Все родственники и так знали о моих разногласиях с отцом. Сейчас, пусть даже отца и нет с нами, мне все равно хочется попросить у него прощения.

А еще как-то раз он принес мне арбуз. Это было в начале его последнего лета. До летних каникул оставалось совсем немного, и отец пришел в училище, чтобы повидаться со мной. Держа в руках арбуз, он стоял у женского общежития. Я жила высоко, на шестом этаже, и отец, чтобы не подниматься, позвал меня снизу. Но мне не хотелось спускаться к нему. Соседки по общежитию заметили, что отец зовет меня, но я сказала им,

что знаю об этом, а сама притворилась, что очень занята повторением материала.

Прошло много времени, пока отец поднялся на шестой этаж, уставший, в прилипшей к телу от пота одежде. Я подумала о том, сколько ему, больному, пришлось идти от остановки до училища. Я поняла, что поступила неправильно, и от этого еще больше расстроилась. После нашего холодного разговора о том, когда я вернусь домой после экзаменов и заказала ли я билет, отец очень быстро ушел. Я позвала одногруппниц кушать папин гостинец, ярко-красный сок которого лился во все стороны. Девочки сказали, что арбуз очень сладкий, но я, притворившись, что у меня болит живот, так и не попробовала его.

А через два месяца отец заболел и вскоре умер.

Сейчас я понимаю, что тогда мне нужно было быть поласковее с ним: спуститься вниз и встретить его, съесть кусочек арбуза. Отец и так дарил мне немного, но еще меньше я принимала от него.

Все, что у меня сохранилось от отца, это несколько его фотографий, большинство из которых университетские. Отец окончил Нанкинский авиационный институт (современный Нанкинский авиационно-космический университет). На фотографиях он висит на турнике, поет в мужском хоре, и вместе с одногруппниками, на груди которых прикреплены значки председателя Мао, по-революционному коллективно позирует на фоне самого большого моста через реку Янцзы. Все фотографии отца черно-белые и разные по размеру. Внизу прописными буквами в произвольной манере были отмечены дата и место съемки — все это отец делал сам. Когда-то в технических университетах такая элементарная обработка фотографий была очень популярна.

Изредка просматривая фотографии, я стараюсь беспристрастно оценить внешность отца — красивого, располагающего к себе, на фотографиях еще такого молодого, здорового и радостного. Было время, когда я даже выбрала одну его фотографию, сделанную для документов, и носила ее с собой. Эта маленькая черно-белая фотография, по-изысканному мужественная, имела для меня эстетическую ценность: это был мой отец. И мне не верится, что этот человек, с которым я виделась только на Новый год, безразличный мне незнакомец, заставляющий почувствовать напряжение во всем теле, был моим отцом.

Если сложить все время, которое мы прожили вместе, с первого и до шестнадцатого года моей жизни, то в сумме получится не больше трехсот дней, и это не считая тех лет, когда он, находясь на трудовом перевоспитании, не возвращался на Новый год домой. Я смутно помню те времена, когда отец был жив, и не могу четко представить, как он выглядел.

Не могу я точно определить и его возраст. Мне, конечно, известно, что отец умер в 44 года, и если бы он еще жил, то в этом году ему исполнилось бы 64. Все это время мне кажется, что отец словно уменьшается. Сейчас он такой же, как и я, но пройдет немного времени, и он станет моим младшим братом, а когда я постарею, то и вовсе сыном. Но это всего лишь сопоставление возрастов, здесь нет ни отношений между людьми, ни чувств. Мне кажется, что разорванное в моей памяти на мелкие кусочки изображение отца, становится все более неясным, стирается и его возраст. Отец — кто он для меня?

Если бы отец был жив, смогла бы я научить его играть в шахматы по интернету? Сумела бы я показать ему, хотя бы поверхностно, свои достижения? Позволила бы иногда проверять вместо себя домашнее задание дочки? Дарила бы я ему на день отца купленную со скидкой футболку? Наверное, любая в мире дочка так и поступает в отношениях с отцом.

Давая волю чувствам, я пытаюсь представить, в чем бы могла выражаться наша с отцом дружба, но у меня ничего не получается! Мне кажется это смешным, дешевым, наигранным. И все потому, что я знаю — это несбыточно. Уверена, если бы отец был жив, мы все равно не смогли бы подружиться. Я и отец — два несовместимых понятия.

Между тем, я всегда обращаю внимание на других отцов: на мужчин, которые по возрасту годятся мне в отцы, на отцов своих одноклассниц, на отца своей дочери. Наблюдая за отношениями между отцами и дочерями, я поражаюсь тому, насколько они дружественны, близки. Я знаю одного отца, по-мужски очень жесткого, брутального, который от гордости за свою дочь, уехавшую за границу, может потерять самообладание. Стоит только заговорить о его любимице, как его глаза, словно у старушки, наполняются слезами. И меня восхищает такая безумная отцовская любовь. Украдкой я наблюдаю за тем, как близка со своим отцом моя дочь. Неразлучные, они балуются, словно зверюшки, забыв о моем существовании. Одна моя подруга гневно отчитывает, как мальчишку, своего больного гипертонией отца за то, что он тайком выпивает.

Наблюдая со стороны за взаимоотношениями отцов и дочерей, я не могу сказать, что очень завидую им. В моем сердце всегда будет существовать островок одиночества — покрытое льдом озеро.

6

Квартира, которую оставил нам отец в Нанкине, была совсем маленькой, всего сорок квадратных метров, и находилась на нижнем этаже. Незастеленный паркетом пол был выкрашен в красный цвет и украшен обведенными по контуру трафарета цветами сливы, что создавало ощущение трехмерности пространства. Спустя несколько лет, когда мы переехали сюда, в углу дивана я нашла шестиугольный трафарет из листового железа, весь в пыли, с остатками желтой и красной краски. Оказалось, что отец сам придумал этот способ украшения пола. Отец, без сомнения, был мастером на все руки, что в некоторой степени передалось и мне. Особенно это проявилось после нашего переезда в Нанкин. Когда в доме ломалась какая-нибудь маленькая вещица, я с удовольствием возилась с ней, и иногда, совершенно удивительным образом, у меня получалось ее починить. Мама любила повторять, что я пошла в отца, ловкого и сообразительного. Я очень расстраивалась из-за маминых слов и, не соглашаясь с ее мнением, объясняла все безысходностью, отсутствием в доме мужских рук.

Мое нежелание быть похожей на отца все же разбивалось о законы генетики. Мама говорила, что от отца я унаследовала любовь к блюдам из клейкого риса, умение хорошо считать и быстро говорить, и даже несвойственную обычным людям белизну зубов. Что это может подтверждать? То что, в конце концов, значит кровная связь? Что мне передал отец? Неужели, мне нужно поблагодарить отца за то, что благодаря его влиянию, я стала тем, кто я есть? Любовь и сострадание все-таки разные вещи... Если бы мне пришлось выразить свои чувства, я призналась бы отцу в том, что боялась его, ненавидела, обижалась, сострадала... Но все эти слова напрасны! Прогнившая высокопарность! Как бы мне хотелось иметь поменьше совести, которая, словно упавший с дерева листок, в сущности, не имеет большого значения.

...Мебель, которая осталась в квартире после отца, была очень необычной. Вся черная, до блеска налакированная, с нарисованными тонким пером пейзажами, изящная и необыкновенная, она, казалось,

не подходила для маленькой комнаты. Когда мы переехали в эту квартиру, отца уже не было в живых, поэтому нам так и не удалось узнать, почему он так любил яркий до блеска черный цвет. «Инженер Лу (из-за того случая отец до конца своих дней был всего лишь ассистентом инженера, хотя коллеги и соседи все равно называли его инженером Лу) очень любил эту мебель. Он говорил, что она такая одна на весь Нанкин! Но... Нам казалось, что такая сияющая черным цветом мебель не может приносить удачу... Вот и вышло так, что он заболел и сгорел, как свечка! Ох, как страшно! Его кашель с кровью...» — вот что говорили нам соседи об отце.

А мне, признаюсь, все больше и больше нравилась эта мебель.

Склонившись над черным письменным столом, я каждый день усердно занималась, и, самостоятельно подготовившись к экзаменам более чем по сорока предметам, получила три диплома. (Я все еще злилась, что не поступила в университет и продолжала свое бесцельное обучение.) За этим столом я занималась, пока не вышла замуж, двенадцать лет. Черный туалетный столик был завален средствами для протирания лица, дешевыми, но в красивых блестящих бутылочках. На черной тумбочке под телевизор стояли старые баночки от чая, которые мама любила ставить сюда для красоты. Эта мебель была свидетелем того, как мы многие годы питались одним овощным супом, а ее черный цвет хорошо сочетался с нашей нелегкой жизнью.

К тому моменту, когда мы наконец-то поменяли квартиру, эта мебель стала совсем старой, и во многих местах уже слезла краска. Но мама не решилась просто так выкинуть ее. Мебель разделили на части. Тумбочку под телевизор и шкаф мы оставили новым жильцам, на большой кровати поменяли обивку, а туалетный столик мама забрала себе. Больше всего мне пригодился письменный стол, который, казалось, прослужит вечно. Туалетный столик по-прежнему стоит у мамы на балконе, заставленный стиральным порошком и вешалками, которые закрывают нарисованные тонким пером пейзажи. Но зеркало столика все еще кристально сияет, отражая плывущие за окном балкона облака.

Я высовываю голову и вижу, как в этом зеркале отражается мое лицо, словно растворяясь в плывущих облаках. В этом зеркальном отражении не я, а та девочка, у которой двадцать лет назад умер отец. На ее глазах он сделал свой последний выдох, но на окаменевшем лице девочки едва ли можно было увидеть сожаление от того, что ее отец только что умер.

Перевод с китайского Анны ХОЛЕВО.



ГЭ ЛЯН

Ее звали Инчжу

Рассказ

При переезде я снимал с двери открытки. Одна из них, купленная шесть лет назад в память о поездке в Сычуань[1], была с изображением заснеженной горы Балан. На обороте сохранился выцветший карандашный рисунок, остались только темные линии. Поглядев немного, я заложил открытку в записную книжку. Но линии все равно остались перед глазами: в такую ночь, должно быть, и сорные травы расцветают вновь.

Теперь может показаться, что путешествие в Сычуань в компании «железного человека» — моего друга Лу Чжо — было просчетом, учитывая мою склонность к бесцельным шатаниям. В жизни «железный человек» — отличный спортсмен, но к себе относится довольно щадяще. Поэтому когда он предложил за день взобраться на вершину горы Эмэй[2], я поспешно, но не без замешательства, согласился. Как можно догадаться, далее последовало огромное испытание моей воли и сил. Когда дошли до Нгавы[3], я уже не чувствовал себя от истощения и уснул в одной из туристических машин, которые кружат по серпантину горы Балан. Проснулся только тогда, когда на высоте более трех тысяч метров пришлось остановиться на час с лишним. У какого-то пикапа впереди снесло падающими камнями полкузова, образовался затор. Гул клаксонов и водительский мат раздавались позади нас до тех пор, пока ситуация не уладилась.

В Жилун приехали в сумерках. На карте этот поселок образует небольшой изгиб в восточной оконечности уезда Сяоцзинь, логично представить его безлюдным и диким. Поэтому, увидев нескольких разодетых тибетских красавиц, которые танцевали с бумажными цветами в руках, мы немного удивились. Когда вышли из машины, к нам подошел мужчина и стал предлагать каждому забронировать входные билеты. Лу Чжо тут же понял, что тщательно спланированный маршрут нашего путешествия можно выбросить в мусорную корзину: за два года эта территория прошла крещение коммерцией и изменилась до неузнаваемости. Для одиноких романтиков видов здесь не осталось.

---

[1] Провинция на юге центральной части Китая (здесь и далее примечания переводчика).

[2] Гора в провинции Сычуань. Эмэй наряду с горами Путо, Утай и Цзюхуа является одной из четырех священных гор китайских буддистов.

[3] Уезд Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань.

Нас окружили тибетцы и стали что-то говорить на ломаном китайском. Посыл их, тем не менее, был ясен, так как они протягивали нам подвески из ячьих шкур, кошельки с изображением тотемных масок и рога дикого сайгака. Упав духом, Лу Чжо грубовато отогнал их. Те вовсе не расстроились, а, по-прежнему наигранно улыбаясь, долго шли за нами, надеясь, что мы передумаем и удачная сделка состоится.

Мобильный почти не принимал сигнал, и Лу Чжо пошел за сотню метров звонить на почту. Я бродил один. Городок маленький, улицу можно было от начала до конца охватить взглядом. За улицей в дымке виднелись Горы четырех девушек[1], величественные вершины поднимались нескончаемой чередой. По обе стороны улицы находились лавочки, но из-за их полуофициального характера покупателей видно не было. Да и цены были гораздо выше, чем у тибетцев, которые повсюду приторговывали. Я остановился у двери магазина серебряных украшений, заинтересованный навесным замком в форме головы тигра. Рассматривал внимательно, пока не услышал, как кто-то тихо сказал: «Парень!»

Голос был грубоват, но тих, поэтому я даже не обратил внимания. Обернулся только когда услышал его во второй раз. Позади меня стояла тибетка.

«Парень!» — она вновь тихо окликнула меня. Потом улыбнулась, обнажив белые-белые зубы. Как и в остальном Китае, обращением «парень» здесь торговец заручался доверием покупателя. Но было понятно, что эта женщина так говорить не привыкла. Я спросил: «В чем дело?»

От робкой улыбки в уголках ее губ показались морщинки, высокогорный румянец на щеках стал еще ярче. Подойдя, она все же сделала шаг назад и проговорила:

«Я только что слышала, о чем вы говорили. Если хотите на озеро Дахайцзы, они вас отвезти не смогут».

Только сейчас я понял, насколько бегло она говорит по-китайски. Сразу же стал понятен смысл ее слов: самое красивое здешнее озерцо, видимо, выпало из поля зрения туристических агентств. Из-за скалистого рельефа дорога опасна, на автомобиле не проедешь. Но она смогла бы дать нам за деньги свою лошадь на время, на ней добраться можно.

Договорив, она будто от смущения опустила голову. За ее спиной я увидел двух пони местной породы. На вид они были очень крепкими, снаряжены цветастыми седлами и упряжью.

Как по мне, то смущаться ей было нечего. Я сказал ей: «Это друг мой не хочет с группой ехать, надо вам с ним поговорить».

Девушка подняла голову, в глазах ее мелькнул и снова погас огонек.

«Он сердитый слишком, с ним не заговорю».

Я расхохотался и заразил ее своим смехом. Теперь она смеялась свободно, и оттого показалась мне красивее.

Лу Чжо вернулся и, узнав новости, очень обрадовался, быстро договорился. Пойдем в горы с этой тибеткой.

Она оседлала лошадь, но скоро вернулась. Я спросил: «Что-то еще»?

---

[1] Горы четырех девушек (Сыгуняншань) расположены в Тибет-Цянском автономном округе на западе провинции Сычуань. По легенде, это дочери бога гор Балана. Злой дух, впечатленный их красотой, возжелал жениться на них и вызвал Балана на поединок с условием: если он выиграет, заберет себе красавиц. Бог гор, к несчастью, был повержен, и его дочери, спасаясь от злого духа, превратились в скалы.

«Вы ведь еще никуда не заселились, — ответила. — В этом пансионе с вас запросят круглую сумму, а мы за поселком держим собственный двор, за постой берем немного, есть свежее мясо яка. Могу показать».

«Последнее очень заинтриговало нас с Лу Чжо. Друг выразил опасение, что у женщины там связи. Я кивнул, но пошел следом.

Путь лежал мимо примостившихся на склонах жилищ. Сбиты они были, похоже, из местной дробленой породы. В основном, двух-трехэтажные домики, очень аккуратные. Старушка в черном, сидевшая на залитой солнцем крыше, завидев нас, улыбнулась.

Наша тибетка помогала своим пони взбираться по склону, легонько подталкивая их в круп. Говорила, что они ей как дети. Большого зовут Иньцзун, что значит «серебряная грива», а маленького — Юйду, то есть «рыбье брюхо».

Иньцзун был пегой масти, в свете закатного солнца его длинная серебряная грива словно сияла. Вороной Юйду был потолще, а на брюхе у него красовалось белоснежное пятно. Оттого его так и прозвали. Только подумайте, как поэтично.

Я сказал: «Хорошее имя подобрали».

«Просили образованного человека, лошадке хорошее имя нужно».

Лу Чжо рассмеялся: «А тебя-то как зовут?»

«Инчжу».

Я повторил мелодичное имя про себя и спросил, тибетское ли оно.

«Да, мы цзяжунские тибетцы[1]».

Потом замолчали.

Остановились перед небольшой трехэтажкой. На фоне остальных это здание выглядело шикарно: беленые торцы его были украшены узорами, в которых угадывались силуэты солнца и луны и, кажется, изображение местного тотемного животного. Крыт дом был красной черепицей. Над дверью висела табличка с китайским и тибетским текстом, по-китайски аккуратным шрифтом «лишу»[2] было выведено: «Горная усадьба Каэр».

Инчжу крикнула, крик взлетел и упал. Изнутри кто-то отозвался. Показалась женщина средних лет, позвала нас подняться.

Чернобровая, с крупными чертами, она выглядела гибкой и подвижной. Инчжу сказала, что это сестрица Жуй, здешняя хозяйка.

Жуй хихикнула: «Ага, без хозяина вот хозяйкой быть и приходится».

«Вы тоже неплохо по-китайски говорите», — сказал я.

Провожая нас внутрь, она обронила:

«Чего тут удивляться? Я ханька[3], из Яаня[4] сюда в мужний дом приехала».

---

[1] Цзяжун или кара (самоназвание), чжаронг, гьялронг— субэтническая группа тибетцев в Китае. Населяют долины горного хребта Лайбаланшань на правом берегу реки Минцзян (провинция Сычуань) в пределах Аба-тибетско-цянского автономного округа (уезды Маэркан, Сяоцзинь, Ли).

[2] Официальный стиль китайского письма, для которого характерны жесткость структуры иероглифов и строгая перпендикулярность горизонтальных и вертикальных черт, а также преобладание широты иероглифа над его длиной.

[3] Ханьцы — этническая группа сино-тибетской языковой семьи. Занимает первое место по численности среди народов Земли, является крупнейшей народностью в Китае.

[4] Городской округ в провинции Сычуань.

В комнате еще одна девушка прибирала со стола:

«В тот год сестрица Жуй была у нас в Жилуне первая красавица», — усмехнулась она.

Жуй наморщила лоб, словно переваривая комментарий, и отшутилась, мол, ее успех состоялся вовсе не потому, что Инчжу вышла замуж и уехала.

После этой фразы вновь воцарилась тишина.

Инчжу опустила голову, потом посмотрела на нас и через силу улыбнулась.

«Отдыхайте, заходите в дом», — тихо сказала она.

Сестрица Жуй долго смотрела вслед Инчжу, а потом хлопнула себя по щекам: «Опять лишнего сболтнула».

Я услышал чей-то резкий голос и сказал об этом Жуй.

Женщина отряхнула рукава и громко рассмеялась: «Это свиньи проголодались, есть хотят. Вы, городские, как я посмотрю, много знаете».

«Вы свиней дома держите?»

Жуй крикнула по-тибетски что-то вдаль, и девушка, которую мы только что видели, вышла, бормоча что-то себе под нос, взяла глиняный таз и стала спускаться.

«Твою ж мать, шевелись ты! Вечно не знаешь, чем бы заняться! — сказала Жуй. — У цзяжунских тибетцев так: внизу скотина, а наверху люди живут. Кто побогаче — у тех третий этаж есть, там кладовая и молельня».

Жуй провела нас в комнату. Та была аккуратной, чувствовалось, что ее старались обставить как можно лучше, по гостиничному образцу: два дивана, пружинные матрасы на кроватях. На стенах висели гобелены из руна с простым абстрактным рисунком на основе местных тибетских сказаний.

Женщина включила обогреватель и предупредила нас, чтоб лучше укрывались, потому что к вечеру станет холодно.

Вскоре окна запотели. Был апрель, и из-за высоты средняя температура здесь составляла только десять градусов. На чайном столике стояла вазочка с цветами, явно искусственными, но придававшими комнате некоторый уют.

Перед уходом Жуй попросила нас не включать бойлер на полную мощность, когда будем мыться ночью. Электроэнергия здесь от солнечных генераторов.

Вечером мы присоединились к туристической группе, разделили на всех тушу жареного барана.

Сидели у костра, с большой радостью и воодушевлением смотрели, как нарядная местная молодежь водит хоровод.

На постоялый двор вернулись уже после девяти вечера.

Лу Чжо ушел мыться, но сразу же выбежал обратно. Завернулся в ватный спальник, сдерживая дрожь и стуча зубами, стал материться:

«Блин! Пяти минут не прошло, а холод до самых костей пробрал. Управы на них нет!»

«Да ладно тебе! Назвался груздем — полезай в кузов. Пойду поищу хозяйку, возьму горячей воды».

Хозяйка говорила с кем-то на улице.

Завидев меня, с участливым видом немедленно подошла.

«В душе горячая вода закончилась».

Жуй ругнулась, побежала на кухню и принесла два термоса. Извиняясь, приговаривала: «Тут в горах всегда так, с электроэнергией туго, вот уж неудобно перед вами-то».

Я было собрался уходить, но заметил, что Жуй беседовала с Инчжу. Та завернулась в толстую шинель, на брови надвинула шапку, руки продела в рукава. Поэтому я сразу ее и не признал.

Она стремительно подалась в мою сторону, достала из-за пазухи целлофановый пакет, протянула: «Это вам, ешьте».

Я принял пакет, в нем были мелкие яблочки. Кожура на них уже немного сморщилась. Но судя по тому, как Инчжу все это преподнесла, яблоко в этих местах было редким фруктом.

Не успел я сказать спасибо, как Инчжу быстро опустила голову и бросила хозяйке: «Ну, я пошла».

Глядя ей вслед, Жуй тяжело вздохнула. Потом повернулась ко мне: «Браток, если вы уж решили брать у Инчжу лошадок, смотрите не передумайте!»

«Как так? Точно возьмем, договорились ведь».

«Неспокойно ей. Слышала, завтра пойдете с группой к Протоку двух мостов. Там будут наездники из поселка, она боится, что те вас переманят. По правде, Инчжу совсем недорого берет, а ей какая-никакая помощь».

«А в поселке тоже есть наездники?»

«Ага, — подумав немного, ответила Жуй, — они там какую-то фирму открыли, назвали «Тибетская джигитовка». Лошадей насобирали по дворам. Инчжу недолюбливают, ведь ей лошади как дети, она боится, что с ними там будут не по-людски. Она одна сейчас. Трудно ей».

«Но если по-хозяйски к этому отнестись, то отдать пони наездникам — не худший вариант. Например, сейчас она пытается заработать, но рассчитывать приходится только на удачу».

Жуй опять вздохнула: «Инчжу неглупая, она изо всех сил старается. У нее ничего кроме этих пони нет за душой. Что за жизнь... Тогда была лучшей девушкой у нас здесь. В среднюю школу ходила, среди местных тангуток[1] и тибеток ей по образованности равных не было. Школу закончила — вышла за одноклассника из уезда, они вдвоем свое дело в Чэнду открыли, свет повидали. Жалко-то как...»

Из комнаты раздался голос Лу Чжо: «Хозяйка! А телевизор почему ничего не показывает?»

Жуй кинулась разбираться, повторив: «Браток, соглашайтесь! Не отказывайте ей!»

Я кивнул.

На второй день пошли с группой к Проливу двух мостов. На полпути многие вышли из автобуса, почувствовав приступы горной болезни. А может, в эту пору года некоторые пейзажи у пролива показались им серыми и пустынными. Посреди увядших трав тут и там, конечно, попадались тибетские ступы, смотрелись они интересно.

Гидом был молодой, бегло говорящий по-китайски тибетский парень двадцати с небольшим лет по имени Аван. Он привел нас к лотосовой запруде, проходя мимо которой, мы думали, что рассказ о ней несколько преувеличивал красоты пейзажа. Взять, к примеру, гору Потала, которая якобы послужила прообразом знаменитого дворца в Лхасе[1], а в действи-

[1] Тангуты — народ тибето-бирманской группы, говоривший на тангутском языке.

тельности и вовсе не походила на известное архитектурное сооружение. А еще, кажется, наш провожатый говорил что взбредет в голову. Одет он был в перешитый и укороченный тибетский халат, который так понравился Лу Чжо, что тот решил спросить, где халат куплен. Парень ответил, что одежду сшила его мать собственноручно, не покупали. Но нам, гостям издалека, так уж и быть, уступит за шестьсот юаней скрепя сердце. Когда мы вернулись в поселок, увидели такой же халат у входа в одну из сувенирных лавок. Просили за него половину цены, предложенной гидом.

В секвойевой роще у конца протока подошли к замерзшей речке. Аван стал расспрашивать нас о втором дне маршрута. Мы рассказали о планах насчет озера, провожатый же ответил нам, что группа туда не пойдет, но он очень хорошо знает поселковых наездников и может нас к ним отвести.

«Не нужно, мы уже взяли лошадей напрокат».

Он спросил, у кого. Подумав, я признался, что у Инчжу. Он, помолчал, предложил взять лошадей у Чжобола (друга). А послезавтра до обеда можно будет бесплатно развлечься на скачках. Лу Чжо идея понравилась. Но я вновь отказался, сказал, что мы уже договорились.

Аван прохладно улыбнулся: «Эти два жеребенка... Придет время — перестанете понимать, они вас тянут или вы их».

На обратном пути неожиданно зарядил град, и льдинки с глухим звуком отскакивали от наших тел. Потом закружила метель. Мы наблюдали за ней с радостным волнением, особенно Лу Чжо, ведь вырос он в тропиках, а снег там — редкое явление. Снегопад только начался, но похолодало стремительно. Когда дошли до постоялого двора, руки-ноги окоченели.

Только вошли, а сестрица Жуй уже несла нам две чашки горячего чая со сливочным маслом. Мы приняли напиток и тут же, прихлебывая, выпили. Вкус был не совсем привычный, отдавал бараниной. Но горячая жидкость заполнила желудок, и все тело согрелось очень быстро. Жуй нарезала нам ячьего мяса:

«Парням надо больше есть, оно как раз нутро согревает».

Она села, поднесла руки к печке и заговорила будто сама с собой, глядя на улицу: «В Жилуне-то погода, как мина у ребенка, в день по три раза меняется. Утром еще солнце выглянет».

В дверь осторожно постучали. Инчжу.

Посмотрела на нас, кивнула. Отвела Жуй в сторону, тихо сказала пару фраз. Жуй нахмурила брови. Инчжу дернула собеседницу за рукав, будто прося о помощи.

«И как же тут быть?» — наконец проговорила, очнувшись, Жуй. Инчжу потупилась.

Жуй посмотрела на нас и широко улыбнулась:

«Браток, — обратилась она ко мне, — как посмотреть, так снег еще завтра будет идти и вряд ли утихнет».

Я и Лу Чжо застыли с занесенными палочками для еды в руках, что же скажут дальше. Было видно, как трудно Жуй давались эти слова:

---

[1] Дворец Потала расположен в административном центре Тибетского автономного района КНР Лхасе. Сегодня дворец Потала является музеем, активно посещаемым туристами, оставаясь местом паломничества буддистов и продолжая использоваться в буддийских ритуалах. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической значимости, внесен в 1994 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Инчжу вот что хочет спросить: а не отложили бы вы поездку на озеро до послезавтра? Холод дикий, снег метет — Инчжу боится, что лошадки молодые, не выдержат».

«Нет, это нельзя, — встревоженно перебил ее Лу Чжо. — Послезавтра после обеда у нас автобус в Чэнду[1], да и обратные билеты на самолет в Гонконг уже купили».

Я и не знал, что сказать.

Инчжу все молчала и вдруг заговорила, тихо, но так, что все услышали: «Я за это дело браться не буду».

На несколько секунд установилась тишина. Лу Чжо нахмурился и чуть громче, чем нужно, произнес: «Так и знал, что нужно было договариваться с этим Аваном. Говорили же они, что у них фирма, этому как-то больше веришь».

«Отчего же нам не взяться? — стала хихикать Жуй. — Как по маслу наше дело пойдет!»

Повернулась к Инчжу, подмигнула и прошептала: «Сестричка, это же просто домашний скот! Они стерпят! Думаешь, им легко было сюда этих двоих затащить?»

Инчжу разомкнула губы, будто пытаясь сказать что-то, но, так и не сказав ничего, развернулась и вышла.

Жуй заперла дверь. Воздух в комнате нагрелся до того, что казалось, вот-вот — и поджаришься. Окна запотевали, и вода, не в силах удержаться на стекле, собиралась в капли и ручейками стекала вниз. Жуй взяла тряпку и протерла окна. Стало видно, как снаружи вихрем кружился снег.

Я всю ночь не сомкнул глаз.

Наутро Жуй торопливо застучала к нам в дверь и радостно сообщила, что снег перестал.

И правда перестал. На улице от бескрайней белой пелены отражалось солнце, даже слепило глаза.

В гостиной Жуй заварила чая с маслом, теплый аромат разлился по комнате. Чай перелила в военную флягу, наполнив ее до краев. Взяла бумаги, завернула туда лепешек, ячьего мяса и кусок бараньей голяшки — получилось несколько слоев. Положила в наши сумки: «В горах еще холодно, пригодится».

Аккуратно все упаковав, Жуй повела нас к Инчжу. Та жила у ближнего склона в двухэтажном доме. Фасад немного поизносился. На улицу смотрела голая стена, сложенная из валунов, возле нее была навалена куча фуража в половину человеческого роста высотой.

Жуй кликнула Инчжу, та вышла нам навстречу в ханьской накидке, очень простой и старой — на плечах она протерлась до ниток. На лбу женщины выступила испарина, горный румянец стал ярче. Улыбнулась, пригласила войти: «Вот и славно».

Внутри в нос ударил запах залежавшейся травы, тут же стояли пони, пили, опустив голову.

«Во всем Жилуне только Инчжу лошадок наверху держит», — сказала Жуй.

Инчжу перемешивала корм деревянной ложкой и, услышав реплику сестрицы Жуй, вроде как смутилась: «Похолодало. Они малые еще, им тут теплее».

Заглянув в кормушку, Жуй цокнула: «Ох-ты! И сои, и кукурузы им наложила, вот не жалко же... Они скоро как люди у тебя станут. Скажи тоже, усыновила ты их что ли?»

[1] Город в Китае, административный центр провинции Сычуань.

Инчжу заулыбалась, но промолчала.

Когда стали седлать пони, пришел мужчина. На вид он был молодой, но когда улыбнулся, показался гораздо старше. Инчжу сказала, что это ее двоюродный брат и в горы пойдем с ним вместе.

«Как его зовут?» — спросил я.

«Все называют его Гунбу Соцюэ».

Я повторил про себя это звучное имя.

Мужчина плотно застегнул пуговицы на воротнике, оттянул переднюю полу линялого халата и сказал: «Ноги у меня нехорошие».

«Соцюэ по-местному означает “хромой”», — шепнула мне Жуй.

«А вы сможете с нами в горы идти тогда?» — обеспокоился Лу Чжо.

«Пустяки! — спохватилась Жуй. — Он если побежит, вы и глазом моргнуть не успеете — обгонит».

Запрягать лошадь, похоже, очень сложно. На спину кладется много слоев ткани. На Юйду постелили целое шерстяное одеяло: видно, этот пони был мерзляком. Обе лошадки спокойно приняли поводья и цветастую налобную повязку из бахромы.

Мало-помалу пони преображались. Когда Иньцзуну вставляли в рот мундштук, он затопал ногами и взволнованно фыркнул.

В этот миг его пегая шерсть засияла на солнце, в лучах обрисовался изящный силуэт. Красивая, все-таки, лошадь. Лу Чжо подошел, взял Иньцзуна за поводья: «Эй, вы посмотрите на него! И кто только меня называет бабником?»

Юйду лизнул мою руку шершавым, горячим языком.

Покинув деревню, въехали в ложбину, чему поначалу очень обрадовались. Снег еще не подсох, поэтому копыта наших пони с хрустом ступали по белой поверхности, отчего в голову приходили возвышенные мысли о тяготах пути.

Далекие горы были словно выведены тушью, над нами простиралось бесконечное небо. На душе у нас становилось отрадно, спокойно. Было очень приятно покачиваться в такт лошадиной поступи. Иньцзун легко и бойко шагал впереди. Отрываясь от нас, оборачивался, глядел.

«Сестер-братьев ждет», — говорил Гунбу.

Юйду шел медленно, обыкновенно, да и был потолще, отчего ему скоро стало не хватать воздуха. Инчжу гладила его по голове, прикармливала бобами из матерчатой сумки. Пони успокаивался, все понимал и старался идти быстрее, но головы не поднимал.

«Он скромный, только по чужим следам ходит», — сказала Инчжу.

Стало ясно, что Иньцзуну волей-неволей приходится быть первопроходцем.

Через десять минут дорога пошла под откос. Снег немного подтаял, лошадкам стало скользко. В этот момент я увидел, как Иньцзун начал капризничать. Он подходил к придорожным утесам и жевал там дубовые листья. Хоть Гунбу и присматривал за пони, на сердце становилось неспокойно.

Лу Чжо обернулся и напряженно посмотрел на меня.

Юйду тоже сбился, оттого что шел по следам копыт Иньцзуна. Мы поднялись высоко, лошади стали выдыхать пар. Инчжу достала из сумки хлопковый шарф и повязала Юйду на шею. На шарфе было вышито два иероглифа: «цзинь» (золото) и «лу» (кувшин).

Спросил, почему там изображены именно эти иероглифы.

Инчжу улыбнулась: «Цзинь — моя китайская фамилия, полное имя по-китайски будет Цзинь Юэин. В школе только им и пользовалась».

«А “лу”?»

Не ответила. Просто продолжила свой рассказ:

«У нас в поселке больше половины людей китайские имена имеют. Удобно делами заниматься, если уедешь куда, коль не старик, конечно. А из нашего поколения много кого по-тибетски зовут, да только это считается детским именем».

«А у Гунбу тогда какое детское имя?» — спросил Лу Чжо.

«Очень оно у меня некрасивое — Цичжу», — ответил мужчина.

Инчжу захихикала, объяснила, что «цичжу» означает «собачка». По тибетским поверьям, если назвать ребенка как похуже, то злые духи на него и не взглянут. А у Гунбу в доме в это не верили, до него всех детей называли то золотом, то драгоценностью — так они все и умерли. Как Гунбу появился, так заболел полиомиелитом. Пришлось его в Цичжу переименовать. Потом все наладилось, остался он у родителей один.

«У нас, ханьцев, так тоже поступают. Называют малышей «Гоугуай» (послушный пес)», — сказал я.

«У людей ведь у всех предки одни, — ответила Инчжу. — Говорим мы и думаем одинаково. Вот только в богов разных верим, одним этим различаемся».

Послушав такие рассуждения, я понял, что казавшаяся молчаливой Инчжу — довольно зоркий и знающий человек. Когда она так говорила, на душе словно становилось легче.

Лу Чжо обернулся и, заговорщицки улыбаясь, спросил: «А какое тибетское имя мне бы подошло? Подскажите, а?»

Инчжу хорошенько подумала.

«Тот, кто осмелился идти по этой опасной дороге, должен зваться Погуй. По-тибетски это «сокол», настоящий герой».

Лу Чжо самозабвенно взмахнул рукой:

«Погуй!» — мой друг сжал ноги и словно обратился пулей.

Иньцзун тряхнул хвостом, по его телу будто прошел ток. Он мотнул головой, поднял передние ноги и заржал. В растерянности Лу Чжо ухватился за его гриву.

Гунбу быстро подскочил, рывком ухватился за поводья, с силой похлопал лошадь по голове, успокаивая.

Мы с Инчжу замерли. Я ясно увидел, как на правой руке Гунбу между большим и указательным пальцем выступило бурое пятно крови.

Гунбу взял пригоршню снега, растер рану и натянуто улыбнулся: «Молодым в этих горах разве за лошадью поспеешь...»

Дальше шли очень осторожно.

Примерно через двадцать минут мы проехали большой луг. Инчжу сказала, что здесь в праздники танцуют традиционный тибетский танец — хоровод. Отсюда лучше всего видно Горы четырех девушек, но, жаль, сегодня сильный туман.

У следующего луга, еще большего, чем прежний, выглянуло солнце, и в теплой одежде стало жарко. Права была сестрица Жуй, когда говорила о переменчивости здешней погоды. Этот луг, кажется, назывался Чаошань. Каждый год в пятый день пятого лунного месяца тибетцы здесь поклонялись духам гор и рек и, конечно, устраивали конные состязания.

Бескрайние желто-зеленые травы чем-то напоминали степь. Иньцзун ускорился, перешел на быстрый шаг. А Юйду, естественно, стал отставать.

Лу Чжо неспокойно оглянулся. Гунбу издали помахал и крикнул: «Пошел!»

Иньцзун услышал приказ и припустил. Наверное, был в обиде за давешний случай. Хорошая лошадь! Шаги были легкие и сдержанные, копыта постепенно застучали в такт ветру. Даже наезднику передался бра-

вый дух скакуна. Скоро красивый вид закончился. Оглянувшись, услышали крик Инчжу: «Далеко не убегайте!»

Лу Чжо натянул поводья и прокричал в ответ: «Бескрайние травы велят коню нестись вдаль!»

Пони подустали, люди тоже немного утомились.

Только после двух часов пути через дубраву остановились на привал. Привал здесь называли по-особому, в значении слова предполагалось, что нужно поесть. На камне неподалеку сидел турист, уплетал хлеб. Мы тоже освоились, перекусили. Подошли несколько человек, спустившихся вчера с Хуахайцзы. В разговоре с ними узнали, что они решили не взбираться на горный пик, как было запланировано, потому что некоторые дороги занесло снегом. Погода неважная, да еще вперед идти, где людей совсем нет.

Немного отдохнули, и день перевалил за половину. Одинокий турист, встреченный нами ранее, возвращался с группой в Жилун и сказал, что мы, гляди того, натрем себе весь зад седлом. Инчжу усмехнулась: «Нужно до Дахайцзы добраться, а то выйдет, что зря выехали».

Когда седлали пони, солнечный свет стал мягким и чистым. Проезжали белые тибетские ступы с повязанными на верхушках разноцветными мантрами и полотнищами «хада». У одной из них Инчжу остановилась помолиться. Недалеко в небе спокойно парил, летая кругами, сокол. Его тень упала на землю и стремительно пронеслась по склонам холмов впереди. Лу Чжо запрокинул голову и прошептал: «Погуй».

Во второй раз снег застал нас врасплох на раскисшей тропе через дубраву. Небо враз потемнело. Гунбу посмотрел вверх и произнес: «Плохо».

Сперва мы подумали, что это повторяется вчерашний сценарий. Но через полчаса снег закружился в воздухе, пронизывающий ветер стал бить в лицо. Мы начали понимать вес сказанного мужчиной слова.

Дальние горы скрылись за плотной белой пеленой вихря. Лошадкам становилось трудно идти, Юйду упорно противостоял ветру, втянув шею и словно проседая с каждым шагом. Иньцзун мотал головой, отказывался двигаться дальше, чем заставлял Гунбу сильно натягивать поводья, но безрезультатно: пони лишь взрывал передними копытами снег. Вскоре снег смешался с грязью, обнажая черную землю.

Мы попали в горный буран.

Снегопад стремительно усиливался, заслонял собой небо и землю, от снега стало трудно дышать. Инчжу упорным жестом велела нам спешиться. Мы хотели сказать что-то, но она нас прервала. В открытый рот тут же набился снег. Сгрузив тяжести на лошадей, пошли против ветра. Быстро росли сугробы, мы уже погрузились в снег по щиколотку. Немного впереди был Гунбу, за ним виднелся огромный утес. Мужчина помахал нам. Мы поняли, что там можно ненадолго укрыться.

Истратив много сил, мы завернули за скалу и остановились. Там лежали два диких яка. Один из них был громадным, взрослым животным, а к нему прижался совсем еще детеныш, полтела которого было покрыто плотным подшерстком. Они дрожали, обдуваемые ветром, и даже не могли открыть глаза. Однако большой, завидев нас, похоже, инстинктивно, резко встал и заревел. Мы отступили под его свирепым взглядом, но як безысходно замычал и надвинулся на нас. Иньцзун, словно испугавшись, отшатнулся в сторону и, шатаясь, побрел по снегу.

Нам оставалось только уйти.

Наконец, в наполовину прикрытом месте мы обнаружили палатку. Когда подошли, снег гулко съехал с крыши, обнажив потертую, выцветшую поверхность с большой прорехой посередине. Наверное, ее оставили здесь за ненадобностью альпинисты, но нам казалось, что это подарок судьбы.

Отодвинув занавеску, мы увидели двоих. Это была молодая пара. Сидели, плотно прижавшись друг к другу, по виду, павшие духом. В их глазах, совсем как у давешнего яка, мелькнула настороженность. Увидев, что мы колеблемся, мужчина проронил: «Входите».

В палатке не осталось свободного места.

Инчжу выглянула наружу и сказала Гунбу: «Заведи малых внутрь».

Гунбу вышел, взял поводья. Когда голова Юйду показалась в палатке, парень крикнул: «Лошадям нельзя!»

Инчжу застыла. Через несколько секунд она привстала и глубоко поклонилась парню. Она почти умоляла: «Господин, они молоденькие. Такая сильная вьюга!»

Парень замолчал, склонив голову набок.

Мы тихо сидели в палатке и слушали рев ветра. Этот звук будто завертелся в воронке и стал понемногу отдаляться, пока не стих. Но вот снова вернулся. Снега падало все больше, он с шелестом соскальзывал с крыши палатки. Вдруг что-то упало с громким гулом. Это напугало нас. В прореху стал задувать ветер вперемешку со снегом. Девушка вскрикнула. Гунбу вскочил, отыскал в сумке коврик, а из кошелька достал шило и пеньковых ниток.

«Парень, помоги», — сказал мне.

С моей помощью Гунбу закрыл ковриком прореху и стал стежок за стежком зашивать отверстие.

«Проклятая погода!» — выругался молодой человек.

Это стало началом диалога между незнакомцами. Мы узнали, что его зовут Юн, ее — Цзин, приехали из Чэнду, отстали от группы альпинистов. Отстали по невнимательности, потому что влюблены. С собой у них было скалолазное снаряжение, но сейчас оно лежит на палатке, нещадно промокая.

Разговаривали только вчетвером. Убивая время, поговорили обо всем, чем только можно: о политике, футболе, телесериалах, о новостях разных городов, посплетничали о звездах. В конце концов, разговор зашел о Чэнду, об этом городе интересно было поговорить всем.

«В Чэнду все ленивые, — сказал Лу Чжо. — Везде только и делают, что в мацзян[1] играют».

«А если в мацзян играть не хочешь, то разве не от лени в горы идешь?» — спросил Юн.

Цзин схватила спутника за рукав: «Был бы набор, я бы сыграла...»

«Да и колода карт сгодилась бы», — согласился Лу Чжо.

Заговорили о еде. В Чэнду много вкусного: пельмени, драконий лагман, острый суп с фрикадельками, жареный тофу «ваньфуцяо». Говоря об этом, почувствовали голод, не ощущавшийся раньше.

Я достал лепешек и мяса, поделился со всеми.

Мясо уже полностью остыло, но было съедено в мгновение ока.

«Что за мясо такое вкусное?» — облизнулся Юн.

«Ячье», — ответил я.

«А раньше оно мне вкусным не казалось».

«Голодный желудок все переварит», — сказал Гунбу, выстукивая курительную трубку о коленку.

Стало темнеть, скоро ничего не увидишь. Юн достал из рюкзака фонарик. Включил — батареек не хватало, фонарь загорелся синим мерцающим светом. Вспыхивал, как блуждающий огонь. Ветер свирепствовал пуще прежнего. Мы отчетливо чувствовали, как холодало. Инчжу

[1] Мацзян или маджонг — исконно китайская азартная игра в фишки с использованием игральных костей, для четырех игроков (каждый играет за себя).

сняла с Юйду седло и укрыла пони своей шинелью. Гунбу бросил нам бурдюк:

«Ячменное вино, выпейте каждый — согреетесь».

Я выпил, вино чуть обожгло. Передал Лу Чжо. Он был бледен и даже не пошевелился. Я толкнул его, и только тогда он выпил, но тут же резко выплюнул, его начало тошнить. Он с силой надавил себе на лоб и виски. Я понял, что это горная болезнь. Здесь высота почти четыре километра.

Фонарик вдруг вспыхнул и потух. Палатка погрузилась в темноту. В этой внезапной мертвой тишине мы не видели друг друга, но слышали, как ветер все крепчает в своем яростном могуществе. Под его порывами палатка качалась сильнее и сильнее. Будто дрожащий человек, который вот-вот упадет.

Кто-то всхлипнул. Поначалу сдержанно, а потом все громче и громче. Цзин. Мы понимали, что так она борется со страхом. Но в темноте плач может только лишить надежды.

Лу Чжо занервничал, стал жаловаться. Вот и Юн прикрикнул: «И что плакать? Не умерли же!»

Скоро плач стал сильнее и искреннее. Он был близок к истерике.

Вспомнил, в это время был слышен еще один голос.

Кто-то очень тихо напевал себе под нос.

Инчжу.

Пела песню, по-тибетски.

Мы не понимали смысла песни, но разобрали, что состоит она из простых повторов.

Снова и снова.

Мелодия тоже была простой, наверх не уходила, была почти однообразной. Кружила по палатке, возвращалась, наполняла ее всю. Касалась наших сердец: раз, еще раз.

Мы успокоились. Ничего не было видно. Ничего не было слышно. Кроме пения.

От этого голоса я уснул.

Проснулся уже, когда рассвело.

Мягкое и ясное солнце проникало в щель палатки.

Передо мной, прислонившись к седлу, сидела Инчжу, еще спала. К ней прижался Юйду, хорошенько обернутый хозяйкиной шинелью. Он сверкнул глазом, взглянув на меня.

Только теперь я увидел, что на Инчжу не выцветшая одежда, в которой мы увидели ее впервые, а прекрасный тибетский халат, который надевают только на праздники. Рукава оторочены черным мехом, посередине красно-белый кушак. Юбка золотого цвета, поверху розовым и зеленым шелком вышиты пышные лилии.

Покопался в сумке, достал купленные в городе открытки. Заснеженная гора Балан. Нашел карандаш и на обороте нарисовал Инчжу.

Юйду наклонил голову, лизнул хозяйкино лицо.

Инчжу потерла глаза.

Заметила, что я рисую ее, и смущенно опустила голову, взъерошила челку и одернула рукава.

«Некоторые гости любят в горах фотографироваться, я тоже как пейзаж», — улыбнулась она.

Около полудня дошли до места. Темно-синие воды Дахайцзы были необычайно красивы.

Пришло время уезжать из Жилуна.

Сестрица Жуй повела нас на автовокзал. Спросил про Инчжу. Жуй ответила, что у той по возвращении поднялась температура, и она пошла в поселковую больницу.

«Такие холода, а она шинелью скот укрывает... Все будто с ума посходили: только и знают, что повторять имя ее мужа», — вздохнула она.

Я, вдруг что-то припоминая, спросил: «Фамилия ее мужа — Лу?»

«Да... — опешив, ответила Жуй. — Три года назад было. У них тогда хорошо дела в Чэнду шли. Муж сказал ей, что нужно заняться туристическим бизнесом у нее на родине, посмотреть на местность. Пошел в горы с одним парнем местным. В тот день сильная метель случилась. Лошадь оступилась, они в пропасть и упали. Душевный человек, был — и нет его. Та лошадь как раз ожеребилась тогда. Жеребенка назвали Юйду».

Опять прошло несколько лет. Однажды случайно удалось спросить у одного народного певца, что за тибетскую песню пела тогда Инчжу в горах.

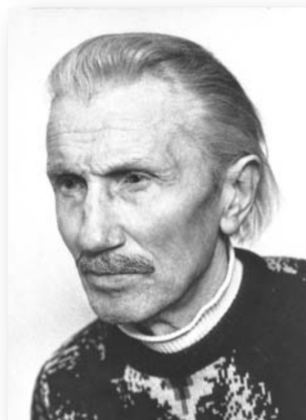
Слова и вправду оказались простыми, только четыре строчки:

Где пролетал дамшунгский[1] сокол,
гора не будет прежней больше.
Ведь тенью он своей погладил
когда-то в прошлом камня спину.

Перевод с китайского Антона ГРАМОВИЧА.



[1] Дамшунг — уезд городского округа Лхаса Тибетского автономного района КНР.



ВЛАДИМИР ДОМАШЕВИЧ

*Финская баня**

Повесть

VII

Дома их давно ждали, и ждали с нетерпением, с тревогой: а где они, а что с ними? Мало ли что может случиться с людьми, которые в тревожное военное время надолго пропадают, а тут вон — советский самолет стрелял из пулемета, а потом и бомбы сбрасывал — не на их ли головы? Приглушенные выстрелы из пулемета и звуки разрывов бомб они слышали.

Ну вот они вернулись — уставшие, но целые, без единой царапинки — так хорошо все обошлось. Начались расспросы: по-фински, по-русски, опять по-фински.

Спустя несколько минут, переодевшись и помывшись, парни уже сидели за столом на кухне, перед ними стояли миски с каким-то супом — кейтто, мо херне кейтто — гороховым, нужно попробовать. Хозяйка сильно волновалась, и сам Хапайнен, что на него не похоже, был возбужден не на шутку. Младшие мальчики, успевшие прийти из школы, Бруно и Матти, тоже вертелись на кухне, хотя Марта несколько раз приказывала им идти в свою комнату, но школяры находили повод, чтобы побыть еще и послушать.

Хапайнен уточнял некоторые детали: насколько сильно поврежден мост, можно ли его быстро отремонтировать, чтобы люди без задержки могли переезжать и переходить. Что еще повредили бомбы?

— В мост попали две бомбы, они небольшие, может, как мина от полкового миномета. В мосту побит-расщеплен только дощатый настил, но основа из бревен или бруса цела, нужно заменить только верхние доски, — объяснял Колотай. — Остальные четыре бомбы упали лишь бы где: одна на дорогу, другая в стороне, разбила дерево, еще одна попала в сарай, снесло половину крыши из гонта, но он не загорелся. В доме, недалеко от моста, повыбивало окна, но людей не зацепило, хотя они и не прятались.

— Главное, не побило людей. Все остальное — ерунда. Но еще один вопрос: как русский самолет один мог прорваться вглубь нашей территории? Почему его пропустили, не послали истребители? — спрашивал у Колотая хозяин дома. — Выходит, мы не застрахованы от всяких несчастий: от обстрелов с неба и с земли?

— Мне кажется, что это был разведчик: осматривал дорогу, перемещение войск, техники. Искал, так сказать, слабое место, в которое можно ударить... Ну и немного попугать людей: вот какие мы смелые, летаем по одному и вас не боимся. Вы нас бойтесь! — такова была миссия этого самолетика, — закончил Колотай свое объяснение.

---

* Окончание. Начало в № 9, 2014 г.

Хапайнен слушал внимательно, а потом заговорил сам:

— Это знак нашей слабости. Мы не можем задержать даже один русский самолет. Даже один! Так чего мы стоим? Скоро два месяца, как идет война, а результаты плачевные. Мы долго не продержимся. Хваленая линия Маннергейма начинает трещать, не выдерживает напора советской техники... Какой вывод можно сделать? А такой, что нужно вострить лыжи... Я все тянул до последнего дня, а сегодня скажу тебе честно и открыто: хочу отправить своего сына вместе с тобой. Знаешь куда? В Швецию! Тут не так и далеко...

У Колотая заныло сердце: такого варианта он не ожидал. Вариант очень интересный, хотя и опасный. Однако...

Хапайнен между тем продолжал:

— Мой Юхан знает шведский язык. Там у нас есть родственники, он не пропадет. А здесь его возьмут — и в огонь, на фронт... А ты, Васил, Колотай или Коллонтай, ты родственник советского посла в Швеции Коллонтай или нет — мне все равно, ты сойдешь за ее родственника, и она тебя выручит, я уверен. Так что для тебя есть смысл попробовать этот вариант. Как ты, не откажешься, не испугаешься? Что ты на это скажешь, Васил?

Колотай задумался только на минуту: с чего начать?

— Как только вы намекнули на какую-то дорогу домой, я насторожился, сразу вам не поверил, херра Хапайнен, а потом подумал, что в вашем предложении что-то есть. И хоть вы не сказали, как это все будет выглядеть, меня вы ужасно заинтриговали, просто купили сразу. И потому я терпеливо ждал, когда вы опять заговорите о своем плане, и вот дождался. И поскольку я был морально готов к походу на лыжах в любом направлении, я принимаю ваш план.

Тут же подумал: много наговорил, это не по-фински, Хапайнену может не понравиться, он может не поверить в его искренность. Но, видимо, ошибся.

— Я знал, что ты не испугаешься, Васил. Ты смелый парень, — и Хапайнен крепко пожал ему руку. Его ладонь была намного шире, чем у Колотая, и сила в ней чувствовалась немалая.

Странно, что госпожа Марта ни разу не перебила хозяина, не прервала их разговор, хотя были моменты, когда она настораживалась, ей тяжело было сдержаться, чтобы не спросить о чем-то важном, что ее волновало. И все же она не вмешивалась в мужской разговор.

А теперь Хапайнен ознакомил его с деталями плана. Он подвезет их на санях километров тридцать, затем они пройдут на лыжах приблизительно столько же и в небольшом городке — Юхан знает — зайдут переночевать к их знакомому, отдохнут и двинутся дальше. Там до границы останется каких-то полсотни. Обойдут справа Кели, за ним еще один городок — и там уже граница. Ее переходить лучше днем, потому что ночью пограничники — и финские, и шведские — выходят на дежурство, могут задержать, а днем они редко следят за переходом, можно сходить к знакомому на ту сторону, выпить шведского пива или чего покрепче — у них гонят хорошую самогонку.

Колотай удивился осведомленности Хапайнена в таком специфическом вопросе, как переход границы, и подумал, не занимался ли он когда-то сам этим видом спорта. Но если так, то еще и лучше, передаст им, молодым, свой опыт, который может очень пригодиться.

Видя, что Хапайнен на какое-то время замолчал, Марта тут же повернулась к ним.

— Я очень боюсь за вас, за Юхана и за тебя, Васил, — она так же, как и ее муж, называла его «Васил». — Может, вам не стоит идти в этот большой поход, может, пусть все идет так, как есть?

— Но мы же уже решили, — ответил как-то холодно Колотай. — Возможно это и опасно, но и ждать — тоже не лучший вариант.

— Мужчины такие — зачем им советоваться с женщинами? — обиженным тоном сказала она в множественном числе, но, видимо, имела в виду своего мужа и себя.

Разговор в таком русле шел еще долго, пока не закончился ужин. Юхан, видимо, жалея мать, не становился явно на сторону отца и Колотая, хотел смягчить материнское горе расставания с сыном. Поужинав, все старшие дружной семьей пошли хлопотать по хозяйству: поить, доить, раздавать корм животным.

Примерно через час все работы были закончены, и они вернулись в дом. Было еще светло — наверняка от северного сияния, которое постепенно, словно крадучись, начало вырисовываться на небе: сначала высоко-высоко, затем опускаясь, и чем ниже, тем сильнее холодом веяло от него. Так считал Колотай, глядя на это удивительное явление, которое очаровывает, пленяет, и ты уже сам не свой, уже сам себе не хозяин, ты — никчемная сила, с которой никто не считается, тебя просто берут и присоединяют к той огромной великой силе, живущей своей жизнью и по своим законам, которые тебе не были и возможно не будут знакомы, а тем более — понятны.

— Пойдем в дом, а то шея начинает болеть, — сказал Колотаю Хапайнен, который рядом, запрокинув голову, смотрел на переливы туманного зарева. — Тебе может и интересно, а мы уже насмотрелись, живя здесь, даже слишком. Вот если бы знать, что оно нам пророчит, было бы интересно. А так что?

«Если бы знать, что оно нам пророчит», — повторил Колотай слова Хапайнена, — если бы знать. Может, было бы легче жить? А может, и наоборот — тяжелее? Если знаешь, что тебя ожидает что-то хорошее... А если плохое? Нет, лучше пусть будет то, что есть. Ложись спать с надеждой... Если бы она еще была с большой буквы...»

И в мыслях он уже очутился на родной Случчине, в родительском доме. Что там делают его родные? Ужинают? Говорят о нем? Они уже, видимо, получили «похоронку», где черным по белому написано, что их сын геройски погиб... или пропал без вести. Пусть бы уже написали, что пропал без вести, как пропала без вести вся бригада лыжников, с которой он шел. Скорее всего, напишут, что он погиб в бою, проявив высокий героизм. Хотя никакого героизма не было, была ловушка, в которой нельзя было ничего иного сделать, кроме как умереть... Как сейчас он сказал бы: умирали как захватчики, без какого-либо геройства и славы. Героями были финны, защищавшие свой край, свой народ и свое будущее. А что он уцелел — случайность...

Спать легли поздно, но Колотай долго не мог уснуть. Мысли крутились вокруг его нового путешествия в неизвестную страну Швецию. Еще вопрос, как они доберутся до нее, дорога неблизкая, а там главное — пересечь границу. Шведы ни с кем не воюют, они не присматриваются внимательно к людям, не шпион ли это, не подозревают незнакомых, не выслеживают, не доносят... Хорошо, если это так, тогда им может повезти добраться до Стокгольма, это, считай, через всю Швецию, достучаться до советского посольства и найти посла-женщину по имени Александра Коллонтай. Вот это будет чудо, о котором он еще не слышал и которого не видел! Сказать ей: а знаете ли вы, дорогая тетенька Александра, кажется, Михайловна, что я ваш племянник, но у меня немного изменили фамилию, чтобы не бросалась в глаза всяким там бдительным и сверхбдительным, чтобы отвести их от вас, чтобы я не хвастался таким высоким родством и так далее. А она на это возьмет да скажет: нет у меня таких племянников, как ты, самозванец, но мне интересно, как ты

здесь оказался, кто тебя прислал и с каким заданием. Может, тебя нужно арестовать и посадить в холодную, чтобы ты там немного проголодался и поумнел, чтобы не нес всякую чушь собачью...

Были еще и другие варианты, менее реальные, даже фантастические, он их перебирал, сравнивал, который лучше, который ближе к реальной жизни, но так и не остановился на чем-то одном. С этим и уснул. Но все равно проснулся рано: не давали покоя заботы, ожидавшие его, бередили душу, будоражили мысли.

Встал, сделал зарядку. В доме слышалось движение: младшие ребята собирались в школу, суетились, завтракали, искали свои вещи. Хозяйка уже, видимо, подоила коров, готовила завтрак. Хозяин вывел прогуляться коня серой, седой масти, а не того небольшого каштанчика, на котором они ехали из лагеря. Конь этот был просто как литой, по всем своим показателям годился под седло, но, видно, приучен был и к саням зимой, а когда нет снега — то и к телеге, возможно, даже и плуг тягать приходилось. Во всяком случае, конь был такой, что Колотай невольно залюбовался им: крутая лебединая шея, тонкие, словно точеные, передние ноги, мощная грудь, подтянутый живот, крутой гладкий круп, короткий обрезанный хвост — типичный верховой конь. Он перебирал ногами, словно просил поводья, фыркал, из ноздрей клубами шел пар, на лету опадая тонким инеем на большом морозе.

Конь, да еще вот такой — не самое ли красивое, благородное творение природы? А подумав — так человек, вроде, на первом месте. Особенно, если он настоящий человек, если вершит чистые дела.

Завтракать не садились, пошли в баню, в сауну финскую, чтобы помыться-попариться перед долгой дорогой. Сразу в такой холод даже страшно было раздеваться, а потом согрелись, разогрелись — и пошло! Колотай вошел в азарт, сильно парился, хлестал себя старательно березовым веником, потел до седьмого пота, который струйкой стекал по его лицу, по груди и плечам, проступал изо всех пор тела. Очень даже хорошо, что Хапайнен придумал баню, пусть она будет прощальной. «Финская баня-сауна, ты будешь сниться мне до последних дней», — сказал себе Колотай. Хапайнены — сын и отец, тоже парились самозабвенно, будто очень долго не видели ни воды, ни пара. Очень приятно попарить тело, погреть кости, чтобы они не так заходились на морозе, который уже где-то за сорок градусов. А финны все-таки сильные люди — еще раз залюбовался Колотай их мускулистыми, хорошо сложенными торсами, мощными руками, крепкими шеями, развитыми грудными мышцами. Если здесь таких людей много, то тяжело будет нашим одолеть эту небольшую, но стойкую нацию. Во всяком случае, Колотай не справился с такой задачей, как не справилась и вся их бригада лыжников — уже покойников...

В предбаннике, когда они вытирались и одевались, Колотай был удивлен, что ему вернули его ватники — солдатские ватные штаны, которые так хорошо грели нижний корпус, как говорили ребята. Заметив его удивление, Хапайнен сказал, что дорога долгая, а мороз крепкий, и такая одежда будет очень кстати. Если же спросят, откуда она, отвечать нужно, что вещь трофейная, с чем Колотай и согласился. Вся остальная его одежда осталась финской, чтобы при случае не посчитали его русским шпионом, — так объяснил Хапайнен.

Вообще, этот хозяйственный и рассудительный человек ему очень пришелся по душе, в нем много было от разумного отца, который воспитывает детей, заботится о семье, справляется с хозяйством и которому ну никак не нужна война, идущая с востока и могущая со дня на день оказаться совсем близко, или даже прогреметь над их головами, как тот самолет, и еще хорошо, если она оставит все это целым, невредимым, а их самих — живыми...

Завтрак был сытным и вкусным: помидоры — *тамааттэя*, картошка — *пэруна*, *каура* — овсянка, соленые грибы — *суоластения*, была *кали* — рыба разных пород: *турска* — треска, *хауки* — щука, *сиили* — сельдь, из мясных — *виениклейке* — отбивная котлета, *сианлиха* — свинина, *макса* — печень, — выбор был большой.

Хапайнен налил в рюмки своего напитка из темной граненой бутылки всем взрослым: себе, жене, сыну, Колотаю. Делал он это, как и все, спокойно, уверенно, рука у него была твердая, не дрожала и не разливала-переливала, — видно было, что человек умеет владеть собой. Потому что кто-кто, а он понимал, куда идет его сын вместе с этим русским-белорусом, и неизвестно, что их ожидает в дороге, особенно там, при переходе границы. Не стоит забывать, что граница охраняется с двух сторон: с этой и той, нужно не попасть в руки ни к своим, ни к чужим. Во всяком случае, уж лучше чужим, чем своим.

Хапайнен взял рюмку и сказал по-русски:

— Я молюсь Богу, чтобы вы совершили то, что мы задумали. Пусть же ваша дорога будет счастливой, — он сказал эти слова еще и по-фински, будто специально для Юхана, и на глазах его блеснули слезы.

На что Колотай ответил:

— Нам очень будет не хватать вас, херра Хапайнен. И потому будет тяжело, — он так сказал не столько для того, чтобы задобрить хозяина, сколько для того, чтобы хозяин оценил его как человека разумного и рассудительного.

И Хапайнен это оценил, чего Колотай не ожидал.

— Спасибо за комплимент, брат белорус, может, ты обидишься, что так я тебя назвал, но мне кажется, что у нас похожая судьба, мы заложники нашего восточного великого соседа, и потому мы братья, мы просто обязаны быть братьями, иначе по одному мы не выстоим, не сможем себя сохранить для будущего, для истории. Не так ли?

— Вы очень мудро сказали, херра Хапайнен. Раньше я этого не понимал, а сейчас полностью согласен с вами. Спасибо — *киттас* — и вам за это. Роува Марта*, киитян синуа* за ваше тепло, за искреннюю душу, за вкусную еду... А с Юханом мы останемся друзьями — надолго, как мне кажется...

Колотай разволновался. Ему казалось, что он тут давно, что он прирос к этим людям и к этим таким холодным заснеженным местам, которые, однако, живя рядом с такими приветливыми людьми, не казались ему слишком холодными.

Они еще немного посидели за столом, пили и закусывали, парни с аппетитом ели, понимая, что такого изобилия они долго не увидят.

А хозяйка все что-то говорила своему Юхану, который ел и слушал ее наставления, к ее словам прислушивался и сам хозяин.

Мать есть мать, — думал Колотай. Она отправляет сына в далекую дорогу, в чужую, мало знакомую страну. Она дает ему советы, предупреждает, хочет, чтобы он был осмотрительным, не наделал ошибок, чтобы был осторожным с чужими людьми. Такие советы-наказы давала и ему, Колотаю, его родная мать, а помогли ли они в жизни? Не все, но помогли и помогают, потому что это — народная мудрость, накапливавшаяся веками и передававшаяся из поколения в поколение. Еще она наказывала: имей Бога в душе и молись ему... Может, это и спасло Колотая, что он имел Бога в душе, благодарил, что проснулся живым, и просил простить ему грехи его. Но об этом знал только он один... Возможно, о чем-то таком говорит Юхану и его мать, отправляя сына в свет. Подальше от беды, подальше от войны...

Странное дело, но Колотаю хотелось скорее в дорогу, как застоявшемуся коню. И вместе с тем тяжело было уходить из тепла, уюта, из такого,

хоть и временного затишья от войны, когда ничего не болело, ниоткуда не дуло, ничто не терзало душу. И все это нужно покинуть, окунуться во что-то противоположное: как из теплой воды — да в ледяную, как из теплой бани-сауны — да на мороз. Однако же — на то она и жизнь! Не забывай, братец, какой год на улице: сороковой! Еще новый, еще молодой — январь, студень. Студит он сильно, оправдывает свое название. Но мороз немного спал, пошел снег: густой, лапотный, тихий, с Балтики. Смотреть — одно наслаждение!

Хапайнен уже запрягал своего серого рысака в сани, но не под дугу, как Каштанчика, а в шлею, очень легкую и удобную упряжь, когда оглобли достают только до шлеи и крепятся там концами — не нужно ни хомута, ни седёлки.

Лыжи и палки, заложенные острыми концами в брезентовые чехлы, парни привязали сзади к саням, и они не сильно увеличили его габариты, хотя острые концы торчали угрожающе, и об этом не стоило забывать всем, кто проходил сзади.

Рыжий Каптээни крутился у ног каждого, он был возбужден сборами, не мог понять, кто куда уезжает и далеко ли, надолго ли, а главное — кто? Он заглядывал в глаза хозяину, но у того не было времени с ним говорить, и обиженная собака переходила к другому: к Колотаю, к Юхану, останавливался, отходил, а потом возвращался снова. Скорее всего, пес чувствовал, кого он видит в последний раз. Ведь тот же Колотай для него — просто случайный человек, гость, он к нему не привязался, как к своему младшему хозяину, с которым вместе рос, с которым вместе рыскал по лесу, ловил зайцев и лисиц, за которого он готов был грызться с лютым волком. А сегодня молодой хозяин словно не замечает его, словно хочет этим сказать, что он собирается недалеко и ненадолго. Но бывалого Каптээни не обманешь, недаром он носит имя Капитан: у него природный нюх, тонкое собачье чутье, которое его никогда не подводило. Наверняка, не подведет и сейчас: Юхан у него попал под подозрение...

Пока собирались, пока хозяин запрягал коня, они все стали белыми, будто вылепленными из снега, как снеговики. Но снег был невесомый, пушистый, его легко можно было смахнуть с одежды или шапки, даже сдуть, как пух одуванчика — такой он был нежно летучий. Но зато хорошо скрывал, маскировал, застилал так, что не видно было ни ям, ни выбоин, даже невысокие строения еще больше прижимались к земле и сливались с ней, стирая границу между небом и заснеженной землей.

Закончились сборы, нужно было еще пережить более тяжелое — прощание. Мужчины отряхивают с одежды снег, снимают шапки и входят в дом. Хозяин первым садится на скамью, парни устраиваются рядом. Хозяйка Марта говорит им что-то по-фински, голос ее натянут, как струна, готовая порваться, но слез не слышно. Можно только догадываться, что она говорит сыну на прощание. Возможно, говорит, что когда все уляжется, чтобы возвращался домой. Чтобы писал письма, не забывал их. Наверное. Потом она переходит на русский язык, поворачивает голову к Колотаю:

— Васил, ты мне стал как сын, как родной брат Юхана. Мне так нравится ваша дружба... Я желаю тебе добраться домой, где тебя ждут родные. Да поможет тебе Бог, — она подошла к Колотаю, прижала его голову к своей груди и поцеловала в стриженную голову.

Потом она попрощалась с сыном: обняла за шею, прижалась к его лицу, поцеловала в щеки, в губы, тихо всхлипнула. Юхан тоже обнял ее за плечи, прижал к себе, что-то шептал сквозь слезы.

У Колотая тоже заныло в груди, слезы подступили к горлу.

По-мужски вел себя Хапайнен: он дал жене сказать все, что она хотела, не перебил ни одним словом, не подгонял — мы спешим. И выражение лица

не изменилось, был, кажется, такой, как всегда: спокойный, уверенный в себе, словно чем-то озабоченный в своих обычных будничных обстоятельствах. Сегодня для него был день необычный, это факт, однако он мог или умел этого не показывать: не показать свою слабость. Женщине можно, мужчине — нет. Теперь он обратился к парням по-русски:

— На прощание я хотел бы вот что сказать вам. Вы парни, мужчины, вы должны быть мужественными. Терпеливыми, выносливыми. Не бояться боли, не терять сознание от вида крови. Васил это уже видел, он знает цену крови. Юхан такого не пережил. Я хотел бы, чтобы такое его не коснулось никогда. Я буду молиться за это. Я буду молиться за вас двоих. С Богом! В добрый час. *Оннэа,* как говорим мы, финны.

Он тяжело поднялся с лавки, за ним встали Юхан и Колотай, все вместе направились к двери. На улице их ждали мальчики-школьники, которые стали белыми, как снеговики, они бегали вокруг саней вместе с Капитаном, грелись, чтобы не замерзнуть, сметали камышовым веником снег с саней и даже с коня, который из серого стал совершенно белым.

Хапайнен им что-то сказал, они сразу стали серьезными и подошли к мужчинам, поснимали рукавицы и вытянулись, как солдаты в строю.

— Я им сказал, что маленькие солдаты должны попрощаться со взрослыми солдатами и пожелать им удачи.

Юхан обнял старшего из братьев, пожал ему руку, потом подошел к младшему, подхватил под мышки и поднял высоко на вытянутых руках, потом легко поставил на ноги. При этом он что-то говорил, но короткими отрывистыми фразами, может, наказывал им хорошо учиться, слушаться родителей.

Подошел попрощаться и Колотай. Он пожал их теплые ладошки, сказал *«тэрвэ»* и *«киитас»*, на что они ответили улыбками и неизменным *«тэрвэ»*. В этих мальчиках он будто увидел самого себя, вот как летит время: он уже взрослый, уже солдат, даже пленный солдат...

Из двери дома вышла хозяйка в своем темном халате и в синей шапочке-чепчике, но не подходила к ним, а только смотрела, как они садились в сани: Юхан и Колотай — сзади, Хапайнен — на переднем сидении, за извозчика.

Пес Каптээни крутился возле коня, у передних ног, скулил, словно просил у него разрешения бежать за санями: люди его не понимали, так, может, поймет его немой собрат?

Долго, бесконечно долго тянулось прощание, но и оно закончилось: Хапайнен взял в руки вожжи, дернул, нокнул на коня — и тот легко, словно пушинку, тронул сани. Пассажиры оглянулись, помахали руками хозяйке на крыльце, мальчикам, стоявшим на улице, псу Каптээни, который бросился было за санями, но ребята остановили его криком, и он, обиженный, вернулся к ним.

— *Оннэа,* — произнес Хапайнен, — в добрый час, — перевел для Колотая. И сильно дернул вожжи, давая коню сигнал: вперед!

Так началось их последнее путешествие в западном направлении.

VIII

Позже, когда Колотай вспоминал это долгое и нудное путешествие, переполненное ожиданием чего-то опасного и необычного, чего в реальности почти что и не было, в памяти всплывали отдельные эпизоды, оторванные друг от друга, будто это происходило не с ним и его финскими друзьями, а с какими-то чужими людьми, и он видел все не своими глазами, а во сне, или кто-то ему рассказал неправдоподобную историю про беглецов, которые обхитрили, обвели вокруг пальца стражу с одной стороны границы, а потом и с другой.

А все события вместились, словно яичко в гнездышко, в небывалый по силе снегопад, который в тот день и вечер бушевал в районе финско-шведской границы в направлении Кеми-Торниё-Хапаранды и буквально засыпал все дороги, тропы, поляны и площади, не давая людям не только ездить, но даже ходить: снега было по пояс и выше, человек просто утопал в снежной массе, становился беспомощным, как младенец, и мог перемещаться только при помощи ног и рук. Снег, начавшийся, когда они собирались в дорогу, не прекращался до вечера, когда они приехали в небольшой городок и зашли к знакомому Хапайнена, у которого заночевали, а назавтра, простившись с Хапайненом — он снял с руки часы и подарил их Колотаю на память, — парни на лыжах двинулись навстречу снегопаду, каждую минуту протирая очки. Спасали только лыжи, хоть и они тонули в пушистом и мягком, как сухая мякина, снегу, и идти становилось все тяжелее и тяжелее. За час они проходили около десяти километров, и это было не так уж мало, потому что под ногами они еще чувствовали твердость дороги, накатанную за зиму.

О том, как добрались они до Кеми, стоило бы написать целую поэму, но для этого нужно быть поэтом. А до границы, до заставы, где дорогу перегораживали два моста на речках Кемияки и Торнияёки, а потом государственная граница с одной и другой стороны, они доползли буквально чуть живыми. Если бы у них не было практики, той недельной тренировки, они просто пропали бы в непроглядной белой мгле, когда земля и небо сливались в одно целое, и ты уже не знал, на каком ты свете: на этом или каком-то другом. Они надеялись, что в такую погодку перейдут границу и сделают вид, что просто ее не заметили, сбились с дороги, что им нужно было в Кеми, а вот они оказались здесь — извините, *антээкси*! А может, их вообще никто не увидит, никто не задержит? Что не увидят, так это точно, за десять метров человек уже исчезал из виду, найти его можно было лишь голосом, криком: он растворялся, пропадал.

А тут их ожидало событие местного масштаба: расчистка дороги, перехода-переезда, даже контрольной полосы — все было так засыпано-завалено снегом, что вообще могла остановиться жизнь. Здесь работала большая бригада, даже две: с этой, финской, и с той, шведской, сторон — с большущими шуфлями, лопатами, имелся даже большой деревянный треугольник, который обычно таскают по дороге трактором или лошадьми, и он сдвигает снег в стороны, направо и налево. Сейчас этот треугольник таскали люди. Мужчины были преимущественно в годах, молодые служили в армии, воевали, к пожилым присоединились парни призывного возраста. Женщин, что удивило Колотая, почти совсем не было видно, а если какая молодка и пришла, то, видимо, за компанию со своим парнем, чтобы вместе побыть на людях, повеселиться, погреться.

Мужчины оказались в комбинезонах поверх своей обычной одежды, в вязаных шапочках или в шапках-ушанках, полностью засыпанные снегом, белые, как движущиеся привидения.

Юхан и Колотай оказались в этой компании работяг как свои люди, как очень нужные рабочие руки. Они сняли свои лыжи, рюкзаки, оставив это все у пограничного перехода, им вручили большущие широкие фанерные шуфли с оббитым жестью передним краем, который срезал снег, и парни дружно взялись за работу. Они старались держаться рядом, чтобы в случае чего, Юхан мог подстраховать Колотая, если к нему обратится кто-нибудь с вопросом. Но вскоре они поняли, что людям было не до разговоров.

На той стороне тоже кипела работа, шведы, как и они здесь, расчищали дорогу, шуфлевали снег в стороны, потом просили треугольник у финнов

и таскали его, запрягаясь по четыре или по шесть человек, по уже немного расчищенной дороге. Эти две бригады были как два роя пчел, занятых своими делами, порой они незаметно смешивались, сливались в один большой рой, который то вытягивался вдоль дороги, то снова сжимался, — все группировалось вокруг большого деревянного треугольника, который таскали то с одной стороны перехода, то с другой. Чтобы не остаться в стороне, Хапайнен с Колотаем тоже пробовали таскать треугольник, хотя это было намного тяжелее, чем отбрасывать снег лопатой. Но находил какой-то азарт, парням хотелось показать свою силу и удаль, их подбадривали, слышались слова похвалы — так понимал по интонации Колотай.

Странно то, что здесь не было видно пограничников — за исключением того, который сидел-дремал в будке со шлагбаумом, где были составлены лыжи. Вторая похожая будка находилась на шведской стороне, там тоже виднелся шлагбаум с высоко задранным вверх носом. Эти полосатые шлагбаумы словно подавали парням надежду: вот, пожалуйста — *олкаа хювя* — дорога свободна в обе стороны! Время шло, снег шел тоже — ровный и спорый, казалось даже, что он становится еще гуще, что очищать от него дорогу — напрасная затея — придется чистить столько, сколько он будет идти. Люди были белые, почти нереальные, они сливались с пространством, и их движения, взмахи рук, шуфлевание напоминали немое кино: движение есть, а звука нет, и люди кажутся просто механическими роботами.

Наконец кто-то из тех, кто руководил работой по расчистке снега, как у нас сказали бы — субботником, объявил перерыв на два часа — так перевел Юхан Колотаю. Уставшие люди медленно, будто нехотя, шли к будке, ставили лопаты, некоторые брали свои вещи, становились на лыжи и шли, чтобы где-нибудь перекусить. Взяли свои рюкзаки и Колотай с Юханом, стали на лыжи и не торопясь пошагали вместе с теми, кто переходил на ту сторону границы, и никто тут даже не подумал, что они — нарушители границы, переходят из одного государства в другое. Все произошло обыденно просто, но все же у Колотая сердце аж заходилось-колотилось — недаром у него такая фамилия. Еще рано было прыгать от радости, но начало оказалось удачным — слава богу милостивому, это он им помог, послав такую погодку.

Они, не отрываясь от основной группы, шедшей от проходной на запад, направились за ней, прислушиваясь к разговору. И хотя Колотай ничего не понимал, он уловил уже слышанное слово «хапаранда». Его произнес перед отъездом отец Юхана: это шведский город неподалеку от границы, откуда по железной дороге можно добраться до самого Стокгольма. Вот куда им теперь нужно — в Хапаранду! Колотай приблизился к Юхану, как пароль, сказал «Хапаранда» и показал палкой на того человека, который назвал станцию. Юхан кивнул, показав на свое ухо, что означало — так подумал Колотай, — он тоже слышал.

Вскоре они оказались в небольшом поселке с деревянными домами у самой дороги, направляясь к местному отелю, где они собирались перекусить. Колотая это немало удивило, но потом он подумал, что на пограничном переходе должно быть соответствующее место, чтобы человек мог переночевать или провести некоторое время, пока будут решаться какие-то его дела. Юхан между тем разговорился с тем человеком, который назвал нужный им пункт, о чем-то расспрашивал, упомянул даже Стокгольм. Напрасно он про Стокгольм спросил, напрасно... Плохо то, что они не могут переговариваться при людях, еще там, у Хапайненов, договорились, что он, Колотай, будет выдавать себя за глухонемого, а потом, когда все более-менее выяснится, лучше ему быть дипкурьером, которому нужно в Стокгольм в советское

посольство к послу Коллонтай, кстати, он ее родственник, а разница в написании фамилии — чисто техническая, и финская справка, что это русский пленный — недействительная, он не бывший солдат, а дипломат. «Если ты дипкурьер, то где твои бумаги, документы?» — могут спросить у него. «Вот здесь все, — скажет он, показав пальцем на свой лоб. — И все секретное и несекретное — там».

Но это, как говорится, запасной вариант. А вот в этот момент как поведет себя Юхан с этим человеком, не вызовет ли у него подозрение? Не выдаст ли его шведский язык с финским акцентом?

Они старательно оббили на крыльце свежий снег, вошли в отель, чтобы съесть чего-нибудь горячего и, может, даже выпить по кружке пива, потому что потели они во всю силу: и в дороге, и на субботнике по расчистке снега. Как только вошли в фойе, их встретил пожилой метрдотель в фирменной одежде с галуном, расспросил, чего они хотят. Им дали два столика, принесли — даже очень быстро — по кружке темного овсяного пива, потом гороховый суп, сосиски с ячной кашей, салат из грибов, черный хлеб.

Все шло за милую душу, мужчины ели и пили молча, только изредка Юхан что-то спрашивал у своего соседа, тот коротко отвечал, иногда искоса поглядывал на Колотая — не иначе, думал, что за тип здесь оказался — с той стороны? Колотай специально ел «некультурно»: громко хлебал суп, жевал, не закрывая рта, и хлебные крошки иногда падали на стол, сильно шмыгал носом, а губы вытирал рукавом куртки, гримасничал. Одним словом, входил в роль: а что, может, и пригодится?

Когда расплачивались, Юхан заплатил за обоих, что очень удивило официанта: чтобы молодой человек да не имел денег заплатить за еду? Действительно, может, он такого типа видел в первый раз?

Тот швед со своей компанией вышли первыми, а они нарочно тянули, чтобы оторваться от незнакомых.

Юхан, естественно, не мог передать содержание своего разговора со шведом, но сказал главное: Хапаранда на этой дороге, может, сотня километров или даже больше. «Поехали?» — спросил по-русски и улыбнулся. Но улыбка была невеселой. Он устал, как, кстати, и Колотай. Стоило бы переночевать в этом отеле, но они боялись останавливаться близко от границы: а вдруг какая-нибудь проверка? Вдруг кого-то ищут, а найдут их? Хотя в такую погодку устраивать проверку мог только последний дурак. Зато им смелее идти к своей цели — меньше встретится всяких проверяющих. «Поехали», — ответил Колотай после долгой паузы. Овсяное пиво слегка затуманило голову, стало немного легче на душе, видимо так же чувствовал себя и Юхан, потому что периодически повторял сам себе: карашо, карашо. Дорога, как и раньше, вела на запад, косой снег летел им в лицо, залеплял очки, и они часто останавливались, чтобы протереть слюдяные стеклышки. Менялись: то первым шел Юхан, то вперед выходил Колотай, потому что по целику было идти намного тяжелее, чем по протертому следу. Они заметили, что у дороги справа торчат километровые столбики около метра высотой, как на контрольной полосе границы, правда, те были густо поставлены, с проволокой в несколько слоев. А здесь столбик стоял один, и на нем белой краской поставлена цифра — 05, через километр — 06 и так далее. Может быть, отсчет шел от границы? И пойдет до самой Хапаранды? Придется проверить...

...Они обрадовались, увидев железнодорожные пути, хоть и занесенные снегом. Значит, где-то должен быть и вокзал. Городок тоже был засыпан снегом, дома казались низкими, и это естественно — они просто утопали в снегу. Городок был железнодорожной станцией и морским портом одновременно:

он стоял на берегу Ботанического залива, на самой его северной оконечности. Жила здесь одна только железная дорога, она и интересовала беглецов. По рельсам они нашли и вокзал, или станцию: небольшое кирпичное здание у самых путей, рассчитанное на какую сотню пассажиров, не больше. Но зал ожидания был просторный, они, сняв лыжи и поставив их у стены в специальном месте («Не украдут часом, как у нас?» — подумалось Колотаю), вошли в зал со специфическим запахом угля и еще чего-то неуловимого, что присутствует на вокзалах и никогда не выветривается, осмотрелись. Стоят у стен деревянные топчаны, сейчас они все свободны, только кое-где сидят хмурые люди, преимущественно женщины, держат в руках дорожные сумки, ждут своего поезда.

Юхан показывает Колотаю на лавку-топчан: посиди! — а сам направляется к окошку кассы, возле которого стоит средних лет женщина в длинной шубе рыжего цвета, скорее всего, из лисы, в стильной, под цвет шубы, шляпке. Она о чем-то говорит с кассиршей, просит, не иначе, какого-то совета: каким поездом и когда ей лучше ехать. Колотай, сидя на топчане, уже начинает нервничать: а вдруг они не успеют взять билеты? Хотя — как не успеют, если еще нет никакого пассажирского поезда? Наконец женщина получила свой билет, отошла к свободной скамейке. В окошко уже просунул голову Юхан, что-то говорит, что-то спрашивает. Ему отвечает приветливый женский голос, что-то объясняет, видимо, советует какие-то варианты: на этот не садитесь, лучше садитесь на другой. Этот идет утром, а тот в обед — что-то подобное она говорит Юхану, тот слушает и выбирает вариант, даже не посоветовавшись с ним, Колотаем. Хотя что тут советоваться? Юхан не маленький, чтобы не отличить хорошее от плохого. Колотай волнуется, но не так сильно, как тогда, при переходе границы. Чего особо волноваться? Не будет в этот, так будет в другой, не теперь, так в четверг. Главное, что они уже на вокзале, что они поедут, а когда — это уже не так важно. Важно знать, сколько километров до Стокгольма, а еще важнее — сколько стоит билет, точнее, два билета. Молодчина Якоб Хапайнен, достал где-то немало шведских крон, или просто где-то поменял на свои финские марки. Все он предусмотрел, все учел и рассчитал. Говорил, что в Швеции у него родственники, которые должны помочь Юхану найти себе место. Это хорошо, парень образованный, окончил лицей, его так же, как и отца, привлекает лес и лесное хозяйство. Лес — это прекрасно: деревья, реки, озера, звери, рыба и мало людей, которые утомляют своими заботами, просьбами, угрозами, своим вечным стремлением что-нибудь купить, что-нибудь достать, что-нибудь украсть... Хотя здесь, может, люди не знают, что такое воровство, но что-то не верится. Как это прожить, чтобы не украсть? Да если бы наш колхозник не воровал, то уже и колхозники вывелись бы — повымирали с голоду. У государства украсть не считается грехом, вот у соседа — это уже другое дело, это грех. А государство не обеднеет, оно вон как всех своих верноподданных стрижет под ноль: за все плати, даже за каждую яблоню плати налог. Многие свои сады повырубили, так как нет никакой выгоды иметь сад: не прибыль, а убытки...

Далеко залетел в мыслях Колотай, не заметил, как подошел к нему Юхан и показал два билета. Колотай просто глазам своим не поверил, даже переспросил: до Стокгольма? Юхан скромно улыбнулся и кивнул, отдал один билет ему, а второй спрятал у себя вместе с кошельком, еще довольно пузатым, как заметил для себя Колотай. Ждать поезда оставалось еще несколько часов, и они решили пройтись по городку. Только вот что делать с лыжами? Они фактически им уже не нужны, они сослужили свою хорошую службу и теперь могут идти в отставку. С лыж они теперь становятся на рельсы, это как будто более надежно. Но не говори гоп, пока не перепрыгнул...

Так они шли с лыжами на плечах по незнакомому городку, и у Колотая было ощущение, что они идут по какому-то белорусскому райцентру, только здесь снега больше, а улицы лучше почищены — и вся разница. Может, дома здесь больше ухожены, лучше утеплены, потому что зима здесь дольше, крепче морозы, совсем близко Полярный круг, а это что-то да значит. Хотя где-то поблизости теплый Гольфстрим, а он тоже делает погоду. Людей на улице почти не было, только кое-где виднелись фигуры во дворах, которые расчищали дорожки. На тротуаре остановились перед мужчиной, убиравшим снег. На вид ему было лет сорок, щеки от работы и мороза у него разрозовелись, он распарился, даже расстегнул свою серую теплую, на меху, куртку с капюшоном. Юхан что-то сказал ему, видимо, поздоровался, тот осмотрел парней с лыжами и обратился к Юхану. Слово «шидур» было сказано несколько раз — понятно, что лыжи. Швед пригласил их к себе во двор домика, свежеокрашенного в желтый цвет с крыльцом-верандой, застекленной сверху. Он оставил их на веранде, где чувствовалось тепло, и вскоре вернулся с деньгами в руке, отсчитал несколько бумажек и отдал Юхану, который сказал длинную фразу:

— Так... Ви скуле альдрыг Клара ос сутан дэй.[1]

На что швед ответил коротко: «Так», что очень удивило Колотая: что значит это «так» — совсем белорусское слово?

«Жаль лыж, — подумал между тем Колотай, — но хорошо, что нашелся покупатель. Избавились от лишней заботы. Будем считать, что нам еще раз повезло... Но что значит это «так»?

Затем они зашли в продуктовый магазин — хоть посмотреть. Выбор был большой, прилавки, казалось, гнулись от товаров: мучных, макаронных изделий, хлеба разных сортов и булок-батонов, различной свинины-ветчины, оленины, а уж о рыбе и говорить нечего — выбирай на вкус, и цену тоже. Цен Колотай не знал, но по тому, как прицενивался Юхан и как ему отвечали продавцы в чистых белых халатах, было понятно, что все здесь дорогое, им не по карману. Однако Юхан купил две банки рыбных консервов и большой белый батон, который ему завернули в бумагу, специально для этого предназначенную, а не в газетную, как у нас бывает. Еще взял большую бутылку молока, видно, соскучился парень по своему домашнему продукту.

Что могли они купить в книжном магазине? Книгу на чужом языке? А книг лежало и стояло много, просто изданных, видно, недорогих, с рисунками — скорее для детей и юношества. Юхан купил шведскую газету «Свенска дагладэт» и туристическую карту Швеции. Это было именно то, что нужно Колотаю. Ведь что он знал о Швеции? Ничего! Только то, что она на Скандинавском полуострове, что это страна фьордов и шхер, что население — около десяти миллионов. Что у нее был когда-то король Карл XII, которого русский царь Петр I разбил под Полтавой. Но об этом он знал больше из поэмы Пушкина «Полтава», чем из истории. Кажется, прошелся он и по Беларуси, тогда Великом княжестве Литовском, была битва со шведами под Лесной, может еще две — и все.

Юхан взглянул на свои наручные часы и показал пальцем в сторону вокзала — нужно направляться туда, время подгоняет. Колотай тоже механически посмотрел на свои, подарок Хапайнена: было пять двадцать пять, а поезд отправлялся в шесть с минутами.

Странные у них сейчас связи-отношения: при людях они друг с другом не разговаривали, чтобы не вызвать подозрение. А наедине Колотай на свои

[1] Спасибо... Не знаю, что бы мы без вас делали (швед.).

вопросы получал короткий ответ: *кюлля* или *эй*. Если же Юхан начинал объяснять что-то более развернуто, Колотай ничего не понимал, и разговор их терял всякий смысл. Но ничего важного они друг от друга и не ожидали услышать. Главное, что они сейчас в свободной стране, которая не воюет ни с кем и никого не боится, а это очень важно: нет здесь такого напряжения, как в Финляндии, где война отражается на всех сферах жизни, особенно на человеческих отношениях. Может, это и хорошо, что они плохо понимают друг друга и мало разговаривают между собой: меньше шансов попасть под подозрение и оказаться там, где тебе будет очень жестко. Не хватало еще, чтобы их зацапали как шпионов!

Город был небольшой, как наш райцентр, например, Слуцк, застроенный хаотично, без всякого плана: где кто хотел, там и строился. Дома преимущественно одноэтажные, хотя встречались двух- и трехэтажные, по всему видно, построенные в последнее время, порой очень вычурной конструкции: с башенками, портиками, балконами, верандами. Иногда Колотаю виделось что-то знакомое: такие же дома, такое же скрещение улиц — ну точно видел где-то в Слуцке или Бобруйске. Его это просто поражало: где-то за краем света есть что-то знакомое! Как оно здесь оказалось, как повторилось в подобном варианте? И ты об этом никогда не узнал бы, если бы судьба не забросила сюда...

Вот двухэтажная школа, окрашенная в спокойный желтоватый цвет, с двумя рядами окон, с небольшим, никак не парадным, входом. Что это — школа, они, может, и не подумали бы, но как раз прозвенел звонок. Во двор школы высыпали дети, уже одетые, будто они только и ждали звонка. Но не было здесь той суеты, толкотни, смеха, улюлюканья — всего того, что характеризует наш школьный коллектив: тут чувствовался совсем другой темперамент, другое воспитание. Подростки шестого-седьмого класса спокойно расходились по своим улицам и направлялись домой, неся на плечах немаленькие ранцы с учебниками. Это намного лучше, чем тащить в руке тяжелый портфель или какую-нибудь полотняную сумку, как когда-то таскал он сам, Колотай.

Они подошли к вокзалу. Не терпелось занять свое место у окна и смотреть бездумно, как мелькают деревья у дороги, здания, горы, высокие и не очень, и все такое белое от снега, что невольно хочется надеть темные очки. И вот поезд уже стал на свое место, паровоз пыхтит паром, разогревает нутро, чтобы одолеть далекую дорогу, которая его ожидает. Пассажиров не скажешь, что много, они не спешат, ведут себя спокойно, уверенно, будто знают, что поезд без них не поедет. Люди с дорожными сумками, рюкзаками, у некоторых связанные лыжи в руке... Юхан ведет Колотая в их вагон второго класса — не самый дешевый, но и не столь дорогой, как первый. Они занимают купе на четыре человека, но пока что никто не приходит, и они тешат себя надеждой, что, возможно, поедут только вдвоем. Наконец пассажиры заняли свои места, провожающие покинули вагоны, паровоз дал сигнал отправки, заскрежетали отпущенные тормоза, загрохотали буфера, вагон дернуло, поезд тронулся и поехал: слава Всевышнему! Колотай готов был кричать и плакать от радости, что вот они уже на пути к своему спасению. Но тут же осадил себя, словно горячего коня, отругал за безоглядный оптимизм: впереди их ожидают еще вон какие испытания, еще неизвестно, чем все может закончиться. Подожди, еще наплачешься, еще наскачешься...

— *Оннэа*! — все же не удержался Колотай и подал руку Юхану.

— У добры час! — ответил Юхан по-белорусски и крепко пожал руку Колотаю.

Колотая удивило, что он запомнил слова, сказанные при прощании его отцом, когда они выезжали со двора. Те слова сбылись, пусть же сбудутся и эти.

Они едва успели осмотреться, разложить свои рюкзаки, раздеться, как послышался стук в дверь, и в купе вошел средних лет железнодорожник, его форма немного напоминала советскую по цвету, но фуражка была очень непривычной для чужого взгляда, сказал «хэй», потом произнес что-то требовательно. Юхан тут же стал искать свой билет, а на него глядя, то же самое сделал и Колотай. Проводник забрал их билеты, засунул в свою книжку с делениями на каждое купе и еще много чего-то говорил Юхану, а тот лишь кивал головой. Оба они называли столицу Швеции — Стокгольм, но как-то не так, а Стоккольм — видимо, как произносят шведы.

Когда они остались в купе одни, Юхан при помощи жестов и немногих русских слов пытался объяснить Колотаю смысл его разговора с проводником. Колотай понял, что они будут ехать три или четыре дня, что на некоторых станциях они будут стоять по несколько часов, пока поменяют паровоз и машиниста с кочегарами. Что на ночь он будет выдавать им постельные наборы, а спать они пусть ложатся на верхних полках, потому что нижние могут быть заняты людьми в годах, которые сядут в вагон на любой станции. Все это высказать Юхану было нелегко, как и Колотаю понять без переводчика, однако они постепенно привыкли к такому обмену новостями или даже мыслями: вынуждали обстоятельства.

До ночи оставалось еще время, и они могли отдохнуть от всех дневных перегрузок и забот, повспоминать. Путешествие хорошо тем, что оно дает человеку возможность быть самим собой, никто не лезет в душу, никто не мешает, не достает вопросами и всякими просьбами — ты словно один во всем мире. Естественно, каждый человек думает о чем-то своем, о том, что ему ближе, что его недавно впечатлило или удивило, что его волнует и чего он ждет от путешествия. Если это короткая поездка, если ты должен что-то сделать и тут же вернуться, мысли твои будут вертеться вокруг этого задания, не выходя на какие-то глобальные проблемы. Нашим беглецам было о чем подумать, о чем помечтать: они находились между небом и землей, оба они стояли на грани открытия новой страницы своей жизни, может, очень интересной, а может... Колотай хотел опять вернуться в тот мир, из которого его выбила война, и еще неизвестно, все ли так пойдет, как они задумали.

Юхан тоже убегал от войны, и первую половину дела он уже совершил: он на чужой земле, его не достанет рука своего режима, не пошлет в мясорубку, которая теперь во всю силу крутится на восточной границе его родины. Чувствовал ли он свою вину за это бегство, Колотаю сложно было определить, но что его грызла совесть, в этом Колотай не сомневался. Правда, Юхан мог сослаться на родителей, которые вбили ему в голову такую мысль, он постепенно свыкался с ней, хотя сначала она казалась ему дикой и даже страшной. Сам Колотай не очень был уверен, что ему удастся вернуться на родину: впереди так много неизвестного. Свою ситуацию он сейчас сравнивал с ходьбой по тонкому льду: нужно перейти на тот берег, а лед трещит, даже гнется под ногами, ты спешишь, потому что, если задержаться хотя бы на долю секунды, лед может проломиться — и тебе крышка. Так и у него сейчас: все зависит от каких-то незначительных, на первый взгляд, сдвигов, поворотов в его истории с географией, которые, однако, имеют большее значение, чем ты думаешь. Ведь ты видишь не все то, из чего ткется твоя дорога-полотно, многое от тебя скрыто, и, может, это хорошо, — напрасно только переживал бы. А так ты спокойно ожидаешь, когда доедешь до конца дороги. Ну, может, не совсем спокойно, но все же... Подумать только: они собираются найти советское посольство в Стокгольме и добиться встречи с его послом — Александрой Коллонтай, чуть ли не его однофамилицей. Может это «чуть»

и поможет заинтересовать посла и сделать все, чтобы он вернулся обратно на родину. Что ожидает его там — не важно, главное — вернуться, увидеть родителей, братьев и сестер, услышать родную речь и сказать: я вернулся домой! А сейчас — пусть будет то, что должно быть. Он готов ко всему...

IX

Теперь, когда их долгая дорога закончилась, Колотай сравнивал ту, лыжную ее часть, с этой, железнодорожной, и приходил к выводу, что нынешний кусок дороги дался ему тяжелее, чем лыжный. Физически там было труднее, но зато они были свободны, сами себе хозяева, а здесь связаны обстоятельствами, как веревками: мог зайти случайный или не случайный полицейский чин, проверить документы и высадить их из поезда, отправить в какой-нибудь подвал и будет водить на допросы: кто, откуда, как здесь оказался, почему говорите неправду, а один еще и прикидывается, что совсем не знает шведского языка. Этот страх висел над Колотаем всю дорогу как дамоклов меч. И в последний момент он все-таки опустился на их головы, или, точнее, завис совсем низко.

Стокгольм оказался большим, разбросанным городом, где были перемешаны высокие современные дома со старыми, средневековыми, своеобразной архитектуры зданиями, с многочисленными кирхами, музеями, кинотеатрами и отелями, ресторанами, большими магазинами и рынками, с автомобилями неизвестных марок на улицах и многочисленными мостами, соединявшими острова, застроенные, может, еще несколько веков назад.

Если бы это была не зима начала сорокового года, суровая и жестокая, холодная даже для этих мест, Колотай и Юхан могли бы любоваться исключительно европейским городом, который рос и разрастался по своим скандинавским законам и меркам, не оглядываясь ни на Запад, ни на Восток, заботясь только о том, чтобы у шведов была столица не хуже, чем иные столицы, такие, как Варшава, Прага, Будапешт или Вена. Поскольку то, что можно найти в европейских столицах, давно нашло пристанище и в Стокгольме — так казалось мало искушенному в архитектуре Колотаю, когда он видел величественный Королевский дворец, любовался ратушей или Рыцарским домом. А своеобразный замок на воде, на острове, который весь скрывался под водой, исчезая под строением замка, к которому вел мост, вообще был для Колотая шедевром архитектурного гения шведов. Они хотели осмотреть еще порт, но отложили на... на когда — неизвестно, так как за один раз и за один час большой город не посмотришь, для этого нужно минимум несколько дней.

За час ходьбы они сильно устали, зашли в кафе, выпили по чашечке шведского кофе и съели по бутерброду с колбасой. Колотаю этого было совсем мало, но он не стал просить Юхана взять еще что-нибудь: коль здесь такие мерки, значит нужно к ним привыкать.

Теперь перед ними была проблема: куда идти сначала? По адресу, который был у Юхана от отца, или в советское посольство? Юхан хотел искать родственника, Колотай доказывал, что нужно идти в посольство. Хорошо, что они не знали много общих слов и потому говорили коротко, дополняя их жестами, и в итоге решили проблему за несколько минут: искать посольство. В случае, если они попадут в руки полиции, будет проще доказать, что они перебежчики из Финляндии: один из них финн, а второй — бывший русский пленный.

Спросили у одного человека, у другого, где здесь советское посольство, но никто Юхану не мог назвать его адрес или хотя бы улицу. Тогда решили спросить у полисмена, который встретился им на тротуаре. Тот выслушал

Юхана, что-то решил и жестом пригласил их идти за ним. Вскоре они оказались перед невысоким кирпичным домом с большой вывеской «Polis», благодаря которой каждому становилось понятно, что здесь размещается полиция. Полицейский привел их в большое служебное помещение, в котором никого не было, а сам исчез на несколько минут и возвратился со вторым, видимо, хозяином этого помещения — в мундире с погонами, с нашивками на воротнике, подпоясанный широким ремнем с портупеей. Он был без шапки, светловолосый, с большими залысинами, с большим горбатым носом, ну хоть рисуй с него викинга какого-нибудь. Начальник сел за просторный канцелярский стол, заставленный атрибутами чиновничьей власти, начиная от массивного чернильного прибора и заканчивая старомодным телефоном, где трубка лежала на высокой ножке-подставке.

Начальник пригласил парней сесть, внимательно их осмотрел и начал что-то спрашивать. Отвечал один Юхан, Колотай молчал как рыба, только вслушивался в разговор, ловил знакомые фамилии: Юхана, свою. Юхан вводил начальника в курс: почему они здесь оказались и кто они, показал свои документы, бумагу на пленного Колотая. Говорили долго, даже спорили, и Колотаю уже начало становиться страшно, что отсюда они так просто не выкрутятся. Наконец тот посмотрел в какой-то справочник, снял трубку и набрал номер. Сразу спросил кого-то там, подождал и стал говорить, как будто докладывал, потом долго слушал, снова долго говорил, словно доказывал, назвал их фамилии, вставляя Колотаю букву «н». Это может даже и хорошо, будет большая заинтересованность, — подумал Колотай. Но еще вопрос, кому или куда он звонил? А что, если своему высшему начальству?

Наконец начальник положил трубку, спросил что-то у Юхана, и Юхан сказал Колотаю, чтобы он произнес по-русски хотя бы несколько фраз. Что ему сказать? Что-нибудь о себе. И он начал:

— Моя фамилия Колотай, я русский пленный, финны взяли меня в бою... Нашу бригаду всю разбили, больше тысячи человек... Меня взял к себе на работу финн Якоб Хапайнен...

— Ман канн интэ тру дэ, — перебил его начальник. — Бра[1], — и он махнул рукой: чего тут долго разбираться? — означал его жест.

Он еще поговорил с Юханом, они как будто приходили к согласию, начальник стал мягче и снова сказал «бра». По всему видно, что он понимал русский язык, но не хотел показывать этого Юхану. На миг он задумался, опять посмотрел в справочник и снова набрал номер телефона, сказал «гуд даг», что Колотай понял как «добрый день», и начал что-то объяснять своему абоненту, снова называл их фамилии, слушал ответ. Видимо, согласовывал ситуацию: как и что делать с этими перебежчиками. В конце сказал «хэй» и повесил трубку.

Полицейский, который находился все это время в кабинете, встал, ожидая команды своего начальника. Тот что-то коротко ему сказал, и полицейский обратился к Юхану и Колотаю со словом, которое понял только Юхан, но, видимо, оно означало «пошли».

Куда «пошли», Колотай не знал, хоть по спокойному лицу Юхана он понял, что их ведут куда надо: до него дошло, что полицейский начальник пару раз произносил слово «амбасада», — по-видимому, это и есть посольство. Так выходит, что они идут в посольство? Если бы так...

Полицейский что-то говорит Юхану, они идут по улице дальше и дальше, потом сворачивают налево, здесь начинается вроде бы окраина города, еще

---

[1] Тяжело в это поверить... Хорошо... (швед.).

один поворот — уже направо — и выходят к небольшому особняку, огражденному проволочной сеткой высотой в человеческий рост, а возле входа во двор стоит полосатая будка, из нее выходит постовой в длинном тулупе и преграждает путь полицейскому и двум рослым парням.

Полицейский объясняет, что им нужно зайти в советское посольство по очень важному делу, так показалось Колотаю, когда слушал объяснение, и постовой без лишних слов нажимает какую-то кнопку на проходной, ожидает, ждут и они все: кто же выйдет? Вскоре из дверей особняка выходит среднего роста молодой человек в синем костюме, без пальто и шапки, хотя на улице мороз, наверное, ниже двадцати градусов, не спеша подходит к ним, говорит «гуд даг», останавливается взглядом на гражданских — они его интересуют больше, и спрашивает:

— Вы Хапайнен и Колонтай?

— Да, это мы, — за двоих с радостью отвечает Колотай, сразу уловив букву «н» в своей фамилии, но не стал указывать посольскому работнику на его ошибку. — Он Хапайнен, а я Колотай, бывший пленный... — и сразу отругал себя, что сказал два последних слова, будто его кто-то за язык тянул!

Дипломат не придал этому никакого значения, обратился к полицейскому по-шведски, тот кивнул, а парням сказал «пошли», и они направились в здание. Шли по чисто выметенной дорожке из цветной квадратной плитки, поднялись на крыльцо со ступеньками, с балясинами по бокам, прошли массивную, наверное, дубовую, дверь, которая сама закрылась за ними, и оказались в вестибюле, из которого можно было попасть в комнаты направо и налево. Здесь было тепло, особенно после улицы, мороза. На подставках по краям вестибюля стояли цветы, преимущественно незнакомые, разве что за исключением фикуса с блестящими твердыми листьями.

Дипломат велел парням подождать, можно даже посидеть на черном диване — показал он рукой — просмотреть газеты, журналы, которые лежат на низком круглом столике здесь же, у дивана. Сам он пошел по коридору и исчез где-то в одной из комнат.

Колотай взял первую сверху газету. Это были «Известия», понедельник, 22 января 1940 года. Вся газета была заполнена материалами об успехах Советского Союза, его хозяйства, его системы, несколько колонок занимал список организаций и учреждений, которые слали свои поздравления вождю народов Иосифу Сталину в связи с недавним его шестидесятилетием. Много материалов было о Челюскинской эпопее, о спасении героического экипажа ледокола. И, наконец, — большой очерк Бориса Агапова «Семеро» про экипаж одного танка, отличившийся в войне с белофиннами.

Колотай невольно зачитался: «...Они шли в полумраке короткого дня и в долгие ночи всегда впереди, как щит перед пехотой. Они посылали огонь, взрывая доты, и проходили сквозь препятствия такие, что, вероятно, сами конструктора их машин поразились бы непредвиденным возможностям своих творений. Их орудия стреляли без промаха. Их пулеметы валили наземь «кукушек» — белофинских стрелков, забирающихся на деревья...»

Дочитать он не успел — по коридору шли двое: тот самый дипломат и среднего роста женщина в черной одежде — юбка и пиджак, как у мужчины, только на шее у нее был бордовый длинный шарф, заброшенный одним концом назад. Волосы ее уже отсвечивали сединой, были уложены вокруг головы мягким полукругом, как венком, а лицо имело приятный, но усталый вид.

Когда дипломаты приблизились к дивану, парни встали. Колотай уловил едва заметный тонкий запах парфюмерии, но совсем незнакомый, по-видимому, местный, шведский.

— Кто тут из вас Коллонтай? — спросила женщина и тут же опередила ответ: — Не отвечайте, я скажу сама.

Она осмотрела с ног до головы сначала Юхана, потом Колотая, но не спешила делать вывод, а вернулась еще раз к Юхану, а потом к Колотаю, и твердо сказала, указав на него:

— Это ты, дорогой мой однофамилец, — и подала руку, не по-женски крепко пожала. — Как же ты здесь очутился, дорогой мой земляк? Каким ветром тебя сюда занесло?

Колотай был словно в трансе, боялся, как бы не потерять сознание или не расплакаться, не броситься обнимать эту женщину, которую он уже узнал: это она, дипломатка, бывшая жена военмора Дыбенко, которого...

— Это длинная история, Александра Михайловна, — выдавил из себя Колотай, словно ему кто-то сжал горло.

— Вот вы и расскажете ее нам, — перешла она на «вы». — Но только не здесь. Пойдем в кабинет.

Чувствовалось, что она тоже взволнована вторжением этих двух незнакомых парней, один из которых носит ее фамилию. Когда Колотай назвал ее Александрой Михайловной, она даже вздрогнула, видимо, какие-то ассоциации возникли в ее памяти, что-то откликнулось в душе на ее имя и отчество, которые она здесь, в своем коллективе, слышит часто, а вот чтобы кто-то незнакомый, кто приехал оттуда, из Союза, да назвал ее так, она, видимо, тоже отвыкла, как Колотай отвык от запаха парфюмерии. А может ее удивило, что этот парень знает не только ее фамилию, но даже имя и отчество, значит, он из Коллонтаев, не так ли?

По коридору она шла первой, парни — локоть в локоть — за ней, а дипломат, как окрестил его в мыслях Колотай, замыкал «колонну».

Зашли во вторые двери справа. Это была узкая комнатка-приемная с небольшим столом, за которым сидела молодая секретарь-машинистка и что-то печатала. Справа на двери этой комнатки красовалась блестящая латунная табличка с фамилией хозяйки комнаты или кабинета: «Коллонтай Александра Михайловна», и шрифт был не типографский, а словно от руки, писарский, с закруглениями, удлинениями и завитушками. Как хозяйка, она открыла дверь и жестом пригласила всех троих в кабинет, оставив дверь распахнутой. Здесь стоял большой канцелярский стол — двухтумбовый, из темного дерева, с телефонами и разложенными бумагами и папками, и напротив стояли два стула для посетителей. А сбоку, у окон, закрытых снаружи железной решеткой, стоял второй стол — длинный, для заседаний, покрытый синим сукном. За этим столом можно было посадить человек двадцать или больше, — так подумалось Колотаю.

Дипломатка пригласила их за стол для заседаний с конца от окна, а сама села не в торце стола, как это любят делать начальники, а напротив всех троих мужчин: крайний — дипломат, как прозвал его Колотай, потом он сам, Колотай, и рядом — Юхан. Колотай время от времени поглядывал на Юхана и хотел прочитать на его лице хоть толику тех чувств, которые сегодня, сейчас, бушевали в его груди, но Юхан казался слишком спокойным, можно было подумать, что ему немного скучно в этой новой для него компании и в таком необычном месте, как советское посольство. И если внешне он выглядел спокойным и даже безразличным, то в голове у него, наверняка, роились тревожные мысли: а что, если их здесь арестуют и отправят неизвестно куда? Это — Колотая, а его могут, в лучшем случае, сделать заложником, чтобы потом обменять на какого-нибудь советского пленного высокого ранга, которые, хоть и редко, но попадали в плен финнам.

— Ну вот, теперь расскажи, мой однофамилец, как ты сюда попал, — обратилась к Колотаю дипломатка.

Колотай посмотрел на Юхана, чтобы заразиться его выдержкой и спокойствием, но волнение не проходило, руки стали потными, дрожали.

— Если коротко, то меня мобилизовали в конце прошлого года, взяли с третьего курса Минского института физкультуры. Нас, таких как я, немного научили стрелять и отправили в Финляндию. Война уже шла. В начале наша часть имела успех, а потом пошли неудачи. Пехотный полк попал в окружение, наша лыжная бригада пошла его выручать, но сама попала в ловушку... Нас почти всех перебили... Живые попали в плен, я тоже...

Колотай чувствовал себя, как на экзамене: лоб покрылся испариной, язык спотыкался на ровном месте. Он сделал короткую передышку, которую тут же использовала хозяйка: попросила секретаршу принести чай.

Колотай стал рассказывать дальше: как попал в плен, как его потом забрал к себе финн Якоб Хапайнен, как они вместе с сыном Хапайнена Юханом — «вот он перед вами», — объяснил Колотай и этим вогнал в краску спокойного Юхана, хотя тот, возможно, и не все понимал, что говорит Колотай, — они вместе стали тренироваться, ходить на лыжах, чтобы потом махнуть за границу, в Швецию. Старался говорить коротко, но получалось долго, как-то путано.

Коллонтай иногда вставляла вопрос, он отходил от главной линии, сворачивал, потом снова возвращался.

— Страшно ли на войне? — спросила у него дипломатка.

— Страшно, особенно в начале, — ответил он. — Но если сразу не убило, то думаешь, что и потом не убьют. К этому как-то привыкаешь и тянешь свою лямку дальше.

Секретарша принесла чай на подносе, кусковой сахар и пряники в блюдце. Они пили, разговаривали, даже спорили. Хозяйка говорила с Юханом по-шведски. Оказывается, она здесь давно работает и знает язык в совершенстве.

После чая она захотела посмотреть их документы. Юхан показал свой финский паспорт, справку на имя отца как хозяина-собственника пленного Колотая. Просмотрев все, она тяжело вздохнула и сказала словно сама себе:

— Трудно во все это поверить. Но что поделать? Надеюсь на вашу совесть. — И Колотаю: — А куда девалась буква «н» в твоей фамилии? Или ее вообще не было?

Колотай не захотел ее разочаровывать и сказал дипломатично — недаром оказался среди дипломатов:

— Видно, когда-то она и была, а потом писарь сделал ошибку — и пошло без «н». Это наша белорусская фамилия, она у нас встречается довольно часто.

— Может и так, — задумчиво согласилась дипломатка. — Мои корни где-то у вас в Беларуси... Я там была в Могилеве в войну, мой отец служил в ставке Верховного командования при Николае II. Это было страшное время... И по-своему интересное... Но погибло много людей. Теперь начинается что-то похожее... Результаты тяжело предвидеть... Но вернемся к нашей встрече. Я рада, что увидела своего земляка, рада буду помочь ему вернуться на Родину, хотя не знаю, как его там встретят... Будем надеяться на лучшее...

Колотай слушал ее слова, и ему становилось легче дышать, он почувствовал, как будто тяжелый камень скатился с его души. Неужели и правда, он вернется домой? Неужели может произойти такое чудо?

— Теперь с Хапайненом, — продолжала Коллонтай. — Мы ему ничем не можем помочь, пусть решает все сам, тем более, что у него есть здесь родственники.

И она снова заговорила с Юханом по-шведски, он слушал, иногда кивал головой, время от времени вставлял слово-другое и снова слушал. Наконец улыбнулся скупо и сказал по-шведски:

— Так фёр дэ йертлига муттагандэт[1], — и склонил голову.

— Да вар со литэ[2], — ответила она тоже с улыбкой.

Колотай догадался, что это были слова прощания или благодарности Юхана за прием, который им оказали. Теперь момент прощания наступил и для них, а они как-то и не думали, что такое может произойти, да еще так скоро. Они вышли на крыльцо, постояли, глядя друг другу в лицо. Что и говорить, их сдружила общая опасность, которую они пережили вместе. Поэтому в душе оба ценили это, им было тяжело, вот так, ни с того ни с сего, расстаться и, возможно, даже навсегда. Но так складывались обстоятельства, и хорошо, что не хуже.

Они обнялись, как братья, потом пожали друг другу руки:

— Тэрвэ! — первым сказал Колотай.

— Тэрвэ, Василь! — откликнулся Юхан.

Он спустился по ступенькам и пошел к проходной, где его все еще ждал тот самый полицейский, который привел их сюда. Юхан оглянулся и помахал Колотаю рукой. «Неужели Юхану придется отвечать за переход границы? — подумал Колотай. — А мне самому? Неужели я здесь уже под защитой советских законов? Неужели я успел здесь спрятаться, и шведы и финны меня не достанут?»

Колотай вернулся в тот самый кабинет, прошел мимо секретарши, приносившей им чай, оценил ее положительно — ничего молодка.

Теперь Коллонтай сидела уже за своим массивным столом, а тот молодой дипломат перешел и сел на стуле слева. И как раз что-то говорил своему начальству конфиденциальным тоном: проверить, установить, убедиться, не называя фамилий.

Хозяйка пригласила гостя сесть на второй свободный стул возле ее стола и познакомила его со своим помощником или кем он был: один Марат Иванович, второй — просто Василь Коллонтай. Она так и сказала: Коллонтай.

— Так вот, Марат Иванович, ты должен обеспечить нашего гостя всем необходимым для проживания: спальня, постель, белье. Это бытовая сторона дела. Второе — документы. Временный паспорт, военный билет со слов. Поняли? Вам это приходилось делать? Василь, тебе — написать автобиографию. Без всякой фантазии, все как было. И про плен тоже, про гибель бригады. Трудно в это поверить, но пиши, как все было.

Она говорила и Марату Ивановичу, и ему, то «ты», то «вы», и Колотаю показалось, что она еще не воспринимает ситуацию должным образом, не успела вжиться, и хотя говорит Марату Ивановичу делать то и то, словно не уверена, что именно так и нужно делать. А может, даже, подумал Колотай, она не все решает одна, здесь у нее есть люди или один человек, без которого она ничего не может сделать, и, возможно, этим человеком и является Марат Иванович. Те его слова: проверить, установить, убедиться — и свидетельствуют об этом. Очень даже может быть...

Марат Иванович выслушал поручение, как себе, так и ему, Колотаю, и спросил только, как правильно писать фамилию: так как у нее — Коллонтай, или так как у него — Колотай?

Она подумала и сказала: Колотай. Армейские документы зафиксировали его фамилию так, иначе его не смогут найти, с чем Колотай мысленно сразу

[1] Спасибо вам за теплый прием (швед.).

[2] Не за что.

согласился. Хотя он понимал, что здесь его документы оформили бы намного быстрее, если бы его фамилия была такая, как у посла Коллонтай.

Но не мог же он одолжить себе новую фамилию или даже одну букву. Да в конце концов, не он решал, решали за него. Тот же Марат Иванович: моложавый, стройный, в синем костюме, гладко выбритый, с коротковатым носом и узко посаженными серыми глазами, с русой, слегка рыжеватой прической на пробор. На первый взгляд он производит даже приятное впечатление, а присмотревшись, Колотай почувствовал к нему какую-то внутреннюю если не антипатию, то настороженность.

Сначала Марат Иванович повел его в комнату для приезжих — так ее называли — небольшую, на одно окно, с двумя кроватями у стен, со столиком возле окна, за которым можно было писать или читать. В центре с потолка свисала трехрожковая люстра. Стены были оклеены светлыми, в небольшие, похожими на луговые цветы, обоями.

Марат Иванович показал ему на дверь в стене и сказал, что это шкаф для одежды. Показал и открыл дверь, за которой находятся умывальник, душ и туалет, без чего жизнь — не жизнь. И в конце напомнил: писать автобиографию. Посмотрел, что здесь нет ни чернил, ни бумаги, и пообещал, что ему принесут.

Колотай остался один, осмотрелся, в первую очередь разделся, повесил свою куртку в шкаф, распаковал рюкзак, в котором оставалось еще кое-что, положенное заботливой рукой роувы Марты. Странно как-то получилось: он во всем чужом, финском, с ног до головы, даже вот эти часы на руке — подарок Хапайнена, его хозяина, смешно сказать — за хорошую работу, — так выразился при прощании Хапайнен.

Прошло, наверное, четверть часа, как в дверь постучали, и на пороге показалась та самая секретарь-машинистка, которая угощала их чаем и на которую он уже положил глаз... Как рассмотрел теперь Колотай, это была довольно привлекательная молодая женщина, кругленькая, с правильными чертами лица, с гладкими темными волосами до плеч, одетая в теплый шерстяной свитер, который плотно обтягивал ее фигуру и полную грудь, в черной юбке и в коричневых ботиночках с длинными голенищами. От нее исходил тонкий запах заграничной парфюмерии.

Она прошла к столику и положила на него несколько листов бумаги, чернильницу и ручку школьной формы.

— Вот вам для работы, — мягко сказала она. — Пишите, не спешите, — сказала в рифму нарочно или случайно.

— Спасибо за совет, — ответил на ее слова Колотай и добавил: — А вы не скажете, как вас зовут?

— Меня зовут Вера, — ответила с легкой улыбкой она, — Вера Адамовна.

— Может, вы из Беларуси? — спросил Колотай, услышав распространенное дома имя — Адам. К тому же чувствовался акцент, от которого белорус не может избавиться долго, а чаще — никогда.

— Вы угадали, я из Минска, но там давно не живу... Вышла замуж за москвича, оказалась здесь, — она как будто еще что-то хотела сказать, но не решилась. — Ну, извините, я пошла. Если что — обращайтесь ко мне.

— Дзякую. Рады быў з вамі пазнаёміцца, — сказал он по-белорусски.

Она вышла, ничего не ответив. Колотаю отчего-то стало весело, а он уже и не помнил, когда с ним такое было. Не эта ли женщина засветила ему солнцем на этом пасмурном зимнем и холодном небосводе в далекой чужой стороне? Что-то очень близкое почувствовал он в ней, и даже, кажется, она в нем. Но не стоит спешить, как посоветовала Вера Адамовна, забегать далеко

вперед. Садись, братец, да пиши свою автобиографию. Она у тебя не такая большая, но последняя часть довольно затянутая, непропорционально затянутая. Нужно ее немного как-то сжимать. По времени она совсем маленькая, а по событиям — очень уж разрослась.

Он сел за столик, осмотрел письменные принадлежности: ручку с толстым маленьким пером и вогнутым кончиком, чернильницу-непроливайку с фиолетовыми чернилами. Несколько листов белой глянцевой или мелованной бумаги, как для печатной машинки: полный порядок, садись и пиши. Однако к писанию душа не лежала. Видимо, нужно сначала обдумать все, пройтись по главным, узловым пунктам своей биографии, а потом уже браться за то, что происходило в последнее время. Босоногое детство, потом школа, расширение кругозора, новые друзья, даже подруги...

Вспомнилась первая мальчишеская любовь: ему тогда было лет четырнадцать-пятнадцать. Он дружил с одним мальчиком, у которого была младшая сестра Манька — так ее называли в семье. Манька была хорошей девочкой, а для него — самой хорошей. Вот к этой Маньке и прилепилось его сердце, приросло до боли. Ходил он к другу, а фактически, чтобы увидеть ее, Маньку, и был счастлив, если ее видел, если она хоть раз глянула на него. Ее родители строили новый дом, он уже был почти готов, оставалось сложить печь, вставить окна, двери, настелить пол. У глухой стены уже стояла деревянная кровать, на которой спали старшие. Каким-то образом они вдвоем — Василь и Манька — оказались в той половине дома с кроватью, они сели на нее, он обнял Маньку, прижал к себе, она была теплая, какая-то очень своя, не вырывалась, а прижималась к нему. Они оба откинулись на спину и легли на кровати поперек, свесив ноги вниз. Он обнимал ее левой рукой за шею, она лежала на этой его руке, он чувствовал ее тело через тонкую ситцевую блузку, и медленно, незаметно, как будто девочка этого не замечала, нырнул ладонью под блузку и почувствовал там нежную мягкую птичку — ее грудку, и просто обомлел: задержал в своей ладони, немного легонько потискал, как резиновый шарик, и она отдавалась в его ладони каким-то магнетическим неописуемым теплом, которое через его ладонь расплывалось по всему телу и делало его самого не своим, он будто растворялся или исчезал, и только ладонью чувствовал прикосновение к гладкому мягкому тельцу того голубка, который сидел на ее груди под легкой ситцевой блузкой и не собирался никуда улетать. Так они пролежали несколько сладких минут, пока мать со двора не позвала ее доить корову. Манька вздрогнула, рванулась, чтобы встать с кровати, но он осторожно, даже деликатно придержал ее уже с помощью правой руки, а левой все еще ласкал, не отпускал ту милую мягкую птичку-голубку, которая так счастливо попала к нему в ладонь. За это время они не произнесли ни слова, да слова, видимо, здесь были лишними, потому что они оба чувствовали что-то такое созвучное их душам, как звучание небесного колокола, его переливов и оттенков, им ничего не хотелось ни говорить, ни делать, а только вот так тихо лежать и не шевелиться, чтобы не спугнуть этот момент нежности, так неожиданно нахлынувший на них словно весенний теплый дождь, заставший человека в поле, от которого не хочется убегать и прятаться: пусть идет!

Недаром они хотели продлить тот небывалый в их жизни момент невинного юношеского счастья: больше он никогда не повторился, как не повторяются счастливые сны. И он, будто какое-то небесное явление, останется с ним навсегда, будет идти с ним и согревать его в самые холодные лютые морозы. Возможно, именно он не дал Колотаю замерзнуть в глубоких финских снегах, в лесных заснеженных недрах...

Каким диким контрастом казалось — и было! — его далекое юношеское увлечение и суровая сегодняшняя действительность! Их никак нельзя было соединить вместе, как горячее с холодным, как огонь и снег. Однако же нужно как-то соединить: нужно отбросить лирику, всякие там сантименты. Пусть это останется для тебя, пусть его никто не знает, один ты. А в своей биографии ты пиши то, чего требует форма: где, когда, как и что — точно, сухо, убедительно. Коротко и ясно...

Сначала все шло гладко, не было даже над чем задумываться. А потом — все тяжелее и тяжелее, как та езда на лыжах по пушистому глубокому снегу: ты, казалось бы, двигаешься, стремишься вперед, а никакого сдвига нет — топтание на месте! Но не спеши — посоветовала Вера Адамовна. Куда тебя несет?

Он перескочил на другое: какая она все-таки приветливая, привлекательная женщина. Сразу бросилась ему в глаза... Может, это потому, что он был далеко от женщин все эти месяцы, отирался только возле гимнастерок, шинелей, командирских тулупов? Изредка лишь кое-где мелькала какая-нибудь женская косынка или шапочка, но и та скоро терялась среди мужских фуражек, и даже тонкий запах женской парфюмерии не успевал просочиться к нему через эту густую завесу крепкого мужского пота, табачного дыма и водочного перегара. Может, это даже и хорошо, потому что война — не для женщин.

X

Тяжело было возвращаться к действительности, потому что она совсем не такая, как далекое светлое воспоминание, она — как болезненная рана, на которой нужно сменить бинты на свежие, а чтобы это сделать, необходимо сорвать прежние, присохшие, болящие, но они уже приросли к твоему телу и стали его частью: их лучше не трогать.

Колотай отогнал от себя наваждение, прошелся по комнате. Натертый паркет слегка поскрипывал под ногами. Бог ты мой, он ходит по паркету! Когда это было? Где это было? Даже и вспомнить трудно. Может, никогда? Но ты же его где-то видел, слышал этот легкий, отличный от других звуков скрип? Может, в школе, что маловероятно, а может, в институте, в кабинете у директора, когда к нему вызывали по одному лыжников-«добровольцев», а он жал каждому руку и говорил прощальные слова, желал вернуться с победой? Может, тогда?

Снова его понесло! Что сегодня за день? Неужели эта Вера Адамовна своим видом или еще чем-то приблизила его к тем событиям, к тем людям, которые были далеко отодвинуты в сознании чем-то более важным и не столько важным, сколько более насущным, тем, чем ты живешь сегодня и будешь жить завтра, поэтому у тебя нет времени оглянуться назад, подумать, что-то подытожить, вспомнить.

Рано, рано еще тебе, Колотай, предаваться воспоминаниям. Нужно всего накопить, а потом уже все нажитое-пережитое рассматривать, взвешивать-просушивать, что отсеивать, а что класть глубже. Еще так мало прожито, хотя пережито много, особенно за последние месяцы. Ты здесь показал себя должным образом, хотя от тебя ничего, кажется, и не зависело. Все вилось-плелось вокруг тебя, вокруг твоей персоны, а ты как будто ко всему этому сам не имел отношения. Хотя и был неким как бы центром...

Он отогнал от себя воспоминания-надоеды, снова вернулся к событиям конца прошлого года, когда жизнь его завертелась, как опавшая листва, на которую налетает вихрь, и она крутится штопором, поднимается в небо все

выше и выше и аж пропадает. Он еще не пропал для себя, а для родителей, для своих, его уже нет, и неизвестно, будет ли...

Медленно он выезжает на ровную дорогу — их встречает Ленинград. Такого города за свою короткую жизнь он еще не видел. Здесь есть на что посмотреть, чем полюбоваться — с ахами, охами, с эпитетами — величественный, грандиозный, внушительный, самый-самый: Зимний дворец, «Аврора» на Неве, памятник Петру I от Екатерины II, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Александрийский столп на Дворцовой площади с «ангелом в натуральную величину» наверху... Здесь где-то на Мойке жил Пушкин, был смертельно ранен Дантесом на Черной речке сто лет назад, почти ровно... Здесь ходили Достоевский, Некрасов, в Петропавловке сидел Чернышевский и писал свой роман «Что делать?»... Разводные мосты на Неве, белые ночи...

Ах, как хорошо было бы попасть сюда на экскурсию, а не проездом на фронт! Белые ночи! Ты увидел их вблизи, и северное сияние висело у тебя над самой головой, и ты подумывал, что оно невзначай может обвалиться на тебя, и ты сгоришь в нем, как горит малая былинка в большом лесном пожаре...

Неожиданный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Сказал хрипло «входите» — и на пороге стояла Вера Адамовна. Не проходя дальше, она спросила у него по-белорусски:

— Скажыце, Васіль, дзе вам лепш абедаць? Тут ці ў сталовай?

— Калі можна, я хацеў бы тут. Не люблю кампаніяў, — добавил еще.

— Хорошо, вам принесут, — сказала она, и уже хотела идти, но задержалась и спросила: — Как ваша работа, идет?

— Идет, но медленно, — честно признался Колотай. — Особенно вторая половина.

— Война? — переспросила Вера Адамовна. — Вам довелось понюхать пороха?

— Довелось... Около двух месяцев.

— Погибнуть можно и за один день, а вы пробыли там почти два месяца. Вы просто счастливый человек, молитесь Богу!

— А я и молюсь, — серьезно ответил Колотай, — и благодарю...

Интересно, что она, комсомолка или уже партийная, заговорила про Бога. И он не постеснялся ей признаться, что молится и благодарит. Может, не стоило этого делать, чтобы не испортить биографию? Но чего тут уже бояться? Плен ее испортил окончательно...

Она ничего не ответила, только бросила от порога:

— Сейчас принесут обед, — и исчезла за дверью, на коридоре слышался стук ее сапожек.

Колотай посмотрел на свои-Хапайнена часы: скоро два. Он сел за стол, перечитал написанное, кое-что исправил, но дальше не сдвинулось — нужна была передышка.

Не прошло и десяти минут, как в дверь опять постучали, вроде даже чем-то твердым. Он сам открыл — перед ним стояла молодая темноволосая женщина в белом фартучке и наколке. Она поздоровалась, прошла в комнату и поставила ему на столик со своего подноса все, что принесла, даже не забыла прибор с солонкой, горчицей и перцем. Само собой, не забыла о ноже с вилкой из нержавейки, а не из алюминия, как в их казарме, — отметил про себя Колотай. Тарелки — глубокая с борщом и мелкая с двумя котлетами, — тоже были фарфоровые, а не алюминиевые: не та категория обслуживания.

Колотай поблагодарил, официантка ушла, внимательно посмотрев на него, будто искала повод поговорить. Запах свежей еды защекотал у него

в носу, пробудил аппетит, который спал где-то далеко. О еде Колотай в последнее время не думал, хватало забот поважней, к тому же он в эти дни путешествия не голодал, была еда, хоть и сухая: хозяйка дала им в дорогу на много дней вперед. А напитки или газировку они покупали в буфете. Сегодня он ест то, что едят нормальные люди каждый день, живя в нормальных условиях. Это справедливо, так оно и должно быть. А вот таким, как он, которые топчутся в финских снегах, приносят — хорошо, если приносят — горячую кашу в термосах, может еще какую-то рыбу или кусок мяса. Редко — три раза в день, а то два или один. А когда ребята сидят в окружении, что они там едят? Сырую или жареную на костре конину, если она еще не закончилась. А сколько наших парней попали в окружение и не имеют сил выбраться оттуда, потому что все патроны закончились, а они не могут ступить и пяти шагов в непролазную чащу, чтобы их не встретили прицельным огнем. Хорошо, если перед тобой будет голый ольшаник, заболоченная и слабо замерзшая под снегом земля, иначе ноги твои сразу увязнут, и если ты в валенках, то можешь остаться босиком, а если в ботинках или обмотках — ты еще герой, вынесешь ноги на сухое...

Ну-ну, Колотай, ты еще герой, ты уцелел, тебе еще повезло. Ему вспомнился уже забытый сон о том, как они с Юханом искали выход через густой завал, как тяжело его было найти, но они все же как-то выбрались на ровную дорогу. Тогда Колотай даже не задумался, что могли означать эти их поиски выхода, сны он не умел разгадывать, а тут оказалось, что сон сбылся: они перешли границу, выбрались на дорогу. Только дорога эта у каждого своя, и куда она каждого из них выведет, еще не ясно.

Обед был вкусный, он проглотил его разом, запил клюквенным компотом и почувствовал даже, что приобрел какую-то новую силу, которой раньше не было. Хотя, что это за еда для молодого солдата? Солдат может съесть три таких порции и не скажет, что объелся. И он в первые дни службы после усиленной муштры съедал свой обед как не в себя, а есть хотелось весь день, пока не ложился спать. Видел даже голодные сны. И такое происходило не только с ним, так было с большинством: большой расход энергии требовал восстановления.

Как по звонку, постучала официантка и собрала посуду, спросила, вкусно ли было, и осталась рада, что он похвалил обед.

— И ужин будет вкусный, вот увидите, — пообещала она с улыбкой. — У нас очень хороший шеф-повар, все его хвалят.

Стоило бы похвалить и ее, но Колотай об этом не подумал и раскаялся уже тогда, когда она вышла. С женщинами он не умел быстро сходиться, чувствовал себя каким-то скованным, стыдливым, и завидовал тем парням, которые быстро и ловко попадали в женские объятия. Такого таланта у него не было, и не раз жалел об этом, хотя и лицом, и фигурой никому не уступал, это он знал. Просто, возможно, не так легко у него был подвешен язык, что очень важно в отношениях с женщинами. Один его друг, который очень энергично умел разбивать девичьи сердца, рассказал ему по секрету, что главный козырь его успеха — это не стесняться говорить комплименты женщинам, хвалить их, возносить до небес: против такого приема не устоит ни одна женщина.

Но еще никогда Колотай таким дешевым приемом не пользовался, потому что считал его нечестным, мошенническим. Неужели женщины хотят, чтобы их обманывали всякие проходимцы? Наверняка, нет.

«Вот эта кровать будет моей», — сказал себе в мыслях Колотай, содрал с нее белое тяжелое покрывало, ровно сложил и повесил на спинку стула, а потом прилег на кровать, с удовольствием вытянувшись, и подложил руки

под голову: хорошо поваляться после сытного обеда. Немного успокоился и сразу в мыслях поплыл далеко-далеко, туда, где остался его родной дом, любимая семья, в которой он рос и набирался ума и сил, откуда пошел учиться в столицу и откуда извилистыми дорогами попал сюда, в чужой дом и чужую кровать, которая даже пахла совсем не так, как пахнет свое, родное.

Мысли его прервал стук в дверь — сегодня, кажется, уже третий раз. Это опять была Вера Адамовна. Увидев его на кровати — он сразу подхватился и сел, — она попросила прощения и сказала, что ему нужно сфотографироваться для документов, и она отведет его в фотолабораторию. Она посмотрела на столик, где была разбросана бумага, а на початом листе лежала ручка, но ничего не сказала и повела его за собой. Теперь она была какая-то другая, чем в первый раз: более собранная, сосредоточенная в себе, не склонная к контактам, будто перед этим имела неприятный разговор, а с кем — скорее всего, с начальством.

Наконец они остановились перед дверью с номером 19, и Вера Адамовна нажала на кнопку звонка на косяке двери. Через минуту дверь открыл невысокий мужчина лет сорока в белом халате поверх костюма и сказал только одно слово: «проходите», а не «заходите». Они вошли, мужчина в халате, видимо, знал о визите, пригласил Колотая сесть на стул, поставил сбоку белый экран, включил свет, который аж слепил, потом стал наводить камеру, установленную на треноге, посмотрел, прицелился, слегка повернул Колотаю голову, приподнял подбородок, сказал смотреть в объектив. «Внимание!» — предупредил и щелкнул спуском. «Еще раз, — добавил, — на всякий случай. — И повторил: — Внимание!»

На этом все и закончилось. Видно было сразу, что фотограф — специалист высокого класса. Ведь кто послал бы за границу лишь бы кого? Колотай встал, поблагодарил, и они вдвоем пошли обратно. Неужели бесплатно?

— Карточки будут завтра, а может, и сегодня, — сказала Вера Адамовна. — Забирать буду я. Но вам покажу, не бойтесь. Вам еще нужно будет заполнить анкету, я потом покажу. Чтобы вас отсюда выпустили, нужно собрать много бумажек, ой, много, хоть вы и герой.

— А сюда меня пустили без всяких бумажек, — сказал Колотай. — Нет, одна была, на имя Хапайнена, что я у него в работниках, и он меня должен охранять. А больше ничего.

— Просто вам повезло, — сказала Вера Адамовна. — Второй раз такого может не быть.

— Да уж, раз я в ваши руки попал, — пошутил — может, и неудачно — Колотай. Может, обидел Веру Адамовну?

— Если бы только в мои, то все было бы просто, — не обиделась она. — А тут еще вон сколько рук вы должны пройти... Вы не представляете...

Они остановились у его — его! — двери, и он не знал, приглашать ли ее в комнату. Чувствовал, что она не откажется. Но ошибся, она сказала, что занята и обещала зайти в конце дня, когда будут готовы фотографии. А может, еще и не будут...

Колотай вошел в комнату, поправил постель, на которой недавно лежал, но покрывалом не застилал, и больше ложиться не стал: душа была не на месте. Слова Веры Адамовны о том, что ему придется пройти еще через многие руки, неприятно откликнулись в его сознании.

Он присел к столику, но писать не хотелось — это было для него то же самое, что ковыряться пальцами в болящей незажившей ране. Именно его недавнее прошлое — та самая рана, которая еще не затянулась пленкой, еще кровоточит. Еще болит и обжигает огнем, хоть сам он даже не ранен. Да, ему

повезло, но он осужден на муки, пока будет жить. То, что пережил он там, возле Кривого Озера, как погибала их бригада под прицельным финским огнем, не даст ему покоя никогда. Почему-то захотелось плакать, чего с ним давно не было. Он плакал редко, разве только от злости, а не от боли, от неудачи или разочарования, но так, чтобы никто не видел: ни свои, ни чужие.

Вдруг его позвал в коридор сам Марат Иванович и спросил, хочет ли он видеть Юхана Хапайнена, того самого...

— З радасцю, — перебил его Колотай. — Калі можна, хай зойдзе сюды.

Колотай даже не заметил, что говорит по-белорусски, как дома. Марат Иванович вышел и через несколько минут уже вернулся с Юханом, который был одет в новую куртку серого, стального цвета с капюшоном, в теплой вязанной шапочке из шерсти тоже серого цвета. Кажется, в ней он был всю дорогу сюда, она была грубой вязки и хорошо грела.

— Тэрвэ, — сказал Юхан, хотя они расстались только утром. — Здрасте...

— Тэрвэ! — воскликнул весело Колотай. Он был просто счастлив, что Юхан зашел к нему.

Марат Иванович предложил им посидеть на диване в вестибюле, а сам пошел, по-видимому, в город. Он был одет по-зимнему: в белых бурках с загнутыми голенищами, в бобриковом пальто и в бобровой ушанке с опущенными наушниками.

— Ты нашел своего дядю? — спросил Колотай у Юхана, как только Марат Иванович закрыл за собой тяжелую дверь, еще не веря, что Юхан его понимает.

— Нашел, все хорошо — *хювя он*. Вот мой адрес, — сказал он по-русски и протянул Колотаю маленькую карточку с адресом, написанным латинскими буквами. — Напиши, когда приедешь домой.

— Спасибо, напишу. А ты напиши родителям и передай от меня *киитас*. Спасибо за их доброту, за помощь, вот за эти часы — за все!

— Напишу, — с улыбкой ответил Юхан. — Тебе здесь хорошо?

— Хорошо. Мне здесь делают документы на выезд. Понимаешь?

— Понимаю, Васил, понимаю. Я дам тебе немного денег, у тебя же нет, я знаю. Возьми вот, шведские кроны, — и он протянул Колотаю несколько сложенных пополам бумажек.

Тот просто остолбенел, вскочил с дивана:

— Юхан, ты что? Не возьму! Я и так вам столько должен. Ни за что! — он замахал руками, словно отбиваясь от Юхана.

Юхан помрачнел, тоже встал с дивана, подумал и сказал:

— Если я тебе друг, ты возьмешь эти деньги, если нет — то нет.

Такого удара от Юхана Колотай не ожидал и сразу сдался.

— Ты мне друг, мой дорогой друг, но зачем эти деньги? Зачем?

— Если я тебе друг и ты мне друг — ты должен взять. Не спорь. Друзья познаются в беде. А у тебя беда. Я должен тебе помочь. Бери.

Колотай заплакал, бросился к Юхану, обнял за плечи и прижался лицом к его плечу. Давно он не плакал, а вот сегодня ему хотелось плакать. И так оно и произошло: он плачет, как... баба, на плече у своего друга, которому он ничем не может помочь, которому не может вернуть и десятой доли того, что получил от них, Хапайненов, от самого Юхана.

— Спасибо, брат, век тебя не забуду, — глухим голосом сказал Колотай. — И родителей твоих тоже, и братьев. Живите счастливо! И пусть никто не поработит ваш край, пусть он будет свободным всегда и вы вместе с ним. Вы достойны этого, я убедился еще раз сегодня, вот сейчас. Да поможет вам Бог!

Он вытер глаза, тряхнул головой, будто желая поставить там все на место, посмотрел на Юхана, который все держал банкноты в руке и протягивал их ему и, наконец, взял, шутя поплевал на них три раза и спрятал в карман своих ватников защитного цвета.

— Теперь я буду спать спокойно, — сказал Юхан, — и спасибо передам всем своим. Ты им понравился. И мне тоже как брат. Пусть и тебе Бог помогает.

Через окно возле двери они увидели, что к зданию направляется запахнутый в тулуп постовой.

— Это за мной, — ткнул себя пальцем в грудь Юхан. — Он дал мне на встречу с тобой пять минут. Тэрвэ!

И Юхан крепко обнял Колотая, похлопал его по плечам.

— Иди, Юхан, но заходи еще ко мне. Я здесь буду, хотя не знаю, как долго. Тэрвэ!

Они пожали друг другу руки. У Колотая снова на глаза навернулись слезы. Он закрыл дверь за Юханом и пошел в свой номер. Шел тяжело как старик, еле волочил ноги — так взволновал его визит Юхана, особенно эти его деньги, которые ему и самому нужны.

В комнате он снова упал на кровать, закрыл глаза, но успокоиться не мог: Юхан не выходил у него из головы. Опасность сблизила его с этим финским парнем, и теперь расставание для него было тяжелее, чем он думал. Будто что-то свое, родное увидел, почувствовал он в нем, что-то неуловимое их объединяло, не только опасность.

А ведь их хотели сделать врагами, чтобы они стреляли друг в друга... И если бы еще немного, они и стреляли бы... Однако же они стали друзьями вопреки этим всем... Хорошо, что Юхан оказался здесь, теперь уже война не достанет его, а вот Колотая еще как легко достанет. Сколько нужно времени, чтобы оформить его документы на выезд? Неделю, две, ну месяц. А за месяц ничего не изменится, война еще будет идти, и его, как обстрелянного солдата, бросят в бой еще раз, чтобы мог искупить свою вину за плен. Очень даже может так случиться. А может случиться еще и хуже: как человека, который сдался врагу в плен — сдался, можешь не оправдываться, ничего не докажешь! — тебя посадят за решетку, или отправят далеко-далеко, в Советском Союзе есть такие милые уголки, что мир тебе покажется не то что не раем, а хуже любого ада. И там ты будешь припухать неизвестно сколько лет, пока ударной работой в шахте не искупишь свой грех перед родиной. И она устами какого-нибудь начальника лагеря скажет тебе: твое счастье, что на твою голову не свалился камень, что ты не сломался и возвращаешься домой, чтобы укреплять страну и защищать ее от врагов. Если нужно будет, родина снова поставит тебя в армейские ряды, не забывая, однако, что в тяжкую минуту ты однажды струсил и поднял руки. Второй раз такое не может повториться.

Второго раза может и не быть. Хотя... в мире всякое случается. Бывает и не такое. И не только с одним тобой. Радуйся, что все произошло именно так. Что все идет в том направлении, в котором надо. Во всяком случае, так ему кажется. Написать автобиографию — разве для этого нужно быть гением? Сел и пиши, только смело, без оглядки, пиши как было. Кто виноват, что они шли без разведки, как с завязанными глазами? Кто виноват, что им прислали нового командира как раз тогда, когда нужно выступать? Кто виноват, что он завел бригаду в ловушку? По своей слепоте или, может, по злому умыслу, по преступному плану? По тому, как все происходило, можно подумать, что был какой-то преступный план, чтобы уничтожить бригаду, чтобы подставить ее под кинжальный перекрестный огонь. Случайно бригада не могла наткнуться на такую мощную по силе огня засаду, возникает мысль, что ловушка была

заранее подготовлена: они на открытой местности, на гладком льду, как гуси на воде, а финны — все скрыты, все недосягаемые, их просто нет! Это не был бой равного с равным, это был, если говорить открыто, спланированный расстрел бригады. Вопрос только в том, кто его спланировал. На кого повесят это кровавое поражение? Или прикроются обычным: бригада на марше случайно попала в засаду. Начался бой, в котором она... погибла. Но боя никакого не было! Был расстрел! В открытом бою финны не победили бы, их было, так казалось тогда Колотаю, так он чувствовал своей шкурой, — финнов было намного меньше, но они попрятались за деревьями, чтобы видеть противника и не выставляться самим. Это был своего рода показательный учебный бой: вот вам живые мишени, ваша задача — за короткое время не дать им убежать из-под прицелов вашего оружия. Главное — попасть в мишень: в одну, две, три. Так оно, видимо, и было: каждый финн, который сидел в этой засаде, мог убить не одного, а двух, трех и больше бойцов бригады. Там она и пропала, растворилась, слилась со снегом и перестала существовать как боевая единица. Вот такая получилась финская баня...

Сколько раз Колотай делал тактический разбор этого боя-расстрела и всегда приходил к одной и той же мысли: ловушка была спланирована, подготовлена, и они попали в нее не случайно, а по наводке. Эти ракеты: красная, зеленая, потом опять красная — все было так продумано... Вот только по чьей наводке? Вопрос так и оставался без ответа. Разве мог он, обычный рядовой боец, что-то знать из того, что творилось где-то там, в верхах, в штабах, за их плечами? Может случиться, что за это время, спустя месяц после того случая, что-то там и выяснили, что-то раскопали и пронюхали советские разведчики, и имеют определенные доказательства того, что и как там произошло, кто и как допустил, чтобы такое могло произойти. Возможно, кто-то ответит за так бездарно пролитую кровь советских бойцов. А может, и нет. В мире всякое бывает. Бывает и не такое. И виноватого так и не находят. Виноват... случай!

Колотай встал, заходил по комнате. Какой долгий день! Первый день его свободы... Это хорошо, что долгий: прием у посла, приход Юхана, эти деньги, потом фотографирование, автобиография, которая все еще не написана. «Напишу, напишу», — успокаивал себя Колотай. Сегодня уже ничего не выйдет, он устал не физически, а морально, психологически: одно, второе, третье... Разве он знал вчера, еще сидя в вагоне, что его ожидает сегодня? Никогда! Вчера и сегодня — это небо и земля, это черное и белое, это столько всего неожиданного, неизвестного, такого, от чего он, Колотай, был далеко-далеко, и никогда не думал, что когда-нибудь его может забросить в такой водоворот событий.

Ну вот, стук в дверь. Может, ужин? Нет, вошла Вера Адамовна. В руке у нее был белый листик, она помахала им в воздухе.

— Кто здесь нарисован? — весело спросила она как будто у самой себя. — Ну-ка отгадайте! — уже Колотаю. — Не узнаете себя: такой строгий, надутый как мышь на крупы. А чего? Нужно радоваться, а не...

Она подошла к Колотаю, показала ему снимки: два с одной стороны, два с другой, повернутые «ногами» в середину.

Колотай взял, присмотрелся: действительно, с трудом узнал себя — нахмуренный, даже как будто скривленный, словно у него болят зубы или живот.

— Еще хорошо, что и так. Могло быть и хуже, — успокоил он себя, — не люблю смотреть в объектив... Как под прицелом...

— Привыкайте. И не забудьте, что на вас уже заведено личное дело. Там будет и одна из этих фоток. А бумажки будут поступать постепенно, но неуклонно. Первая — ваша автобиография. Как идет работа?

— Начал, но до конца далеко, — ответил Колотай.

— Не тяните. Машина завертелась, — как-то поучительно сказала Вера Адамовна. — Может, вам помочь? — спросила совсем другим тоном, каким-то таинственным, заговорщицким.

— А как вы поможете? — удивился наивный Колотай.

— Очень просто, в четыре руки, как на пианино. Видели?

Признаться, он такого не видел, но знал, что это такое.

— Я согласен, — ответил Колотай, не зная еще, что скрывается за этими ее словами. Неужели здесь какой-то двойной смысл?

— Тогда ждите меня в двенадцать, — сказала она серьезно, забрала у него фотографии и вышла.

Такого поворота Колотай не ожидал и стоял некоторое время как оглушенный. Она придет к нему... в двенадцать? Ничего себе ситуация! Стало как-то не по себе: а если это ловушка? Раз — и готово, туда — пожалуйста, назад — ни с места. Что же делать? Хотя не стоит заранее пугаться. Не может быть, чтобы она пошла на подлость, на обман... Интересно, что ей пришло в голову? Неужели она увидела в нем приятного партнера или любовника? Но какой смысл? Он здесь гость, их дороги разойдутся раз и навсегда. К тому же она замужем... была, а сейчас — нет? Скорее всего, да. Она просто тоскует, надоело одиночество. А здесь какой-то случайный... перебежчик из одной страны во вторую, а из второй — в третью. Стоит ли с ним связываться? А может, именно потому и стоит, что он сегодня здесь, а завтра — там? *Тэрвэ*, как говорят финны, *хэй до,* как говорят шведы. Да что тут гадать? До двенадцати не так много и осталось... Но ты же сейчас, Колотайчик, будешь колотиться, как поросячий хвостик, ждать то неизвестное, с чем она придет. Что-то не верится, что ему такая птичка сама идет в руки. Неужели он попал под счастливый дождь везения, который начался с того момента, когда он получил прикладом по голове, но остался жить и попал в плен, а потом попал к хорошему человеку, который помог ему вырваться на волю? Да что тут гадать? До двенадцати остается все меньше и меньше.

Ужин, который принесла все та же невысокая черноволосая официантка, был вкусный, как она и обещала днем, но он ел его как-то механически, как не своим ртом, думая о том, что сказала ему Вера Адамовна. С одной стороны, это его сильно интриговало как молодого мужчину, который за это время — последний месяц — видел вблизи только свою хозяйку Марту, а их отношения были самые деловые: работа, еда, домашние хлопоты — и все. Было спокойно и просто, как в обычной жизни. А тут вдруг что-то невероятное, одновременно интригующее и пугающее.

Было еще довольно светло в комнате, и он сел за столик, стал перебирать свои наброски к автобиографии, какие-то мысли, пойманные на лету, отдельные эпизоды войны. Постепенно-понемногу он входил в ту атмосферу, в то состояние, в котором был тогда, хотя сам чувствовал, что переживать мысленно в душе то реальное, пережитое наяву — это небо и земля. Разве можно сравнивать состояние человека, попавшего в ледяную воду, с тем, когда он уже выбрался из нее, обсох, отогрелся и стал сравнивать свои ощущения, тогдашние и теперешние, ища сходства и различия в этих ощущениях? Ему показалось даже, что оценка тех событий, в которых он варился, совсем не такая, как теперь, что они смотрят на то, что происходило, и сейчас на то же самое — совсем разными глазами, и складывалось такое впечатление, что тогда был один Колотай, а сейчас — совсем другой, это уже даже не копия, а два человека, совершенно разные. И ему стало до боли обидно, что он никак не может вернуться в то состояние, в котором был тогда, и в то же время

понимал, что такое невозможно: тогда было одно, сейчас — совсем другое. Сегодня — бледная копия того состояния души, тех событий.

И это даже хорошо, что человек не может вернуться в прошлое, иначе он, если ему это приятно, и топтался бы там, и жил бы прошлым, не заботясь о сегодняшнем дне. Надо смириться с тем, что с прошлого можно снять только копию. Пусть она и будет похожей на то, что было, однако же это лишь копия, слепок, как художественное полотно-пейзаж, останется только картиной, той же бледной копией живой природы, величественной, неповторимой, единственной в своем роде.

Написание пошло быстрее, он уже начинал входить в роль, вживаться в ту стихию, в которой варился месяц-два назад, он снова почувствовал холод финского мороза, пушистую мягкость глубокого снега, бесконечную белизну окрестностей, засыпанного лебединым пухом подлеска, внезапные выстрелы «кукушек», крики раненых, дикое ржание напуганных выстрелами измученных лошадей, тянущих по глубокому снегу передки и пушки, резкие слова команд уставших до смерти и оглушенных алкоголем командиров, которые требовали от своих подчиненных железной выдержки и непрекращающегося наступательного порыва. Становилось даже холодно, мороз пробегал по коже, леденил лицо, слипались ресницы, смерзались веки, а настывший воздух через открытый рот обжигал бронхи и заходил даже в легкие, вызывая кашель, отдающийся в голове холодным хмелем.

Который был час, он точно не знал, потому что не смотрел на часы, но, будто очнувшись от наваждения, увидел, что уже почти темно, а он еще не включает свет, не завешивает окно. Да, без света было лучше, он не бил в глаза, не сбивал мысли с того направления, которое вырисовывалось как-то само, без всякого принуждения. Все шло туда, куда нужно, а именно к тому месту, где в глубоком снегу лежали окоченевшие трупы советских бойцов, которые шли «освобождать» эту землю от ее исконных хозяев — от финнов. Но не «освободили, не завоевали, а сложили головы на ней как захватчики, как завоеватели. Даже земля их сразу не приняла, она еще не готова это сделать, она скована морозом, она засыпана метровым ковром снега. Вот какой вам прием — чужеземцы — чужаки...

Когда-то и шведы приходили на нашу белорусскую, тогда еще литовскую, землю, а вместе со шведами — и сегодняшние финны, потому что тогда они были частью большой шведской империи, и воевали, и умирали за ее интересы. Вот так и шведы, и финны с ними полегли в нашу землю, и старые курганы еще до сих пор разбросаны по нашему краю и, как писал Янка Купала, «курганы о многом нам говорят». Теперь на финской земле будут курганы-могилы с восточными пришельцами, чтобы следующие поколения помнили о событиях недавнего времени и делали разумные выводы: не нужно войн, не нужен захват чужих земель. И еще: основа жизни — своя земля, береги ее от чужаков. Не отдавай никому, защищай, даже ценой большой крови.

И вдруг Колотай вздрогнул: скрипнула дверь, тихо вошла Вера Адамовна, одетая в темное пальто, укутанная пуховым серым платком, как будто она только с улицы, но обутая в теплые тапки, стала на пороге, Колотай бросился к ней, она отдала ему пальто, а платок спустила с головы на шею, волосы рассыпались по плечам, лицо стало узким, и глаза светились из-под черных бровей, как лесные огоньки-светлячки, снова тонкий аромат незнакомой парфюмерии дошел до него.

— Ты думал, что я не приду? — спросила она громким шепотом, перейдя на «ты». — Скажи, думал? — она все еще не отходила от порога, как бы оставляя себе дорогу для отступления.

Колотай тоже, как окаменевший, стоял с ее пальто, не знал, что с ним делать. Наконец повесил в шкаф в стене, подошел к Вере Адамовне, смело обнял ее за плечи, крепко прижал к своей груди и сказал, задыхаясь, как будто ему не хватало воздуха:

— Нет, не думал. Я был уверен, что ты придешь, — тоже перешел на «ты» Колотай. — И вот не ошибся.

— А ты смелый, — сказала она в его объятиях. — Я думала, испугаешься: вдруг какая-то там... — она не закончила.

— Какая «какая-то»? Моя землячка, очень привлекательная женщина. Разве этого мало?

— Я еще привлекательная? — напрашивалась она на комплимент.

— Я уже сказал. Я могу повторить еще сто раз, — он был в плену ее женских чар и мог сделать все, что захотела бы.

А что она могла сказать ему, молодому... беглецу, бывшему пленному, бывшему красноармейцу? Но она сказала то, чего он не ожидал.

— Знаешь, Василь, я в тебя влюбилась... с первого взгляда. Такого со мной давно-давно не было. И что мне делать — не знаю...

— Что делать? — как захмелевший, переспросил Колотай. — Бросай все — и поехали со мной.

Она успокоилась в его объятиях, замолчала, будто решалась на что-то важное. Колотай с нетерпением ждал.

— Если бы все было так просто, я так и сделала бы, — сказала она и легко освободилась из его объятий, прошлась по комнате. — Но много всяких этих «но». Я здесь всего год, но мне нравится работа. Она очень тяжелый человек, глубокий, образованный, иногда горячий, иногда рассудительный. С ней мне очень интересно, я у нее многому учусь. И она ко мне успела привыкнуть. Хотя мы и разного возраста, но мы дружим, как ровесницы-сослуживицы. У нее тяжелая, сложная судьба: муж репрессирован, она — дочь царского генерала, революция... Но что это я о ней? Ты, наверное, в душе уже смеешься: нашла тему! Говори лучше о нас, вот об этой минуте. Как нам ее использовать, чтобы мы ее запомнили? Чтобы она осталась нам как большой праздник, как кульминация наших отношений. Ты согласен?

Она подошла к его кровати, отбросила одеяло и стала раздеваться, ничего не говоря и не спрашивая у него разрешения.

А что ему оставалось делать? Он подошел к двери, забросил в пробой защелку и сам тоже стал раздеваться: кто быстрее?

Она разделась первой, в полумраке комнаты блеснула белизной своего тела и спряталась под одеяло, пододвинувшись к стене.

Как пьяный, он подошел к кровати, взял край одеяла и немного отбросил, оголив ей грудь и живот. Груди у нее были пышные, круглые, еще торчали сосками вверх, как у молодой девушки, и он, стоя у кровати, прильнул к ним руками и губами, стал ласкать их и целовать, теряя власть над собой. Она трепетала всем телом, стонала, как раненная, выгибалась, будто ей болело внутри, наконец, обхватила его руками за плечи. И он почувствовал, как ее руки зовут-тянут его в постель, к ней, а он все никак не мог оторваться от такой роскоши, какой не знал-не ведал уже давно, а может, даже и никогда. Это был момент непередаваемый, неповторимый, это была большая и могучая по своей силе прелюдия к счастью. И вот он рядом с ней, их тела сливаются в одно, они дышат слаженно, бурно, танец любви захватывает их, как вихрь, мчит все дальше и выше, они задыхаются, сердца их готовы разорваться от полноты счастья, от неимоверной радости чувствовать друг друга бесконечно.

Но, к сожалению, они сгорели быстро и одновременно: затихли, обнявшись, дыхание их постепенно становилось спокойнее, сердца уже не вырывались из груди, а возвращались к нормальному, хотя еще и ускоренному темпу. После грозы наступает затишье, когда все входит в свои берега, когда хочется тишины и спокойствия, нежности и спокойной радости, чтобы сохранить в своей памяти величие того момента, который ураганом промчался по их сердцам, их чувствам, их существам.

Но вскоре они поняли, что силы опять возвращаются к ним, что все оживает снова, а потерянный рай еще не потерян навсегда, что он где-то близко, и его нужно ждать, нужно искать и звать. Их губы, их руки делали как бы какую-то невидимую, несложную, но спланированную операцию, вызывая или пробуждая те чувства, которые сгорели недавно в огне желания, но не до конца, что они, как птица феникс из пепла, возвращаются из небытия, разрастаются, оживают, постепенно наполняя тело новой силой и новым желанием. И оно, это желание, все крепнет, все разрастается и охватывает все уголки сознания, все члены организма, и ты уже опять чувствуешь себя на коне и готов к погоне за счастьем, за радостью жизни... Постепенно плотская сила, которая возвращается к ним, снова начинает кружить им головы, застилать глаза, и они уже ничего не видят, они только чувствуют: она — его, он — ее. Все начинается сначала, и как бы издалека, спокойнее, чем первый раз, когда всех чувств было через край, когда они рвались друг к другу, как пересохшие губы к родниковой воде. Сейчас было спокойней. Более рассудительно, без лишней спешки, только все более слажено, созвучно, сливая два тела в одно.

Ее груди пьянили, бунтовали кровь, лили ему в грудную клетку горячую струю, доводили до бешенства. Не те девичьи маленькие грудки, к которым он невинно прикасался в юности, и которые казались ему чем-то святым, неприкасаемым, а эти ее пышные груди призывали согрешить, перейти границу человеческой пристойности и вместе, вдвоем, отдаться безоглядному безумию, безудержной погоне за миражом счастья. А там — будь что будет. Главное — то, что сейчас: вот оно, счастье, бери его, пока оно не исчезло, пока оно рядом! Вот она, эта женщина, которая извивается под ним и чувствует что-то такое, что и он, а может, еще более острое и приятное, чем все сладчайшие вещи в мире. Они оба ведут свою мелодию как бы по отдельности, но чувствуют друг друга все острее и острее, они начинают сливаться в одно целое, когда уже нельзя остаться и быть одному, когда нужен партнер, без которого то большое и мощное потрясение, ожидающее тебя впереди, может поблекнуть и превратиться в ничто. Я беру наслаждение и счастье не только себе, я даю наслаждение и счастье ей, и потому мое счастье еще больше и слаще, чем оно было бы только мое; то же самое чувствует и она, потому что отдает себя, отдается во власть мою без остатка, до последней клетки своего молодого горячего тела. Вот она, вот она игра в четыре руки: ее слова.

В этот раз игра продолжалась долго, они смогли наслушаться ее мелодий, натешиться нюансами и переливами, почувствовать неповторимую гамму человеческих чувств, раскрывающихся полностью только вот в такие минуты взлета человеческой сущности, когда дух и тело, душа и плоть сливаются в одно целое, как две половинки-семядоли гороха или фасоли, образовывая одно зерно, дают жизнь новому растению. Одно тело, без души, было бы ничем, оно не поднялось бы до той вершины неземного счастья, если бы его не вела именно душа, которая потом переходит от того, кто зачинал, к тому, кто появился на свет. И эта душа, наверняка, тоже состоит из двух половинок: одна — его, другая — ее. И так от самого начала — до самого конца, которого не будет никогда... конца... не будет... никогда...

Но сегодня у них конец игры был, хотя они оттягивали его, слегка как бы тормозили, чтобы оттянуть момент наслаждения на потом, в то время как сначала они к этому наслаждению спешили, как могли — оба. Даже не они сами, все происходило подсознательно, естественно, как заученный урок. Вот они уже на каком там небе: может, на четвертом, на пятом, но их тянет еще выше, на самое седьмое, чтобы с его высоты увидеть-почувствовать те горизонты, которые в обычных обстоятельствах никогда не увидишь и никогда не почувствуешь... Был ритм, был темп, была согласованность, созвучие, они чувствовали друг друга, как, видимо, чувствуют себя близнецы в чреве матери: каждый незначительный поворот, каждое движение, каждое прикосновение, касание, каждое колебание души — все передавалось от одного к другому. Чтобы только не разминуться с моментом наслаждения, чтоб не обойти его стороной, а испить чашу до дна, до капли...

— Вера, — шептал он пересохшими губами, — ты мое счастье... Неземное... небесное... — и еще говорил какие-то слова.

Но слова его были ничто в сравнении с тем, какой он чувствовал ее всем телом, всей душой, всем своим существом. Она была всем, была его вселенной. До вершины оставался один шаг — и было седьмое небо — они задыхались, как от долгого бега, их сердца готовы были выскочить из груди. Вера вскрикнула, содрогнулась всем телом, будто ее ранили в самое сердце, мелко задрожала. Он испугался за ее жизнь: неужели с ней может случиться что-то плохое? Она всхлипнула, прижала голову к его груди, заплакала сильнее. Но только на момент руки ее безвольно упали, показалось, что она уснула.

— Что с тобой? — спросил он, приподнявшись на левом локте и заглядывая ей в лицо. Глаза ее были закрыты, волосы рассыпаны по подушке. Она вздрагивала всем телом, дышала открытым ртом часто и сильно, но чувствовалось, что она приходит в норму.

— Ничего, Василек, ничего, — выдохнула она. — Прижмись ко мне крепче, чтобы я тебя чувствовала, — попросила тихо. — Я была далеко-далеко... Боюсь, что когда-нибудь я оттуда не вернусь...

— Что ты говоришь, Верочка моя, я не понимаю тебя, — испугался он. — Я тебя никуда не отпущу... И никому не отдам...

Она ничего не ответила на его слова, и он больше не допытывался: у каждого человека есть какие-то свои тайны, в которые не нужно лезть.

Они лежали рядом обессиленные, беспомощные, вычерпанные до дна, медленно начинали как бы входить каждый в свое «я», которого до этого у них не было, а было только одно — одно «мы» — и больше ничего на свете.

— Хочется пить, — как сквозь сон, сказала Вера Адамовна.

Колотай встал с кровати, взял на столике стакан и хотел налить из графина воды, но она остановила его:

— Не нужно. У меня в пальто лежит бутылочка. Принеси мне...

Он достал плоскую бутылочку из ее кармана, отвинтил крышечку, понюхал: пахло ликером или коньяком, он слабо в этом разбирался.

Он дал ей в руку бутылочку, она присела на кровати, голая ее грудь дразнила своей белизной и своими круглыми, немного овальными формами с сосками по центру. Она поднесла к губам бутылочку, глотнула несколько раз, отдышалась, потом повторила еще раз, и отдала ему.

— Выпей и ты, если хочешь, — сказала и легла на подушку, не прикрывая грудь, словно хотела его подразнить.

Он, не отрывая взгляда от ее соблазнительных форм, попробовал напиток, стал смаковать: скорее всего, это был коньяк. Набрав полный рот, он проглотил жидкость и почувствовал, как горячий след прошел по груди и исчез где-то

в желудке. Глотнул еще раз и закрутил крышку, поставил на столик и пошел к кровати. Вера, словно нехотя, подвинулась к стене, давая ему место рядом.

— Твоя грудь... — сказал Колотай и припал к ней губами, стал целовать и ласкать, аж задохнулся. — Твоя грудь — что-то неземное. Ты это знаешь?

— Нет, — ответила она довольно спокойно, — два ненужных бурдюка... для детей.

— Нужных, — поправил ее Колотай. — И детям, и тому, кто их делает, извини за примитивность.

— Не всем, — не согласилась Вера. Она деликатно отстранила его от себя, положила его руки вдоль тела, будто готова была спеленать его, как младенца. — Скажи, что ты больше ценишь в женщине: нижний бюст или верхний, говоря упрощенно. Только не виляй!

— В тебе — верхний, — слегка «вильнул» Колотай. — Но ведь не у всех женщин он такой, как у тебя. Грудь женщины — самый сильный магнит, к которому тянутся мужчины, — подумал и добавил: — Возможно, я ошибаюсь, но я сам такой.

— А почему же ты не удовлетворился этим... магнитом?

— Ну, в этом уже твоя заслуга, а не моя вина, — выкрутился он.

— Я не знала, что ты такой шустрый, Василек, — шутливо похлопала она ладонью его по лбу. — Но думал ли ты, что будет завтра? Вернее, это уже даже сегодня...

— Нет, не думал, — ответил он честно.

— Хорошо, что сказал правду, — она задумалась на минуту. — Я хотела бы остаться у тебя на ночь, но боюсь за свое сердце. И за твое тоже, Василек: ты слишком горячий. Поэтому я пойду. Спасибо тебе за... все, — и крепко поцеловала его в губы.

Она встала, оделась в полумраке, забрала свою бутылочку и пошла. Но запах ее тела еще долго кружил ему голову. Так много хотелось сказать Вере, но не знал, с чего начать. О чем-то спросить... Ладно, в другой раз...

Но... другого раза не получилось. Вот как бывает!

Вместо эпилога

Осенью 198... года на Октябрьской площади в Минске встретились два человека. Один был высокий, худощавый, спортивного телосложения мужчина лет шестидесяти, и невысокий, тоже худощавый старый дед, уже слегка сгорбленный, с седой головой и носатым, худым, как у ученого доктора Амосова, лицом. Первый был наш знакомый Василь Колотай, которому повезло вернуться из финского плена, пройти всю войну с немцами, а после войны стать учителем и осесть в Минске.

Второй был Исаковский Кузьма Семенович, полковник в отставке, бывший командир полка в финской кампании зимой 1939—1940 годов. Его пехотный полк попал в окружение, на выручку ему была брошена бригада лыжников, где служил Василь Колотай.

Полковник Исаковский забирал внучку, которая училась играть на скрипке во Дворце профсоюзов, и уже собирался вместе с ней садиться в троллейбус, когда подошел Колотай:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться!

Полковник вздрогнул, как от удара, выпрямился, словно принимая командирскую позу, и с недоверием посмотрел на высокого худощавого человека

в гражданском костюме светло-серого цвета и в соломенной шляпе, который чего-то от него хочет, к тому же знает его воинское звание.

— Что-то вас не узнаю, — поморгав, сказал полковник.

— А я вас сразу узнал, товарищ полковник Исаковский. Вы командовали полком, который попал в окружение. И наша бригада вас выручала, но безуспешно.

— Неужели вы меня узнали? Удивительно! — воскликнул полковник. — А как ваша фамилия?

— Моя фамилия Колотай, но вы меня не знаете. Я был рядовым.

— Жаль-жаль, — вздохнул полковник. — Но это дело надо отметить... вы не поедете с нами? Это недалеко, возле вокзала, за подземным переходом.

У Колотая было свободное время, и он согласился. Троллейбус довез их до вокзала, они прошли по подземному переходу, маленькая внучка — ей было лет десять — несла футляр со скрипочкой и шла первой, а мужчины за ней.

Они оказались на небольшой площади с автобусной остановкой, маленькими магазинчиками. Колотай попросил подождать его, чтобы идти не с пустыми руками. Полковник нехотя согласился, и Колотай прихватил пару шоколадок и пузатенькую бутылочку болгарской «Плиски»: все-таки как-то смелее.

Хозяйка, жена полковника, медлительная полная женщина, тоже в годах, накрыла на стол, и вскоре они уже сидели и пробовали «Плиску» из круглых хрустальных рюмок, закусывая сыром, докторской колбасой и шпротами. У хозяйки что-то скворчало на кухне, оттуда долетал приятный запах, она заходила к ним в гостиную, все ахала да охала, что вот нашелся человек, который знает ее мужа.

Полковник был рад новому человеку, к тому же еще товарищу по финской войне, после нескольких рюмок «Плиски» он оживился, покраснел, стал вспоминать и рассказывать.

Он подошел к книжному шкафу, взял том энциклопедии и стал читать именно то, что давно знал и читал Колотай, и, видимо, все те, кому пришлось побывать в «финской бане». Цифры были просто убийственные: ширина укреплений на фронте — 135 км, глубина — до 95 км, полоса обеспечения — глубина 15—60 км; главная полоса — глубина 7—10 км, вторая полоса на расстоянии от первой — 2—15 км, еще тыловая полоса; всего свыше 2000 досов (долговременных огневых сооружений) и дзосов (древоземляных), которые объединены в опорные пункты по 2—3 доса и 3—5 дзосов. Главная полоса обороны состояла из 25 узлов сопротивления, которые насчитывали 250 досов и 800 дзосов. Опорные пункты защищались постоянными гарнизонами (от роты до батальона включительно). Только в полосе обеспечения было поставлено 220 км проволочных заграждений в 15—45 рядов, 200 км лесных завалов, 80 км гранитных надолбов до 12-ти рядов, противотанковые рвы, эскарпы и многочисленные минные поля...

Полковник закончил читать, отдышался и добавил от себя:

— Даже читать — и то тяжело... А каково было нам, которые все это своей кровью поливали, своими телами устилали? И зачем было голой грудью идти на эти укрепления? Пусть бы они стояли на память финнам: какие они были умники, как умели работать, когда страх их подгонял. Сколько средств ухлопали! А вот мы, смелые умники, все это захотели сокрушить малой кровью, могучим ударом. Оказалось — большой кровью, бездарными ударами, кулаком в стену, или, лучше сказать — лбом в стену!

Колотай слушал и удивлялся, что у полковника такие непатриотичные мысли в голове. А он ожидал, что полковник станет хвастаться, как они били финнов, как ломали линию Маннергейма, как намеревались захватить по льду

столицу финнов Хельсинки, как когда-то мятежный Кронштадт, но финны испугались и запросили мира...

Полковник разгорячился, Колотай не ожидал от него такого темперамента, и ему было интересно слушать: человек много пережил, много видел. Он рассказывал, как их полк оказался в окружении. Лес, болото, снег до пупа. Сидели, как в снежном мешке, не было пищи, съели всех лошадей из взвода конных разведчиков. Собирались сжигать полковую документацию — на случай, если их захватят в плен. Ждали подмоги со дня на день. А ее все нет. Лыжная бригада, которая шла их выручать, сама попала в ловушку. Было сделано хитро: прислали из штаба армии офицера на место одного комбата. Утречком тот комбат и комбриг Данилин пошли на рекогносцировку. Комбат — Мартэнс, его фамилия — убивает Данилина, возвращается, возглавляет бригаду и ведет как будто выручать окруженный полк. Выводит на открытое место — озеро в лесу у дороги, и объявляет привал. Бригада теряет бдительность, расслабляется, и тут — красная ракета. Кому сигнал, какой — бригада не знает. Зато знают финны: они открывают шквальный огонь по бригаде из леса со всех сторон. Комбат Мартэнс куда-то исчезает, бригада остается без головы. Вот так ее и расстреляли без всякого боя. Хотя у наших солдат были автоматы, ручные пулеметы. Все напрасно! Все полегли. Весной, когда растаял снег и отошла земля, наши ездили хоронить полегших бойцов, больше тысячи человек. Уцелела одна боковая походная застава, единицы попали в плен. Среди них — и он, Колотай.

Вспоминая, полковник не мог сдержать слез, за что получил выговор от более сдержанной Анны Матвеевны.

— Ну что ты плачешь, как баба? — успокаивала его жена. — Разве ты виноват в их гибели?

— И я виноват! Мы все виноваты, что развязали эту глупую войну, — снова стал горячиться полковник.

— А разве войны бывают умными? — парировала жена.

— Войны бывают справедливыми и несправедливыми, дорогая моя. Эта война, отечественная, была справедливая, на нас напали, мы оборонялись... А финская — захватническая, я так считаю. А как ты, Василь?

— Я тоже. Захватчиков всегда нужно бить. Чтобы знали, что чужое — это не свое, каким бы вкусным оно не было, — ответил Колотай.

Жена полковника слушала его как-то особенно внимательно, вроде как улыбалась про себя, а потом сказала:

— Вы так хорошо говорите по-белорусски, что я заслушалась. Но зачем вам этот белорусский язык, если есть русский, и все вокруг говорят по-русски? Зачем вам белорусский?

Тут уже не выдержал полковник и возмутился:

— Что ты говоришь, Анна Матвеевна, — зачем белорусский? А почему Василь должен говорить по-русски, если он белорус? Он говорит на своем родном языке и правильно поступает. А вот ты сколько уже живешь на белорусской земле, среди белорусов, а не можешь выучить десятка слов. Твоя внучка уже хорошо читает по-белорусски, может говорить довольно правильно, а ты...

Полковник не закончил фразу, наверно, хотел сказать что-то крепкое, да только махнул рукой и сменил тему:

— Давай, друг, выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу... кто умирал на финском снегу.

— За их светлую память, — добавил Колотай.

Они подняли свои рюмки и выпили до дна.

Анна Матвеевна не оставалась в долгу у мужа, вставила свои пять копеек.

— А за что ты проливал свою кровь, за что наши солдаты умирали, если не за то, чтобы русский язык был интернациональным, чтобы на нем говорили во всем мире? Ответь мне на это, товарищ полковник!

Полковник вытаращил на нее глаза, посмотрел, словно пронзил. Колотай боялся, чтобы он не запустил в нее своей рюмкой.

— Не за это, дорогая моя, не за это! Если мы будем делать так, как ты говоришь, от нас отвернется весь мир. Мы должны нести свободу всем народам, пусть они живут по своим законам и говорят на своих языках. Время навязывания наших порядков прошло. Народы хотят быть хозяевами своей судьбы, ты это понимаешь, дорогая Анна Матвеевна?

— Если мы будем делать так, как ты говоришь, мы скоро останемся с носом. Вот увидишь. Но я думаю, наше кремлевское руководство так не считает, и не допустит того, чтобы все разбежались в разные стороны, куда хочу, туда и ворочу. Нет, такого не будет, вот увидишь.

Полковник сидел не шевелясь, пока она это говорила, а потом обратился к Колотаю, видимо, как к третейскому судье:

— Скажи, друг, ты как белорус можешь принять такие суждения и жить по ним, как по закону?

— Нет, товарищ полковник, и вы, дорогая Анна Матвеевна, по такому распорядку мы, белорусы, да и все остальные — украинцы, литовцы, грузины, казахи — жить не согласны. Мы благодарны русским за помощь, за хорошее отношение, но мы сами можем управлять своим государством, быть хозяевами, а не наемными работниками, которым дают программу, что и как делать. Некоторым кремлевским деятелям это не нравится, но времена меняются, и песни тоже меняются. А что кровь мы проливали вместе — это факт. Только в Германии мы ее проливали за свободу и справедливость, а в Финляндии — за ничто.

Он поймал себя на том, что говорил, как с трибуны, как-то слишком казенно, а не по-человечески, как говорят люди за столом.

— Вот видишь, Анна Матвеевна, ты остаешься в меньшинстве, ты одна, а нас двое. Может, и внучка Катя будет тоже за нас... Как ты, Катерина, за кого голосуешь? — обратился он к внучке, которая здесь же в гостиной, на диване, что-то читала, листала большую иллюстрированную книгу.

Девочка подняла голову, посмотрела своими круглыми глазками на дедушку, на бабушку, на гостя и сказала по-русски:

— Я в политику не лезу, мне еще рано, но дед стоит на прогрессивных позициях, а бабка наша немного отстала от времени.

Мужчины захохотали, а Анна Матвеевна обиженно поджала и без того тонкие губы и вышла на кухню.

— Устами младенца глаголет истина, — подвел итоги опроса полковник Исаковский. И продолжал: — Однако мы тут говорим о чем угодно, а ты о себе ничего не рассказал. Как ты попал в плен к финнам, как бежал. Это же так интересно! Хоть вкратце поведай. Может, это и тяжело, я понимаю, но носить все в себе еще тяжелее.

Колотай в общих чертах рассказал свою эпопею: как была расстреляна бригада, как исчез командир, как его, Колотая, стукнули прикладом по голове и взяли в плен два финна, как потом попал к Хапайнену и через какое-то время вместе с его сыном Юханом, которому нужно было идти на войну, сбежал в Швецию. Как нашли советское посольство, Александру Коллонтай, которая думала, что он ее родственник. Ему стали готовить документы на выезд. А потом ни с того ни с сего арестовали, с неделю продержали в подвале,

после чего под конвоем по морю отправили в Ленинград. Там снова посадили за решетку, месяца два водили на допросы, били не жалея, требовали, чтобы признался, что завербован шведской разведкой. Наконец война с Финляндией закончилась примирением, его дело закрыли, а самого отпустили на все четыре стороны.

В этой истории он не упомянул только о случайном и коротком романе с секретарем-машинисткой Верой Адамовной, которую потом долго искал после войны, но не нашел.

Полковник слушал внимательно, даже ни разу не перебил, а в конце его рассказа заметил:

— Знаешь, ты это все кому-нибудь расскажи, кто умеет писать, выйдет интересная вещь. Очень интересная. Трудно поверить, но это же было, ты сам свидетель. Или возьми и сам все опиши, ты же грамотный человек, учитель.

— Не все так просто, как кажется со стороны. А вы сами, товарищ полковник, разве мало пережили и на финской войне, и на немецкой, а вот же не нашли человека, чтобы он это описал. И сами не взялись, хотя тоже можете писать.

— Что ты сравниваешь? — не согласился полковник. — Я уже на финише, сил нет. А ты еще молодцом, тебе и карты в руки. А я тебе расскажу и про ту, и про эту. Обе отпахал, от начала и до конца, от звонка до звонка, как теперь говорят, был ранен несколько раз, под конец занимал генеральскую должность. После войны возглавлял Внештатный отдел по переселению немцев, за зиму переселили более пяти миллионов... Если все это описать — большая книга получится... Так вот, давай договоримся: приходи, я буду рассказывать, ты записывай. Согласен?

Что мог ответить Колотай? Согласиться сразу? Рискованная вещь...

— Так, с налету, я вам не отвечу, товарищ полковник, нужно все взвесить, оценить обстоятельства и принять решение. Помните, как на войне вы это делали? И не раз, и не два... Я подумаю и скажу вам.

На этом они попрощались. Его финская история как-то поблекла на фоне того, что довелось пережить полковнику Исаковскому. И жаль, если все это не записать, не оставить потомкам. В конце концов, главное — записать, а там уже будет видно, возможно, найдется человек, который сможет на этом материале сделать что-то стоящее. Может, и он сам, Колотай, наберется храбрости да засядет за непривычную для себя работу. Потому что время не стоит на месте, время подгоняет...

И еще одна есть у него забота: нужно съездить в Финляндию, встретиться с Хапайненами.

Перевод с белорусского Алексея ТИМОФЕЕВА.





МИХАИЛ ПОЗДНЯКОВ

Как желал я твоей тишины

Поэтам

Кричим или шепчем о вечном,
Не спим над строкою стиха —
Мечтаем про век человечный
И жаждем творить на века.

Живем в бесконечной погоне,
И важных, уверенных нас
Небесно-крылатые кони
Несут на заветный Парнас.

Но жизнь нам устроит дожинки,
Еще и не кончим молоть,
Как слов наших знаки-крупинки
Потребует взвесить Господь.

* * *

Колодец скрипнул за окном,
Ведро по срубу загремело,
Колодец долго был без дела,
Зиял пустынно темным дном.
Колодца суть — в простой воде,
В живой извечной круговерти.
Такая ж цель и у людей:
Служить добру — до самой смерти.

Маме

Незабываемая,
Милая, добрая мама,
Мое солнце,
И песня моя, и весна,
Вспоминаю
И, кажется, слов нежных мало,
Чтоб сказать о тебе,
Ты такая —
Одна.

Сквозь беду и невзгоды
Протянулась дорога —
И сегодня по жизни
Ты ведешь,
Как вела.
В бесконечной разлуке
Ты всегда издалека
Укрываешь меня
Светлой силой тепла.

Я иду и несу
Эту силу живую
По дорогам земным
В неприветливый свет.
Пред тобою навек
В неоплатном долгу я, —
Отдаю его людям,
Как твой материнский завет.

О, моя ненаглядная,
Светлая мама,
Мой нижайший поклон,
Дорогая, прими,
По дорогам крутым,
Как учила ты,
Прямо
Я иду,
Чист пред Родиной,
И тобой,
И людьми.

* * *

Заполонила осень
Грустью белый свет
И нет в душе твоей
С минувшим слада.
И больно ворошить
(То знает лишь поэт)
В саду далекое —
Не листья листопада.
По высохшей, отжившей,
Разбросанной листве,
Как по судьбе
Знакомой мне, чужому,
Припоминая все
В прозревшей голове,
Идти, как по себе,
По саду неживому.

* * *

Снова ночь загрустит у окон,
На постель лягу в маминой хате.
Прогоняя усталость и сон,
Память-дума на сердце накатит.
И покажется, пряжу прядет
Мама рядом, присев у кровати,
Вот на лоб мне ладошку кладет,
По усталым рукам нежно гладит.

Самопрядка поет все, шумит,
Что-то мама вослед ей выводит...
Просыпаюсь я — пчелка гудит
И кузнечики «жнут» в огороде.

Выключателем щелкну — светло.
Выйду в ночь, на крылечке присяду.
Материнское вспомню тепло —
Как живую, потрогаю хату...

Родной деревне

Как желал я твоей тишины —
Отдохнуть после шумной столицы,
Слышать снова дыханье весны,
Слушать гомон рассветной криницы.

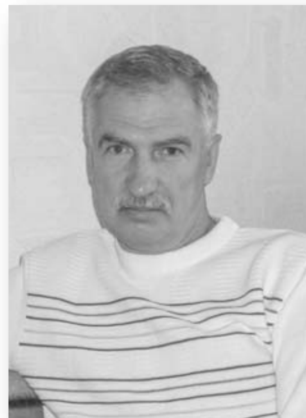
Как желал я твоей чистоты —
Красотой насладиться святою,
Что струят в полисадах цветы,
Причаститься живою водою.

Как твоих мне хотелось щедрот,
От которых был в детстве счастливым,
Тех щедрот, что дарил огород,
Сад малиновок спелых, наливов.

А приехал — в печали застыл,
Скорбью тяжкою полнится сердце:
Бузиной, дурнотравьем густым
Заросла сказка чудного детства.

Онемела, хоть сам замолкай,
Смотрит хата пустыми глазами...
Сказка детства моя, не смолкай,
Свет в душе не гаси сквозняками.

Перевод с белорусского Валерия ГРИШКОВЦА.



ВАЛЕРИЙ НЕХАЙ

Дары святых мощей

Два рассказа, навеянные романтикой московских улиц

Бабушка! Я иду!

У бабушки третью ночь бессонница.

Странен мир бодрствования. У кого-то это думы горькие, терзающие душу и днем и ночью, у кого-то болезни. И прежде бабушка не отличалась здоровьем — за шестьдесят уже. Но если раньше и побаливало сердце, то будто мимоходом. Ущипнет раз-другой и отпустит. Но последние три дня боль перешла все границы: будто ежик перекатывался по ребрам. Бабушка со счета сбилась, сколько раз за ночь прикладывалась то к валерьянке, то к валокордину. А толку! Лежа без сна, бабушка ругала врачей и капли, сообща не могут справиться с гадким ежиком. А ей, как никому другому, жить надо еще лет пятнадцать, ведь у нее на руках мальчик-инвалид. Говорят, есть и другие лекарства, которые помогают. Но дороги. Однажды зашла в аптеку. Посчитала то, что в кошельке, прибавила, что оставалось дома в шкатулке. А жить потом на что? Пенсия маленькая, пособие на мальчика — еще меньше, а помощи со стороны никакой. Пока здоровье позволяло, бабушка прибиралась у коммерсантов в магазинчике. Прибавка не ахти какая, но выручала. Но после двух приездов «скорой» в магазин, бабушку заменили на Ахмеда. Немолодой таджик дворничал недалеко, возле метро Третьяковская. Сначала бабушка крепко обиделась на азиатов. Чего им не живется в их ташкентах? Разве там не надо подметать улицы или мыть полы в магазинах? Потом, правда, обида прошла. Не он, так другой бы нашелся. Вот и придумала бабушка, как поправить семейный бюджет. Церковь рядом, возле метро Третьяковская, православные, слава богу, не перевелись, инвалид в наличии. Испокон веку повелось на Руси, что убогие тянулись туда, где подавали: к церквям. Бабушка решилась. Господь поймет и простит, а если не поймет, все равно простит. Тут не просто инвалид-ребенок. У бабушки пока хватает сил привезти мальчика на коляске по выходным к железной калитке церкви, которая никогда не закрывалась.

Для мальчика такие поездки стали вроде игры, где правила всегда одни и те же. Не проси. Не разговаривай. Не отвечай на вопросы. Гляди по сторонам, изучай жизнь. Никто такого правила не устанавливал, само определилось. Что впустую лежать, пичкать себя всякими грустными мыслями? Бабушка встала, по привычке капнула в стакан, выпила. Хорошо пахнет и на том спасибо. Глянула на будильник — скоро шесть. Сегодня воскресенье, церковь откроют в семь. Комната тонет в темноте, квадратной полутьмой навис потолок, спустив черный шнур люстры. «Тихо как, — думает бабушка, — будто и не Москва, а моя деревня». Заправив постель, бабушка пошла на кухню, где спал мальчик.

Тогда еще были живы родители мальчика, дочь бабушки и ее муж, когда поставили на кухне кровать на случай запоздалых гостей. Хороший выход для «однушки», если кухня позволяет.

Мальчику исполнилось три года, когда он с родителями ехал в автомобиле и попал в аварию. Они ушли мгновенно, может, даже не поняли куда? почему? А мальчик месяц боролся за жизнь в палате с трубочками и приборами. Жизнь отстоял, но судьба уготовила ему инвалидное кресло. Так бабушка стала опекуном внука и москвичкой. Все произошло настолько быстро, что дом в деревне с живностью пришлось передать под присмотр сестры, а сама она отправилась в Москву оформлять разные документы. Скоро два года, как бабушка живет в Москве. Но что ей Москва? Она ужалась для бабушки в одну улицу, где жила дочь, с несуразным названием Пятницкая. «Может, — думала бабушка, — рядом тянутся Четверговая или Субботняя...» В ее деревне хоть и одна улица, зато названа в честь первого космонавта, Гагарина. Неужто перевелись герои и передовики производства, чтобы московской улице носить их имя? Однажды бабушка решила дойти до конца Пятницкой, узнать, в чем тайна названия. Терпения не хватило.

Мальчик еще спал. Рядом с кроватью стояла инвалидная коляска. Вчера бабушка с трудом перенесла мальчика в кровать. Отдышалась и едва не разрыдалась. Ей все труднее приходилось доставать его из кровати, усаживать в кресло, а вечером возвращать обратно. Хоть убогий, а растет. Господи! Как же она будет справляться с этим через два, три месяца? А выносить мальчика на улицу с третьего этажа...

В доме, в котором жили бабушка и мальчик, часто не работал лифт. Прежде, чем вывезти коляску с мальчиком, бабушка выходила в коридор и жала на кнопку, проверяла. Иногда расстроенная, возвращалась в квартиру:

— Опять пешком.

В будни, когда лифт не работал и мальчик оставался дома — полбеды. Бабушка неторопливо спускалась по лестнице и отправлялась по делам. Труднее приходилось по выходным дням. Сначала она выносила коляску, оставляла ее возле скамьи у подъезда и торопилась назад за мальчиком. Иногда бабушке везло, если кто-то из соседей брался помочь ей. Но такое случалось редко, а звонить в соседние двери бабушка не решалась. Раз помогут, два, а потом и здороваться перестанут. Мальчик — ее крест и взваливать его на чужие плечи нельзя.

Через неделю ему исполнится пять лет, но бабушку не занимал предстоящий день рождения. Знала, что он пройдет без гостей и веселья. Родственников у бабушки в Москве не было. И какое может быть веселье, если не получится подарить мальчику игрушку или купить что-нибудь вкусненькое. Если сегодня подадут у церкви, она сможет выкроить на торт или конфеты.

В первый месяц бабушкиного «бизнеса», пока фигура мальчика на коляске не примелькалась, подавали хорошо. Хватало не только на колбасу с яйцами. Бабушка иногда выкраивала на чекушку. Проверенное русское средство отгородиться от лиха. Бывало, дома глядит на мальчика, украдкой всплакнет, не выдержит, уйдет в комнату и в одиночестве приложится. Вроде отпускало. Будто кто запруду разворошит и все грустные мысли, которые накапливались за последние дни, уносились мутным потоком. А может, то был просто самообман, ведь все оставалось на своих местах. Но не она это придумала, беду горькой заливать, а вызрело в народе, значит, не ей отменять. Но со временем, то ли душа у бабушки зачерствела, то ли обвыклась жить с горем, но перестала выпивать. Жизнь вошла в привычную колею и покатилась дальше. Другие мысли, заботы овладели бабушкой. Не дай бог умереть, кто же тогда мальчика поставит на ноги. Не в прямом смысле, тут диагноз врачей был

категоричный: инвалид до смерти. Правда, жила надежда на выздоровление, призрачный, не всегда доступный мир бытия, до которого так охоч человек в минуты отчаяния. «Пойдет! Обязательно пойдет. Господь не оставит нас». С такими мыслями каждый раз после молитвы она покидала церковь. Бабушка достала из кармана флакончик с валерьянкой, капнула в стакан, выпила. Скорее для порядка, чем для пользы.

Подошла к кровати, на которой спал мальчик, перекрестила его.

— Господи! Спаси и сохрани раба божьего Ванечку. Пошли выздоровление.

Задумалась. Может, потому и нет облегчения ни ей, ни мальчику, что они рабы Божьи, не люди. «Какой же он раб, Господи! Ведь ангел! Сущий ангел спит в кроватке! О малом прошу, Господи. Укрепи силы в моих руках и ногах, когда выношу Ванечку, не дай мне упасть».

Мальчик проснулся, увидел бабушку и улыбнулся. Так повелось, что когда бабушка входила на кухню к мальчику, он просыпался. Почему так получалось, ни мальчик, ни бабушка не знали. Получалось и все.

— Пора? — мальчик потянулся, забросив руки назад.

— Уже шестой час, — сказала бабушка.

— А церковь открыта?

Каждую субботу и воскресенье мальчик, проснувшись, задавал один и тот же вопрос. То ли в надежде, что бабушка ответит отрицательно и тогда можно поваляться в постели, то ли удостовериться, что пора собираться. Опаздывать нельзя. Мальчик знал, что первая служба начинается в семь и надо успеть до ее начала к месту, когда верующие будут проходить мимо него.

— Она открывается в семь, ты же знаешь.

— Знаю. Я просто спросил. Мы сегодня идем?

— Сегодня воскресенье. Вчера пропустили.

Субботу они провели дома. У бабушки разболелось сердце, она не рискнула выходить, тем более, с мальчиком. В будни не было смысла везти мальчика к церкви, прихожан там почти не бывает. Сердце сегодня, слава богу, не так беспокоит, как вчера, терпимо, но если опять закапризничает, бабушка попросит за утренней молитвой, чтобы не остановилось ненароком. А боль она стерпит, не привыкать. Бабушка знала, что мальчик любил, когда его привозили к церкви. Мир удушливой квартиры (форточки не открывались даже летом, бабушка боялась сквозняков) был давно изучен, скучен и надоел. Зато там, сидя в кресле у кованой калитки, он каждый раз видел по новому этот знакомый уголок Москвы, что будоражило сознание, навевало разные мысли. Вот вспыхнула голубым светом реклама прачечной на стене дома напротив церкви. Раньше стена была серой, похожая на кусок асфальта; вот загорелся фонарь рядом с домом и осветил боковую стену газетного киоска, изрисованную мальчишками; вот пробежала собака — откуда? чья? — опустив морду, занятая своими мыслями... Как всегда торопятся, толкаются пассажиры метро на станции Третьяковская. Все, что примечал мальчик, забавляло его. Он забывал, зачем он здесь и только когда кто-то из прихожан бросал деньги в его сумку, он будто переносился в другой мир. Лицо его мрачнело, он опускал глаза и терпеливо ждал, когда отойдут. Прихожане не глядели в глаза мальчика и он, будто понимая их состояние то ли брезгливости, то ли сострадания, тоже старался не встречаться с их взглядами.

— Сегодня мороз, — сказал мальчик и приподнялся на локтях, чтобы выглянуть в окно, но кроме обледенелых крыш соседних домов ничего не увидел.

— Откуда ты знаешь?

— По телику слышал.

— Врунишка. Наш телик не работает.

— Зато работает у соседей, — мальчик откинулся на спину. — Я слышал сквозь стену. Ночью минус двадцать, а днем минус пятнадцать.

— Ладно, получу пенсию, вызову мастера. К твоему дню рождения будет у нас телевизор.

— Сколько живут люди? — вдруг спросил мальчик.

Бабушка замерла. Не очень хороший вопрос, когда в доме инвалид и старый больной человек.

— Кто сколько сможет, — тихо, неуверенно ответила бабушка. Подумала, глядя в окно, и повторила уже громче: — Кто сколько сможет.

Самой бабушке ответ понравился, он был кратким и правильным. Ведь недаром говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай».

— Почему папа и мама не смогли жить дальше?

Теперь разберись, кто прав, кто виноват в той аварии.

— Мы об этом никогда не узнаем, — ответила бабушка.

Она поняла, что надо переменить разговор, иначе этот чертенок своими вопросами загонит ее в угол. Бывало такое не раз, что бабушке приходилось хитрить, чтобы не отвечать на вопросы мальчика. Надо перевести все в шутку или задать встречный вопрос, чтобы отвлечь его.

— А ты молодец, — сказала бабушка, — уже пять лет прожил. Если будешь послушным, проживешь долго-долго.

— Пять лет — это много?

Вопрос мальчика прозвучал для бабушки с подтекстом: «Я долго еще не смогу ходить, ведь мне уже пять лет».

Бабушка глянула на мальчика. Глаза его горели так, будто кто-то включил внутри два фонаря. Бабушка отвернулась, собираясь с мыслями.

— У тебя настоящая жизнь впереди, — сказала она.

— Сейчас она ненастоящая? — мальчик помолчал, глядя в потолок и продолжал: — Я так и думал, что теперь со мной все понарошку. Придет время, и мои ноги сами побегут. Правда, бабушка?

— Правда. — И, не давая мальчику продолжать этот разговор, спросила, как бы нехотя: — Ну, рассказывай, как сегодня играл в футбол. Много голов забил?

Вот уже несколько дней мальчик видит один и тот же сон, а утром рассказывает о нем бабушке. Он играет в футбол с мальчишками во дворе и каждый раз забивает гол.

— Сегодня во сне я не играл в футбол. — Голос мальчика стал грустным. — Просидел всю игру на запаске. Левая нога болела.

«Выдумщик, — подумала бабушка. — Что еще ему остается, как не выдумывать». И вдруг бабушку будто ударило током. Быстро подошла к кровати, откинула одеяло:

— Какая нога болела?

— Я же сказал, левая, — мальчик шлепнул себя по коленке. — Ой, больно.

— Больно? — бабушка провела ладонью по ноге мальчика.

— Щекотно. Не надо, — мальчик хохотнул и оттолкнул руку бабушки.

«Мертвое не болит и не боится щекотки, — думала бабушка. — Господи, неужто...» — Бабушка перекрестилась и чтобы еще раз удостовериться, что не ослышалась, начала слегка ощупывать ноги мальчика, спрашивая: — Здесь? Или здесь?

— Внутри болит, — улыбнулся мальчик.

— А правая ножка болит?

— Она жмет. Там где пальцы.

Бабушка накрыла мальчика одеялом, подошла к образам, перекрестилась.

— Хорошо, что болит, — сказала бабушка.

— Чего хорошего? Тебе не больно, — мальчик от возмущения отвернул лицо.

Бабушка собралась объяснить мальчику, почему хорошо, но передумала. Вдруг ее предположение не подтвердится. «Завтра обязательно поеду к врачу», — подумала бабушка, а вслух сказала:

— Заболталась я с тобой, а завтрак не готов.

— Что сегодня?

— Яичница.

— Опять? — мальчик скривил губы. — Конфеты есть?

— Конфеты вредны. Зубы станут такими, как у меня. Показать? — мальчик вертел головой, улыбался. — На горшок хочешь?

Бабушка потянула мальчика с кровати. Он обхватил бабушку за шею, ерзал тощей попкой, помогал, как мог, чтобы скорей свесить ноги с кровати.

— Все. Нормально сидишь?

— Да. Только с луком.

— Знаю, ты любишь яичницу с луком.

Бабушка занялась приготовлением завтрака, а в сознании бушевала утренняя новость, нагоняя то чувство радости, то огорчения. Если Ванечка пойдет на поправку, ему придется покупать обувь и брюки, в лучшем случае, раз в полгода, а то и чаще. Но где взять денег? Размеренный быт, к которому бабушка и мальчик так долго привыкали, мог быстро разрушиться. Снимут пособие на мальчика, к церкви его уже не привезешь, грешно. Чувство сожаления шевельнулось в душе бабушки, но она тотчас его прогнала. «Господи, прости мои мысли, пошли выздоровление Ванечке». Мальчик, сидя на горшке, опустив голову, выводил на полу невидимые фигуры.

— Хочешь, я дам тебе бумагу и карандаши, — предложила бабушка.

— Нет. Когда я рисую пальцем, не видно, как я нарисовал, и думаю, что получилось хорошо.

— Что ты сегодня рисуешь? Собаку?

— Да. Прошлый раз, когда я был возле церкви, она опять приходила, стояла рядом и глядела на меня. Она хорошая. Я дал ей немного яичницы.

— Так ты обманываешь меня, когда говоришь, что все съел? — бабушка улыбнулась. — И давно ты стал врунишкой?

— Как ты не поймешь, мы же друзья, — мальчик помолчал и продолжал уже спокойней. — Она вчера приходила, а меня не было.

— Не переживай, сегодня ты с ней встретишься.

— У меня хвост не получается, — мальчик шлепнул ладошкой по полу.

— Как ты узнал, ведь ничего не видно.

— Я чувствую, что не получается. Выходит мочалка, которой ты меня моешь. Она сегодня не придет, — мальчик глубоко вздохнул.

— Кто? Собака?

— Да. Она обиделась. Какая она собака, если вместо хвоста у нее мочалка! — мальчик стал глядеть на бабушку. — Давай ее возьмем к нам домой. Еду ей покупать не надо, я буду отдавать половину своей.

— Вдруг эта собака чья-то, а мы заберем. Нехорошо.

«Плохо, что сегодня мороз, — думала бабушка. — Мало будет людей в церкви».

— Зачем тогда ее выгоняют на улицу, — не успокаивался мальчик.

— Чтобы собаке не маяться в доме, ее отпускают погулять, пока хозяин на работе. Теперь понятно?

Мальчик промолчал, только с обидой взглянул на бабушку.

«Сегодня надену ему отцовскую шапку, — решила бабушка. — Волчий мех самый теплый. Ничего, что большая, зато уши и голова в тепле».

— Пойдешь в отцовской шапке? — спросила бабушка и во второй раз за утро испугалась своих слов. Казалось, должна привыкнуть к тому, что понятие «ходить» для мальчика не существует, но по старческой невнимательности то одно неуместное слово выскочит, то другое. Поглядела на мальчика — слава богу, не обратил внимания.

— А если отберут? — мальчик хитро улыбнулся, глянул на бабушку. — Кто побежит? Забыла?

Как такое забыть? Бабушка зашла в церковь, мальчик остался один возле калитки. Тут и появился этот паренек, шустрый, наглый, лет на пять старше Вани. Схватил сумку и был таков. Все произошло так быстро, что мальчик не успел испугаться. Когда понял, что произошло, расплакался, да так сильно, что бабушка, вернувшись, с трудом его успокоила. После этого бабушка пришила к сумке две веревки и завязывала их вокруг ноги мальчика. Когда затягивала узел, спрашивала:

— Не жмет ногу?

Мальчик смеялся, вертел головой.

— Она еще не живая, забыла что ли?

Бабушка конфузилась, но старалась не подавать виду.

Бабушка ушла в комнату и вернулась с шапкой. Оглядела ее.

— Хороший волчища был! — сказала бабушка. — Я завяжу шапку на два узла. Если сорвут, то с головой, — улыбнулась. — Тебе не страшно, если сорвут с головой?

— Лучше с этой ногой, — мальчик хлопнул рукой по своей ноге.

— Почему с этой?

— Она болит, и я не могу играть в футбол.

— И сейчас болит?

— То болит, то не болит.

В то утро лифт работал, и они благополучно спустились вниз. «Хорошо, что ночью не было снега», — думала бабушка, толкая перед собой коляску по утоптанному тротуару.

Шапка на голове мальчика съезжала то на левый бок, то на правый, и он ее постоянно поправлял, жаловался бабушке.

— Зато тепло, никакой мороз не страшен, — отвечала она.

— Нос кусается.

— Ты его потри рукой.

— Тогда рука кусаться будет.

— А ты ее быстро в варежку. Маленький, что ли.

Хотела спросить, не замерзли ли ноги, да вовремя остановилась. Каждый раз, обувая мальчика на улицу, бабушка испытывала странное чувство стыда и неловкости, будто совершала что-то ненужное. Сначала она надевала толстые вязаные носки, а потом валенки. «Ничего, что ноги у Ванечки не ходят, но раз они есть, значит хоть чуточку, но живые. А живое надо беречь».

Добрались до церкви. Метро уже работало. Широкий бетонный рот подземки выбрасывал наверх толпы людей, и человеческие потоки растекались по сторонам. Придавленная тьмой, в морозном оцепенении, бесшумно, как рыба в аквариуме, просыпалась Москва. Церковь уже открыта, но прихожан еще нет.

Бабушка установила коляску с мальчиком, огляделась. Подошел Ахмед, тот самый, который занял место бабушки в магазине.

— Доброе утро, матка.

Бабушка обернулась, не ответила. Глаза у Ахмеда, как всегда, не улыбчивые и тоскливые.

— Сюда давай, — Ахмед показал рукой в сторону от калитки. — Ахмед снег убрал, мусор убрал. Чисто.

— Ладно, спасибо. Мы здесь, — привычно отвечала бабушка.

— Ой, мороз, мороз... — говорил Ахмед, перекладывая метлу из руки в руку, глядя то на бабушку, то на мальчика. — Лучше туда. Метро, — показывал рукой. — Там народ много, деньги дадут.

«Вот басурман, привязался», — подумала бабушка, а вслух сказала:

— Здесь наши, православные.

Ахмед что-то буркнул, отошел. Зимой и летом Ахмед носил ватник, на ногах сапоги, на голове красную вязаную шапку. Глядя на него, невозможно было определить его возраст. И вообще, он производил впечатление человека, которого случайно соткал московский воздух, вдохнул в него жизнь и поселил тут навеки.

Бабушка достала из кармана матерчатую сумку с тесемками, привязала к ноге мальчика. Молилась про себя: «Пошли, Господи, выздоровление этой ножке, и другой тоже, чтобы мой Ванечка забивал голы не только во сне».

— Не замерз? — спросила бабушка. Мальчик завертел головой, шапка съехала на бок. Бабушка поправила ее. — Ты в этой шапке похож на чертенка.

— Не хочу на чертенка. Хочу на футболиста. Зайдешь?

Каждый раз, закончив с мальчиком, бабушка заходила в церковь помолиться. Но сегодня решила изменить привычке.

— Сейчас домой. Забыла лекарства, а сердце что-то... Потом зайду, — бабушка помолчала. — А ты жди. Я быстро.

В разговоре не заметили, как к ним подошла женщина, спросила:

— Ваш ребенок?

Бабушка растерялась. Глаза женщины глядели сурово, осуждающе.

— Нет, — тихо солгала бабушка. — Подошла, а он тут... — достала кошелек, положила в сумку мальчика сто рублей.

— Господи, что же это делается! — воскликнула женщина и взмахнула руками. — Мороз сегодня, а эти побирушки не уймутся. Детей приспособили, — женщина наклонилась к мальчику. — Ну, признавайся, ты же не убогий. Чего молчишь? Ты разве инвалид?

Мальчик не понимал, что от него хочет эта большая тетя, от которой так вкусно чем-то пахнет. Он испуганно глядел то на бабушку, то на женщину. Бабушка хотела признаться, что это ее внук, что он действительно инвалид, но не успела. Женщина сотворила руками в воздухе какую-то фигуру и молча прошла вперед. Перед тяжелой дверью перекрестилась и вошла в церковь.

Мальчик и бабушка глядели друг на друга. Бабушка от обиды и стыда едва не расплакалась.

— Как мы ее обманули! — воскликнул мальчик. Было видно, что это происшествие он воспринял как игру.

— Да уж... — тихо ответила бабушка. — Ты был на высоте.

— Жадюга! — продолжал мальчик и, достав деньги из сумки вернул бабушке. — Это не считается, да?

— Пусть лежат, — бабушка поглядела на небо. — Скоро светать начнет.

— Что такое инвалид?

Два года бабушка старалась, чтобы никогда в присутствии мальчика никто не произносил этого слова, а когда это произошло, она не знала что ответить, причем надо было ответить так, чтобы мальчик никогда больше об этом не спрашивал. Подумав, бабушка сказала:

— Наверное, это иностранное слово, я не знаю, что оно означает. Зачем тебе это?

— Я так спросил.

— Я пойду. Не скучай. Ахмед не обижает?

— Нет. Он хороший. Один раз шоколадку дал, смешно так рассказывает.

— Смешно?

— Ну, говорит так... Сразу не понять.

Напрасно бабушка жала на кнопку лифта — он не работал. «Господи, хоть бы к возвращению Ванечки наладили, — подумала бабушка. — И чего я на него взъелась? Лифт такой же старый, как этот дом, как я, как Москва».

Остался один пролет до двери бабушкиной квартиры. Бабушка остановилась, отдышалась. Приложила руку к груди. «Потерпи, сейчас выпью валерьянки и даст бог, ты успокоишься. А может, тебе лучше валокордин? Что же ты молчишь? Кроме, как болеть, ничего не умеешь, даже слова сказать. Она у двери. Вошла. Но вместо квартиры, оказалась в своем саду, в деревне, и ее любимая яблоня тянет к ней ветки, шумит листвой. «Она же замерзнет, зима...» — думает бабушка, протягивает руки к яблоне и падает в темноту коридора.

Рассвело. На площадке перед церковью голуби перелетали с места на место, поджимали одну лапку, замирали, как статуэтки. Улица неторопливо наполнялась шумом, толпы людей стали гуще. Недалеко Ахмед мел мусор, ловко подхватывал его совком, поглядывал на мальчика.

Прихожане в одиночку и парами шли мимо мальчика. Одни выходили из церкви, другие входили и некоторые прихожане бросали в сумку мальчика деньги.

Мальчик вертел головой, искал бабушку, а увидел собаку. Рыжая дворняга, прихрамывая на одну лапу, вышла из-за угла дома. Остановилась, стала принюхиваться. Увидела мальчика, вильнула хвостом и заковыляла в его сторону наперерез толпе. Кто-то из прохожих ударил пса под хвост. Пес заскулил, завертелся юлой на месте. Все это видел мальчик. Он, что есть силы закричал, хотел кинуться на помощь и неожиданно для себя встал во весь рост. Мальчик испугался и заплакал. Одной рукой он держался за коляску, другой хватался за воздух. Ахмед подскочил к коляске, упал на колени, обхватив мальчика, держал его и шептал что-то по-своему.

— Бабушка! Я иду! — шептал мальчик, но ему казалось, что он кричит об этом так громко, что слышит вся Москва.

«Дары святых мощей»

«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

Так говорила Матрона Московская.

Когда подруги подошли к Покровскому монастырю, колокол чуть слышно пробил несколько раз. Недалеко от монастыря вдоль бордюра стояли автобусы. Паломники не спеша выходили, оглядывали ночную Москву, пританцовывая, разминали затекшие ноги. Издалека ехали.

Бывая в монастыре, Вера по номерам научилась распознавать, какой автобус, откуда приехал. В этот раз один был из Украины, другой из Беларуси. Номера третьего автобуса не видно, он был заляпан грязью.

— Отлично, — Вера тихо покачивала коляску, в которой спал ребенок. — Такая прорва людей растянет очередь часа на три. Прибавь сюда еще москвичей. Но кому-то повезет, если не пожадничают.

Подруга Веры Катя, худенькая, в куртке, в шапке с помпончиком, похожая на подростка, топталась рядом.

— Ага, повезет, — сквозь зубы процедила Катя. — А кому-то не очень. Пробирает морозец.

— Да, курточка на тебе жиденькая, — Вера оглядела подругу. — Забыла тебя предупредить с вечера, чтобы ты одевалась теплей. Прости. Хотя сейчас двенадцать, а днем вообще будет меньше десяти.

— Днем, а сейчас еще ночь. Зато ты нагрузилась, как баба базарная, — Катя усмехнулась. — Я тебя в этой шмотке сразу не узнала.

— Зато тепло, — Вера поправила шапку на голове. — И соответствует моменту. Не шубу же надевать. Замерзла?

— Терпимо, — Катя махнула рукой. — Мы же не долго. Дай закурить, что ли. Утром торопилась, свои сигареты забыла.

Заплакал ребенок, Вера наклонилась к коляске, зашептала что-то неразборчиво. Катя щелкнула зажигалкой, несколько раз затянулась.

— Как ты куришь такую гадость!

Вера повернулась к Кате.

— Как родился Юрочка, я бросила. Сигареты не мои. Костя, когда уходил, оставил блок. Не выбрасывать же. Хорошо, что захватила, как чувствовала, что пригодятся.

Пока подруги переговаривались, стоя посреди тротуара, паломники сбились в группы, направились к воротам монастыря. Вязкая, зимняя ночь не торопилась покидать Москву. В проемах домов зияли черные дыры, из которых выныривали пока еще редкие автомобили, вылупив желтые глаза фар, шурша колесами, разлетались по улицам. Пешеходы, жамкая сапогами по свеженькому снегу, обтекали подруг то слева, то справа. Казалось, Москва не засыпала, а прикрылась на время черной махрой и затаилась. Катя сделала последнюю затяжку, щелчком отбросила окурок.

— Вер, глянь, еще один автобус подкатил. Медом намазаны эти мощи, что ли? — Вера не слушала Катю. Оглядывалась с таким видом, будто попала в незнакомое место и не знала, что делать дальше. — Эй, подруга, — Катя потянула Веру за рукав. — Не проснулась?

Вера с какой-то задумчивостью поглядела на Катю, перевела взгляд на монастырь. Из-за забора выглядывали белые приземистые строения, разрушая композицию московских высоток. Улица опустела. Вера будто подыскивала нужное слово, молчала. Наконец, негромко ответила.

— Не обращай внимания, ничего особенного.

Действительно, ничего особенного этим утром не произошло, если не считать одного недоразумения. Рано утром Вера с коляской спустилась на лифте вниз в своем подъезде, подошла к входной двери, нажала на красную кнопку.

Та пискнула, но дверь не открылась. Вера еще раз нажала на кнопку, надавила плечом, но дверь ударялась во что-то, будто снаружи подложили камень. Вера зло ударила дверь ногой, задела коляску. Проснулся ребенок, заплакал.

— Ну, миленький, не плачь. Спать, спать, — Вера качала коляску, скрип пружин звонко разносился по этажам. — Не пускает нас дверь. Плохая дверь. Но мы же не лыком шиты, правда? — Вера глянула сквозь узкое окно двери на улицу, увидела Катю. Та уже ждала ее возле подъезда. Внезапно дверь сама широко распахнулась. «Чертовщина», — подумала Вера.

— Ну, наконец-то! — Катя пошла навстречу Вере, помогла спустить коляску. — Проспала?

Вера покрутила головой, оглянулась в надежде увидеть то, что мешало открыться двери, но там ничего не было. «Наверное, не мой день сегодня, —

подумала Вера. — Хоть возвращайся». Настроение было испорчено, вдобавок разболелась голова.

— Кать, у тебя случайно цитрамона нет? — спросила Вера. — Башка разламывается, а домой не хочется возвращаться.

— Да что там может болеть! — улыбнулась Катя. — Кость сплошная, — постучала себя по голове. Шутка не произвела впечатления, Вера оставалась хмурой. — У меня никогда не болит голова, зачем он мне. Что-то случилось?

Вера махнула рукой.

До улицы Таганской, на которой находился монастырь, было недалеко. Шли молча, разговор не ладился. Вера все еще находилась под впечатлением происшествия с дверью. Будто какая-то сила не хотела выпускать ее, о чем-то предупреждала. Катя, видя, что подруга не настроена разговаривать, не лезла в душу.

Последняя группа паломников скрылась за воротами монастыря. Подруги по-прежнему стояли на месте, и Катя начала терять терпение.

— Вера, так мы идем? — Катя глядела на подругу в мучительном недоумении.

— Да, конечно, — Вера слегка улыбнулась, толкнула коляску вперед, и они направились к монастырю.

До этого утра Вера приходила сюда с сыном одна. Устраивалась недалеко от очереди паломников к мощам Матроны Московской, высматривала клиентов. Всегда говорила коротко одно и то же.

— Не хочешь мерзнуть, плати, забирай ребенка и проходи без очереди. Пропустят.

Цену она называла разную, все зависело от того, как одет клиент. Обычно не торговались, мерзнуть никому не хотелось. Вера брала деньги, передавала сверток с ребенком и, убедившись, что клиент благополучно проходит без очереди, спешила к выходу, где в левом приделе Покровской церкви покоятся мощи святой Матроны Московской. Забрав ребенка, торопилась обратно к коляске. Чтобы не простудить малыша, долго не стояла, но два, а то и три клиента за это время находились. Сначала все проходило гладко, но в последнюю субботу произошла осечка. Вернулась с ребенком к коляске, а ту торопливо увозила какая-то женщина. Едва отбила коляску, мол, ходила к мощам, имей совесть. Тогда Вера поняла, что без помощника не обойтись. Выбор пал на Катю. Та давно набивалась в подруги к Вере, тем более живут в одном доме. Шла к Кате и сомневалась, согласится ли она. Вера решила всей правды, зачем нужен ребенок, сразу Кате не открывать. Там, на месте появится подходящий момент для объяснений. К удивлению Веры, Катя согласилась, даже вопросов никаких не задавала. Подумаешь, встать рано утром и прогуляться, зато теперь она может считать себя подругой Веры. К тому же, побывает в монастыре, о котором так много говорят.

У ворот монастыря их встретили два охранника. Один из них задержал взгляд на подругах, что-то сказал товарищу.

— Вера, глянь, как вылупился, — шепнула Катя. — Понравились, что ли?

— Бдят! — ответила Вера. — Вдруг бомбу везем в коляске.

Зашли во двор монастыря, не слышали, как один охранник говорил другому:

— Вон та, с коляской, уже не первую субботу сюда приходит. Молодая барышня, а так нагрешила.

— Молодец, глазастый, — его товарищ усмехнулся. — Бизнес у нее тут, а грехи она потом будет замаливать.

— Какой еще бизнес?

— Потом расскажу.

Площадка монастыря уже заполнена верующими. Кроме паломников, были и москвичи. Одни пристраивались в очередь к иконе Матроны, другие проходили дальше, к другой очереди, которая тянулась к мощам старицы. Разомкнув цепь первой очереди, подруги направились дальше.

— Зачем морозишь ребенка, проходи без очереди, — крикнули им вслед.

— Спасибо, — ответила Вера, — нам к мощам, — повернулась к Кате. — Поняла, зачем ребенок? А теперь представь, что кому-то не хочется мерзнуть, а попасть к мощам надо.

— Ну, ты даешь! — Катя с восторгом глядела на Веру.

Вера остановилась как обычно на своем месте, чтобы со стороны очереди их не было видно.

— Народу тут больше, — сказала Катя. — И подходят еще. С кого начнем? — в глазах Кати загорелись огоньки, она почувствовала, как кровь в ее венах побежала быстрей. — Что мне делать?

То, что должно произойти дальше, представлялось Кате спектаклем, в котором ей предстояло сыграть не последнюю роль.

«Дуреха, чему радуется! — подумала Вера. — Можно подумать, что ее пригласили сниматься в кино».

— Стоять и не дергаться, — ответила Вера.

— Вер, вон сразу четверо подходят.

— К этим нельзя, — Вера окинула взглядом компанию женщин. — Скорее всего, эти тетки с автобуса, знают друг друга. Нужна одиночка, московская. Вот за ними, идет то, что надо.

Катя поглядела на Веру. Лицо той было серьезным, сосредоточенным.

— Ни пуха, ни пера! — Катя скрестила руки на груди, улыбалась.

«Господи, чисто ребенок, — подумала Вера, глядя на подругу. — Хоть ее продавай вместо Юрочки. А ведь младше меня всего на три года».

Женщина в шубе, не перебивая, слушала Веру. Недоумение на лице женщины сменилось сомнением, не розыгрыш ли это. Вера поняла, что без объяснений не обойтись.

— Не беспокойтесь, без обмана, — сказала Вера. — Вон там, рядом с подругой коляска с ребенком.

Женщина перевела взгляд на Катю, потом снова на Веру.

— Ребенок ваш?

— Мой.

— Бизнес, значит. Сколько?

— Триста.

— Гм... Ну, неси, — произнесла женщина чуть слышно, все еще сомневаясь в реальности происходящего.

— Идемте к коляске, а то с очереди заметят.

Подошли. Женщина достала деньги, отдала Вере, та взамен передала ребенка.

— Идите осторожно, — попросила Вера. — Была оттепель, местами скользко.

Женщина держала ребенка и глядела на Веру с таким видом, будто не знала, что делать дальше.

«Не старая, — думала Вера, разглядывая незнакомку. Шубка на ней дорогая, надо было просить больше. И что еще ей надо от Матроны? Мне бы такую шубу да деньжат немного, моей ноги здесь не было бы».

— Спит! — вдруг с восторгом воскликнула женщина. — Так сладко спит! Крошка, а уже зарабатывает!

Эта фраза женщины прозвучала, как обвинение, и Вера приняла его на свой счет. Вероятно, и Катя подумала об этом же. Подруги переглянулись.

— Время пошло, гражданка, — вмешалась в разговор Катя. Ее голос прозвучал резко, почти грубо.

А женщина все еще не могла свыкнуться с мыслью, что за триста рублей купила право распоряжаться жизнью крошечного создания. Вдруг он умрет или заплачет, что делать? Женщина стояла, оглушенная сомнениями и тревогой, глядела то на подруг, то на очередь. Вера перехватила этот взгляд.

— Вот именно, очередь часа на два, не меньше, а мороз жарит. Кать, сколько сегодня обещали?

— Тридцать! — выпалила Катя.

— Идите, — голос Веры звучал спокойно, дружелюбно. — Пустят. Уже проверено.

— Не вы первая, не вы... — начала говорить Катя, но, перехватив взгляд Веры, не закончив, умолкла.

— А после как? Где вы заберете ребенка?

— Вход один и выход один. Я встречу.

Эти две короткие фразы стали для Веры настолько привычными, что она произносила их, не задумываясь, автоматически, будто речь шла не о ее ребенке, с которым может произойти беда, а о ненужной вещи.

Женщина пошла, осторожно ступая, широко расставляя ноги.

— Ты глянь, она его несет, как бревно, — сказала Катя. — Вот дура!

— Главное, чтобы не шлепнулась.— Вера повернулась к Кате. — Ну, ты залепила! Тридцать градусов! Где ты научилась так нагло врать?

— У нас, в училище, девчонки чему угодно научат, — усмехнулась Катя.

Вера встретила женщину у выхода церкви.

— Ну, как? — спросила, принимая ребенка и заглядывая внутрь одеяла.

— Слава богу, все прошло хорошо. Тяжелый очень малыш. — Женщина дышала так, будто бежала. — А присесть негде. Люди помогли, сразу подвели к мощам. Охранник подержал младенца, пока я помолилась.

Обычно Вера не выслушивала такие подробности. Все, что происходило внутри, было одинаковым, или почти одинаковым, и Вера знала об этом. Ребенка молча возвращали, при этом ни Вера, ни клиент старались не встречаться взглядами друг с другом, будто каждый чувствовал свою вину перед святым местом. Но в этот раз ни женщина, ни Вера не торопились расстаться, будто за это время их связала тонкая духовная нить.

— Сколько ему? — спросила женщина.

— Пять месяцев. Тут больше одеял.

— Понимаю, мороз. Муж есть?

— Был.

Вера понимала, что ее ждет и волнуется Катя, что возможно в этот миг на подходе очередной клиент, что в ее распоряжении осталось не больше часа, потому что скоро начнет светать и придется возвращаться домой. Но что же удерживало Веру? «На мою бабушку похожа», — подумала Вера.

На миг Вера вернулась в прошлое, когда она приезжала на летние каникулы к бабушке, и тогда весь мир виделся Вере в бело-розовом цвете. Потом бабушки не стало, а вместе с ней не стало крошечной, прозрачной речки с ракушками на берегу, шумливой березовой рощи за околицей, и добрых, всепрощающих глаз той, память о которой никогда не умрет. Почему судьба так скупа на счастье?

Женщина достала кошелек, протянула Вере купюру.

— Держи. Здесь на несколько... — женщина не договорила, смутилась, и быстро закончила. — Если по триста, то за троих. Не надо морозить мальца. Да и самой незачем мерзнуть. — Вера, отвернувшись, молча взяла деньги. Женщина опустила лицо и продолжала, чуть слышно: — У моей дочери угроза второго выкидыша. Сейчас на сохранении. Вот, перед больницей, решила зайти к Матроне.

Вера нахмурилась, прижала к себе ребенка.

— Спасибо. Я пойду, — тихо сказала Вера, — подруга ждет.

Вера пошла, не оглядываясь. Женщина перекрестила Веру вслед, прошептала:

— Спаси вас, Христос, — перекрестилась сама. — Прости меня, Матронушка. Через обман к тебе попала.

Вера шла под впечатлением от разговора с женщиной. «Может, — думала Вера, — действительно на сегодня достаточно и можно вернуться домой». Но едва она увидела Катю, коляску, увидела, как к очереди подходят люди, в ней проснулось желание продолжить то, ради чего она пришла сюда. В конце концов, тысяча карман не оттянет, а почему бы и дальше не попытать счастья». О деньгах, переданных женщиной, Вера решила Кате не говорить. У Веры перед ней никаких финансовых обязательств нет.

Потом была молодая особа лет тридцати, похожая на Снегурочку. Она была в белой короткой шубке, в белой шапочке. Сначала девица не могла понять, что от нее хотят, а когда поняла, с радостью согласилась. Отдала деньги, взяла ребенка, даже не проверив, не кукла ли там, спросила:

— До меня брали малого? — наступила пауза. К такому вопросу Вера не была готова, его никогда никто не задавал. — Ваш сверток до меня не примелькался в очереди? — продолжала девица нетерпеливо.

— Нет, вы первая, — солгала Катя. — Мы только что подошли. — Катя глянула на Веру. Та промолчала.

— А... Понимаю, в первый раз? — девица усмехнулась. — Да ты, мамаша, не смущайся. Москву ничем не удивишь.

Девица ушла.

— Слышь, Вера, — сказала Катя. — Эта особа навела меня на мысль. — Помолчала и продолжала ликующим тоном. — Тебе надо брать разные ленты, чтобы перед каждым новым клиентом менять ленты на одеялах.

«Быстро освоилась», — подумала Вера о подруге, но идея хорошая.

С девицей в белой шубке все закончилось быстро. Передавая ребенка Вере, бросила нехотя.

— Ваш малой такой тяжеленный! Холера, еле донесла.

Девица скрылась в толпе, мелькнув белой шапкой.

А после дело застопорилось. К очереди подтягивались новые группы, скорее всего, паломники, а к ним не сунешься. Были и одиночки, московские старушки. Сухонькие, бесплотные, как тени на стене, робко подходили к концу очереди. Вера знала, что к ним нельзя, им самим кто бы подал. Светало. Небо делилось на квадраты, тучи распушились по краям, серая муть ночи таяла.

— Вера, озябла в стружку, — вдруг сказала Катя. — И отлить надо, мочи нет. Тут туалет есть?

— Какой туалет! — Вера бросила на подругу недовольный взгляд. — Ну, потерпи немного. Еще один клиент, а потом домой. Бог любит троицу. — Катя молчала. Вера решилась на последний аргумент. — Если совсем накатит, отойдешь к кустам...

— И на том спасибо, сама бы не догадалась, — Катя отчаянно махнула рукой. — Гляди, Вера, молодежь.

Девушка держала парня под руку, оба быстро шли к концу очереди. Вера догнала их.

— Эй, постойте, — Вера подошла ближе. — К мощам?

Парень и девушка переглянулись. Девушка была худенькая, крошечная, показалась Вере маленькой лодочкой, прибитой волнами к утесу. Парень, высокий, широкий в плечах смело глядел на Веру.

— Допустим. В чем дело? — парень слегка выступил вперед, заслоняя свою спутницу.

— Хотите без очереди пройти? Мороз-то жарит, будь здоров!

— Как это без очереди? — девушка вышла из-за спины парня.

— Я вам даю ребенка, вы мне триста рублей. Нет, шестьсот, вас двое. Идете прямым ходом. Очередь пропустит, уже проверено.

— Живого ребенка? — в глазах девушки появился испуг.

— Не куклу же. Это мой сын, он там, — повернулась к Кате, показала рукой.

Вера уже пожалела, что подошла к этой паре. Они напомнили Вере ее саму два года назад, когда она с Костей после свадьбы пришла сюда попросить счастья для своей семьи у Матроны. Выстояли очередь. Но то ли Вера просила неправильно, то ли старица не услышала, семья Веры через полгода развалилась.

И теперь Вера на имени той, которая не помогла ей, зарабатывала, посмеиваясь над теми, которые верят в сказки и ради того, чтобы прикоснуться к праху, готовы заплатить, чтобы не мерзнуть. Парень поглядел на очередь.

— Гляди, не гляди, а стоять придется часа два, не меньше, — сказала Вера. — По опыту Вера уже знала, что для пользы дела иногда надо отвлечь клиента на другую тему, а после неожиданно вернуться к главному. — Своих деток еще нет? — Вера заметила, как девушка опустила лицо, а парень отвернулся. Оба молчали. — Понимаю, — продолжала Вера. — Для себя хотите пожить. Правильно, зачем спешить. Так вы согласны? Или денег жалко? Восемьсот рублей и никакой очереди.

— Минуту назад было шестьсот, — буркнул парень.

— Дело не в деньгах, — сказала девушка. — Вам не страшно отдавать ребенка в чужие руки?

— Нет. Тут вход один, и выход один. Мимо не пройдете, встречу.

— Все отработано, — парень усмехнулся. — Конвейер.

— Где ребенок? — спросила девушка.

Подошли к Кате. Вера аккуратно достала сына, парень отсчитал деньги.

— Держите, здесь тысяча. Не каждый день приходится делать такие покупки, не жалко.

Его спутница заглянула внутрь одеял, вскрикнула.

— Ой! Живой! Спит! Дай мне!

— Он тяжелый, пусть ваш муж держит, — вмешалась Вера.

— Сашенька, хоть на минутку. Я осторожно, — не отступала девушка.

Приняла ребенка, прижала к себе и вдруг заплакала.

— Нельзя, Таня. Тут чужие люди, — парень быстро забрал сверток, передал Вере. — Простите, она... — парень не договорил, стал обнимать жену, успокаивать. Было видно, что он проделывал это не первый раз. Девушка быстро успокоилась.

Вера нехотя передала ребенка парню. Как ни неприятна была ей эта сцена, но расставаться с деньгами не хотелось.

— Держись за меня, — парень подставил жене руку.

Молодая пара, придерживая друг друга, пошли.

— Спектакль целый разыграли, — сказала Катя. — А все-таки она счастливая. Видела, как он ее обнял?

— Кого? — Вера поглядела на подругу.

— Эту малую. Любит ее мужик. Сразу видно. Ну что, тебе пора. И домой. А то точно, в трусы наделаю.

— Рано еще, — Вера не отрывала взгляда от очереди. — Как дойдут до середины, пойду. Что, приперло? Не хочешь здесь, отойди в сторонку.

Очередь расступалась, и парень с девушкой не спеша пробирались вперед.

— Не торопись! — девушка придерживала мужа за руку, поглядывая туда, где в стороне серыми силуэтами виднелись Вера с Катей.

— Чего ждать? Нас пропускают, — удивлялся парень и увлекал свою спутницу вперед.

До входа оставалось совсем немного, когда кто-то из очереди недовольно крикнул.

— Гляньте, опять без очереди. А мы что, из другого теста? Пусть дома дитенка оставляют.

Парень с девушкой остановились в замешательстве. Чем бы все закончилось, неизвестно, но ситуацию спасла одна старушка.

— Побойтесь бога! — сказала она, ни к кому не обращаясь. Глянула на девушку. — Иди, милая, иди. К святой Матронушке идешь. Знать так надо, если с дитем. Не обижайся на людей, оставь черные мысли.

Пара с ребенком двинулась дальше. Девушка оглянулась. Возле коляски никого не было. Вероятно, Вера пошла к выходу, а Катя где-то устроила себе туалет. Девушка резко повернула к себе мужа, забрала ребенка. Ребенок от резкого движения проснулся, заплакал. Девушка прижала к себе сверток с малышом.

— Сынок мой проснулся, кушать хочет. Спасибо, люди добрые, нам домой пора, — не оборачиваясь, не глядя ни на кого, быстро пошла назад, повторяя, как молитву, одно и тоже. — Спасибо тебе, Матрона Московская, за дары твои, спасибо тебе, Господи, услышал молитвы мои. Спасибо тебе, Святая Троица.

Парень, глупо улыбаясь и, не понимая, что происходит, шел за женой, стараясь не отставать от нее. Очередь, зажатая с одной стороны стеной, с другой турникетом, торопливо расступалась, пропуская пару с ребенком. Выбрались. Девушка еще раз глянула на одиноко стоящую коляску, прижала сильней к себе сверток с ребенком и быстро зашагала к воротам монастыря. Чуть отставая, за ней следовал парень, что-то бормоча и постоянно оглядываясь.





АНДРЕЙ СКОРИНКИН

Прощальных слов роняя медь...

Apokalypsis*

Повсюду кровь и слезы... В наши дни
Упразднены Священные законы...
Героев нет, предатели одни —
Лукавые, как змей, хамелеоны...

Но ты судьбу напрасно не кляни!
Сгорят дотла земные Вавилоны...
В колокола небесные звони
И Господу отвешивай поклоны!..

В сердцах гремит духовная война,
За горний трон дерется сатана...
Грядет конец, а с ним — начало света...

Померкнут звезды, солнце и луна...
Но за зимой ворвется в мир весна
И расцветет спасенная планета!..

Предсказание

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет...

Лермонтов

Настанет век — на русский брег
Придет лукавый человек:
Встревожит сонные массивы,
Сумеет ложь вещать красиво,
За добродетель выдаст грех,
Слезами вдов растопит снег,
Накличет бедствия и дива,
Он будет пагубой для всех...

Но ты, потомок горделивый,
Внимая речи прозорливой,
Расслышь времен неслышный бег!

---

* Апокалипсис (греч.)

Тот человек уж недалек,
Его походка тороплива,
Глава, по-дьявольски, плешива...
Он был, он есть, он будет ввек —
Во имя жизни несчастливой...

* * *

Над этой темною толпой...
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?

Тютчев

Блеснул Свободы светлый луч
Над угнетенною толпою,
Но снова штормы темных туч
Ее укрыли с головою.

Надежд обманутых зола
Еще тепла в наивных душах,
Меж тем невеста доплела
Венец для будущего Мужа...

Куда ж нам плыть? — вот в чем вопрос,
Не покидавший человека;
Кто разрешит проблемы века —
Он сам? Иль все-таки Христос?..

Провал*

Пещера есть в горе Машук
    С целебною водой;
Я там бывал и злой недуг
    Лечил водой святой.
А через лунку потолка
В Провал вползали облака,
    Влетали валуны;
Я опасался валунов,
Но услыхал из облаков:
    «Не бойся сатаны!

Он будет брошен сам сюда
    (А с ним и лжепророк),
Наделал много он вреда,
    Его накажет Бог!
И вспыхнет озеро огнем,
И древний змей погибнет в нем,
    И близок этот миг...

* Пещера в горе Машук, затопленная сероводородным озером и имеющая в своей верхней части отверстие, образованное в результате обвала.

Ты тайну в сердце сохрани,
Пока из уст вождя страны
Не грянет древний рык...»

Язык чесался, но секрет
Я много лет берег.
Но вот увидел: губит свет
Лукавый лжепророк;
А вслед за ним и зверь идет
И диким голосом ревет...
И с уст моих печать
Сама собой слетела вдруг,
И я свидетельствую, друг,
О чем уж грех молчать!..

Три вариации на один мотив

Прощай, немытая Россия...
Лермонтов

1

Прощай, омытая Россия
Слезами, кровью и слюной,
И вы, товарищи плохие,
И ты, покойник внеземной.
Быть может, от обломков «рая»
Сбежать куда-нибудь скорей,
Чтоб не смотреть, как раздирает
Одно зверье других зверей...

2

Привет, продажная Россия,
Страна рабов, страна господ,
И ты, базарная стихия,
И ты, ограбленный народ.

Быть может, грим советской расы
Ты постепенно уберешь,
Но снова чьи-нибудь гримасы
Ты непременно переймешь...

3

Явись, Священная Россия —
Держава истинных свобод!
Явитесь, отроки святые!
Явитесь, ангелы с высот!

Быть может, все твои невзгоды
Тебя оставят навсегда —
И ты получишь от природы
В монархи Господа Христа!..

Неравный брак

Израненный жестоким роком,
В земном блужданье одиноком,
Похоже, я схожу с ума...
Мне жаль, что кончилась зима
И вновь повеяло весною,
И ты сияешь надо мною,
Моя волшебная звезда...
Люблю тебя, но вот беда:
Как дуб, грозою опаленный,
Я от любви испепеленный...
Хочу тебя, да не могу...
Я очерствел, а ты в соку...
Но дружба может быть меж нами...
Ты тщетно бьешься, как Цунами,
В меня, как в каменный утес...
Как обветшалый Дед Мороз,
В твоих объятиях я таю
И в мир иной перетекаю...
Тебе бы юного орла,
Чтоб раскалиться добела
От страсти огненной и мощи!..
Ведь я давно, как месяц тощий,
Твоих лучей — на склоне лет —
Все реже преломляю свет...
Хоть я герой, но старый воин,
Увы, тебя я недостоин...
Тебе цвести, а мне дряхлеть,
Прощальных слов роняя медь...

Исповедь

1

Пели соловьи, бледнела высь
В зачине дня...
Тучи грозовые пронеслись
В начале дня...
Грезы и желанья не сбылись
В разгаре дня...
Прошлая любовь, былая жизнь,
Прости меня.

2

Плавится заря, темнеет высь
На склоне дня...
Где-то вдалеке нас заждались
Друзья, родня...
Струны золотые порвались,
Слезой звеня...
Прошлая любовь, былая жизнь,
Прости меня.



ВЕНИАМИН БЫЧКОВСКИЙ

Достойно радости

Рассказы, миниатюры

Девочка-осень

Только за городом я увидел, что земля в золотых нарядах осени. И пока добирался до деревни родителей, мысленно усердно ломал серый бетон и асфальт, которые, казалось, сковали не только город, но и мое сознание — сплошной серый монолит, крепкий, ровный и без просветов. К единственному просвету выше многоэтажек надо было задирать голову. Но и там солнце едва пробивалось сквозь темные облака над городом.

Но сегодня осенний ветер как будто «раздвинул» небо. Правда, вместе с этим принес похолодание. А где можно согреться? Только в родной деревне, у старой теплой печки.

А вот и последний поворот к деревне, поворот к прошлому, которое существует ныне, как на забытом всеми острове за тридевять земель, к прошлому, где многое уже непонятно, но чем-то трогает, притягивает. Вспоминаю глиняный горшок на полке матери и спешу к нему, как к солнцу. Когда солнце матери закатилось на ближнем погосте, каждая ее вещь в родном доме засияла особым светом — вот попью молока из «солнечного горшка», то и разум мой прояснится...

Но и сейчас что-то происходит с моим сознанием. Так что на деревню я смотрю просветленным взглядом и замечаю все оттенки осенней «радуги», огненные краски которой ложатся на землю. И земля горит! Горит без дыма и копоти. Эта щедрая позолота так захватывает, что хочется вывернуть все карманы за такую красоту. Но человек, как всегда, запаздывает со щедростью: уже все березы настолько усыпаны «золотыми монетами», что горстями слетают с веток и звонко падают прямо под ноги! Здесь же хрустят пурпурные купюры разлапистых дубов. Правда, мудрые дубы весьма сдержанны и не очень-то горят желанием платить за красоту — мол, пока обойдетесь и мелочью... И действительно, упавшей мелочи хватает всем. Каждый может рассчитаться за первые дни осени, которая уже во всем: и в прозрачном воздухе, и в кристально чистых красках, и в том неуловимом аромате увядающих деревьев, который напоминает о тихих погостах, о том, что все проходит. А тут еще с деревенских дворов доносится запах сушеной травы, и в нем тоже столько грусти, что от глубокой печали может спасти лишь солнце. Ничто не дает столько надежды, сколько солнечный свет в голубом небе. Особенно это чувствуешь осенью.

Среди яркой листвы стали более заметны старые дома «с проседью» в бревнах — сердце подсказывало, что в них дольше хранится тепло. А тут еще — ну прямо видение! — рыжая девочка на крыльце. Она отрешенно уткнулась в раскрытую книгу на коленях и просто сливалась с осенней

листвой. Казалось, ветер может подхватить ее и унести в холодную взрослую осень. Наверное, поэтому она так сильно жалась к морщинистому крыльцу старого дома, будто знала, что стариковские руки надежнее. Да и старости тоже страшно отрываться от молодости — они нужны друг другу, особенно по осени.

Очарованный рыжей девочкой на крыльце и осенними мыслями, я остановился у забора. Как будто хотел присоединиться к этому «союзу», чтобы и меня миновал холодный ветер. Но рядом со мной нет детей, внуков, да и возраст уже не позволяет жаться к старикам, у них и так тяжелая ноша. Только крыльцо родного дома может поддержать меня осенью. Оно будет скрипеть, но обязательно удержит на последней ступеньке к порогу.

Я шагал по золотой россыпи листьев, как по золотому ковру, в прошлое, и понимал, что, наверное, не заслуживаю таких почестей. Мне было неудобно даже перед рыжей девочкой, оттого я постоянно оглядывался на нее, как будто ждал хотя бы легкого кивка одобрения. Но она не шелохнулась. Зато солнце «кивнуло», и его закат коснулся не только крыш. Золотой ковер под ногами уже не сверкал, и было не так совестно ступать по нему. Девочка, к счастью, не заметила моего замешательства. Она была увлечена своим действом. В каждой книге, как и в каждой осени, так много откровений для человека, что дрожь пробегает по телу задолго да заморозков. Но дрожь светоносная! И вот уже внутреннее тепло грядущего не умещается в груди и хочется самому согреть кого-то... Девочку в осени? Осень в девочке?

Но ведь я сам зажегся от их позолоты!

Солнце летит, а жар и свет его к нам постоянно возвращается! Через рыжую девочку, через золотую осень... На всем блики солнца!

Стены, стены...

Вот уже две недели маюсь на полу и засыпаю при свете настольной лампы. Маюсь от волнения и одиночества, бесконечного одиночества, которое заполнило всю пустоту продаваемой квартиры. Моя кровать вместе с остальной мебелью перевезена в старый деревенский дом, который стоит на земле предков. Дом, вероятно, волнуется сейчас не меньше, чем я. Ведь моя семья уже там. Надеюсь, родные разбудят деревянные стены. Их сон длился так долго: еще с того дня, как мы забрали в город больную маму. И вот спустя десять лет я сам выбираюсь туда, в родное гнездышко. Мне осталось лишь найти подходящего покупателя для квартиры, поэтому я до сих пор здесь. Ожидая очередной звонок из агентства по недвижимости, невольно оглядываюсь на голые стены, перебираю в памяти пережитое. И вот уже стены превращаются в экран.

Я догадываюсь, чем это вызвано: возле этих стен происходили самые важные семейные события. У одной — я ласкал свою жену, у другой — засыпала моя дочь, у стены умерла моя мама. Умерла тихо, спокойно, повернувшись к стене. Неподвижность стены — неподвижность покойной. Но для живых нет покоя даже за стенами. Сколько раз я прижимался к стене от страха! К чему прикидываться, будто не было этих ночей, когда я садился на постели, охваченный страхом смерти, цепляясь только за то, что сидеть — уже значит жить. Такое случалось, когда мне делалось плохо от безысходности и страха перед будущим. Наверное, и сейчас я сижу с таким ужасным лицом, что меня чураются не только стены, потолок, занавески на окнах, но даже моя тень прижалась к стене и не желает со мной знаться.

Последней надеждой осталось окно. Может, за ним что-то еще принадлежит мне в этом городе.

Но стоило отдернуть занавеску, как я увидел, что и окно стало черной стеной. Вырваться из этих стен можно через дверь. Но и в ней два замка и железная цепь страха. Когда же я продам квартиру и с нею страх в придачу?!

А пока я стою посреди комнаты и переживаю странное ощущение: эта квартира никогда не была моей. Даже несмотря на жаркое лето, от стен тянет холодом.

С каждым днем я все меньше узнаю свою квартиру. «Продажная, продажная», — вертится в голове. Да-да, именно продажная — я даже заметил, как она желает угодить каждому покупателю: полы не скрипят, а бывало, скрипели даже от шагов маленькой дочки; потолок, с которого сыпалась штукатурка, выглядит ровным и чистым; стены словно шлифованные, без трещин и вмятин.

Я все чаще вспоминаю деревенский дом, где родился, где есть другая — бревенчатая — стена. Она всегда была теплой от печки. Там по сей день стоит мой детский диванчик.

А теперь я ночую на жестком полу и хорошо понимаю «продажность» городской квартиры. Любая квартира в городе, рано или поздно, продается первому встречному; нередко как раз тому, кто с нетерпением ждет того часа, когда ты оставишь этот мир и вместе с ним жилплощадь, а он преспокойно займет ее. При этом ни одна стена не перекосится, потолок не обрушится и пол не провалится под ногами даже самого подлого человека.

Вот и выходит, что в городе нет по-настоящему преданного дома. Может, по этой причине я и перебираюсь в деревню? Пусть даже в старую и ветхую избу, которая давно потеряла свою стоимость и которую, в лучшем случае, купили бы на слом. Но пока она стоит — она будет крепостью для моей семьи. Нас будут окружать деревенские старички, которые мне кажутся гораздо прочнее бетонных и кирпичных стен.

Надеюсь, что ждать осталось недолго...

Орлик

Виктор стоял у окна больничной палаты и вспоминал детские годы, когда он также из больничных окон смотрел на здоровых детей в сквере и завидовал им. Виктор родился с патологией. Одна рука у него не работала, и врачам удалось оживить ее только до локтевого сустава, а предплечье и кисть так и остались неразвитой костью обтянутой кожей.

Но сейчас сорокалетний Виктор по другой причине попал в больницу. Это было неврологическое отделение областной больницы, куда его привезла родная сестра Ленка. Таким образом, она спасала брата от пьянства в деревне.

Виктор не алкоголик, но в деревне было несколько человек, которые спивались и легко приняли в свой круг потерявшегося Виктора. А он потерялся, особенно после смерти матери, когда остался один в доме. Правда в деревне жила родная сестра матери, но она была в преклонном возрасте и особого влияния на Виктора не имела. Иной раз могла пригласить на праздничный обед или попросить сына Василия помочь Виктору заготовить дрова на зиму, скосить траву во дворе, а в остальном Виктор сам справлялся с деревенским бытом. Более того, он содержал несколько курочек, собаку и даже коня Орлика. Конечно, не всякую работу мог выполнить, но что касалось коня, он делал все добротно. Особенно поражало, с какой ловкостью запрягал коня и управлял им.



Не секрет, что Орлик был самое дорогое для Виктора. Это был добродушный белый конь, уже не молодой, но еще в теле и вполне работоспособный. Коню было пятнадцать лет, тринадцать из которых он жил у Виктора, и они понимали друг друга с одного взгляда. Конь помогал ему заработать, поскольку пенсии по инвалидности не хватало на жизнь. К тому же, это был последний конь в деревне и работы всегда хватало. Вот и в эту осень перепахал все огороды на зиму и хорошо подзаработал. Да только большая часть его заработка пошла на выпивку. И когда старшая сестра приехала в деревню за клюквой, то застала Виктора пьяным. Это стало последней каплей терпения сестры, она решила упрятать брата в больницу, чтобы окончательно не спился. Виктор только успел договориться с соседом Иваном, чтобы присмотрел за конем.

«И как там Иван справляется с Орликом? Только бы не загнал работой...» — думал Виктор, стоя у окна и вспоминая сон, с которым проснулся сегодня. Приснился Орлик на водопое у озера. Даже запах почувствовал во сне, точно рядом был конь. Орлик стоял, отставив увязшую в тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, долго-долго сосал воду, и видно было, как вода волнисто шла по его горлу. Наконец он оторвался от воды, поднял голову и медленно огляделся кругом. Вода капала с губ Орлика, а он не то задумался, не то залюбовался на тихую поверхность озера. В озере глубоко-глубоко отражались и берег, и небо, и белые лоскутки облаков, и все это плавно качалось в кругах по воде. Орлик сделал еще несколько глотков, глубоко вздохнул и, с чмоканьем вытащив из тины одну за другой ноги, развернулся к нему... Виктор проснулся.

И сейчас, продолжая стоять у окна, Виктор снова представил Орлика, и как-то тревожно, тихонько заныло сердце, и сильно захотелось в деревню. Он опустил свой взгляд на дорожки сквера и немного отвлекся от мыслей о деревне. По скверу спешили посетители. «Значит, тихий час закончился, и скоро можно будет посмотреть телевизор в фойе, там же найдется компания, чтобы покурить...»

— Горбач Виктор! К вам пришли, спускайтесь вниз, — услышал он голос медсестры в открытую дверь.

— А кто, — повернулся он на голос. Но дверь уже закрылась.

Виктор накинул куртку и поспешил в фойе для посетителей.

Он шел по коридору больницы, перебирая в памяти сегодняшний день. День показался хорошим, даже отличным. Процедуры, уколы закончились. На душе было легко. А теперь еще и встреча с кем-то из родных.

В фойе больницы его ждал двоюродный брат Василий. Он был в командировке и по пути завернул в больницу. Уж очень мать просила об этом. И теперь он сидел на скамейке рядом с аптечным киоском — большой, загоревший, в кожаной шоферской куртке, — ждал. От нечего делать смотрел какой-то медицинский буклет с картинками, а когда проходили медсестры в белых халатиках, разглядывал их и даже немного завидовал тем, кто видит эту красоту каждый день. Только Витьке он не завидовал, потому что привез неприятную новость: Орлика продали. Перед командировкой он побывал у матери в деревне, где и узнал об этом. Даже стал свидетелем разговора матери с Ленкой, когда та пришла, чтобы Василий подвез ее до города.

— Ленка, что же ты наделала! — встретила ее тетка. — Ведь без коня Витька совсем пропадет...

— А с конем разве не пропадал, — взорвалась Ленка, — если каждый в деревне старался рассчитаться с ним бутылкой самогона или водкой...

— И то правда, — ответила тетка, а потом продолжила: — А все же жалко Витьку. Да и конь был нужен... Последний конь был в деревне. Нет коня, не будет и деревни.

— Ничего, — не унималась Ленка, — в сельсовете трактор попросите.

— В сельсовет не наездишься, — смиренно говорила тетка. — Да и за трактор надо платить другие деньги, а для стариков каждая копейка на счету.

— Пусть дети помогают...

— Ох, Ленка, Ленка... Что-то не то ты сделала, — грустно сказала тетка.

— А я думала, хоть ты, тетка Оля, поймешь меня, — закончила Ленка.

Василий не вмешивался в их разговор, только слушал и, кажется, понимал обеих, но сердце подсказывало ему, что мать больше права.

Витька удивился, увидев двоюродного брата.

Василий радостно заулыбался, встал навстречу и обнял Витьку. Обоим было немного неловко.

— Ну, как ты здесь? — спросил Василий.

— Нормально.

Некоторое время молчали.

— Тут у вас, как в санатории, и сестрички-красавицы рядом, — заговорил Василий, оглядываясь по сторонам.

— Попроси Ленку, она запросто устроит сюда, — с улыбкой сказал Витька, и продолжил: — Ты лучше скажи, был в деревне? И как там Орлик?

Василий сразу сник, в голосе появились другие нотки.

— В деревне все нормально, только Ленка начудила...

— Что ли из-за меня все не может успокоиться? — равнодушно спросил Витька.

Василий странно замолчал и как-то суетливо стал перекладывать из сумки в пакет колбасу, печенье...

— Да оставь этот пакет, что там Ленка?

— Ленка Орлика продала, — опустив глаза, сказал Василий.

— Что! — почти выкрикнул Витька и замолчал. Он долго молчал. Сощурил голубые глаза и смотрел вперед нехорошо — зло. Уж очень охота стало домой. Захотелось хлебнуть всей грудью влажного воздуха Полесья...

— Идем, покурим, — настойчиво сказал Витька.

Пока они шли до ближайшей скамейки в сквере, Витька закурил. Василий видел его трясущуюся руку с сигаретой и частые глубокие затяжки.

У Василия даже защемило сердце от сострадания. Он только сейчас до конца осознал, как тяжело Витьке, но коня уже не вернуть.

— Да не рви ты сердце, — заговорил Василий, — подлечишься, приедешь в деревню, а там, глядишь, и нового коня тебе справим...

— О чем ты говоришь! Моя душа в Орлике...

Витька курил и хмурился.

Разговор не клеился. И Василий вдруг подумал, что Витька возьмет и сорвется сейчас в деревню...

— Боишься, что в машину твою запрыгну и рвану в деревню, — будто прочитал его мысли Витька. — Не сорвусь. И кому я там нужен?..

— Да ладно тебе, вся деревня переживает за тебя, — пытался успокоить Василий.

— Переживает? А Ленку не удержали... — выдохнул вместе с дымом Витька и опять глубоко затянулся сигаретой.

Василий не знал, что еще можно сказать, чтобы успокоить брата.

— Ну что, мне пора ехать, — собрался с духом Василий, чтобы закончить грустное свидание. — Чуть не забыл, блок сигарет в пакете с продуктами.

Витька молча взял пакет, пожал тихонько руку Василию и произнес:

— Да все нормально.

Вернувшись в палату, Виктор машинально стал разбирать пакет, но скоро бросил это дело и подошел к окну. Но теперь он смотрел не на сквер, а в небо, где плыли облака. Глядя на облака, он неожиданно вспомнил, что где-то вычитал, что масть каждого коня зависит от природы: бурый — от бури, вороной был ночью, белый был облаком. Еще он верил, что кони знают о людях все, и только правду. Виктор обернулся на соседей по палате, но уже не было желания и сил говорить с кем либо, а тем более — об Орлике.

На тумбочке лежал блок сигарет, но и курить ему не хотелось.

Витька разобрал постель и, как будто что-то вспомнив, сел на кровать. Долго сидел не раздеваясь. Потом разделся и лег.

За окном взошла луна. В палате стало светло. Витька попытался представить, где сейчас может быть Орлик, но в памяти всплывало только деревенское прошлое, и как стелется туман по земле...

Витька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять увидел туман, в котором пробивались очертания Орлика.

С этим и заснул Витька. И скоро ему приснился Орлик, он ласково посвистал ему, и Орлик тут же уткнулся в плечо большими влажными губами.

Достойно радости

Я так долго и завороженно смотрел на работу косаря, что не заметил, как встало солнце. Косил весело, точно на праздник вышел. Все его движения были очень легки, и, казалось, он не работает, а танцует какой-то древний танец, где каждый поворот ровно валит траву, чтоб не мешала танцу. Наконец солнце поднялось «во весь рост» и остановился танец. Косарь вытер пот со лба, наклонился за горстью скошенной травы — как поклонился Солнцу и Земле — отер звенящее лезвие косы, своей подруги в танце. Они заслужили отдых!

Я так долго и завороженно смотрел на работу ткачихи, что не заметил, как на ее цветастом рушнике появился новый орнамент: радуга между землей и небом! Не зря в народе говорят, рушник — дорога в небо! А мастерица восседает за станком, как на древней колеснице, и путешествует по миру предков. От них узнает тайну нитяных крестов, квадратов, ромбов, стрелочек и волн... И вновь летят по волнам челноки-лодочки, туда-сюда, туда-сюда... А вслед за ними нитка к нитке, нитка к нитке — и радуга все ярче, разноцветней! Но вдруг остановились челноки-лодочки, будто земли коснулись. Натруженные руки ткачихи ловко завязали концы всех челноков, покачивающихся у «леса» разноцветных ниток. Пришло время отдохнуть хозяюшке.

Я так долго и завороженно смотрел на работу художника, что не заметил, как из палитры красок и размашистых мазков на холсте проявился образ. Для меня этот образ был еще в тумане, но художник видел его во всех деталях и спешил перенести на натянутое, как нерв, полотно. Скоро туман рассеялся упавшими каплями краски, как разноцветной росой, окропившей руки художника и мольберт. Картина ожила! И, кажется, плоского полотна ей было мало — образ теснил пространство! Но художник не Бог — кисть упала на мольберт. Все силы он отдал, чтоб полотно ожило.

Садясь на рассвете за письменный стол, я вспоминаю косаря среди разнотравья в поле и думаю, с чего начать свою работу? Окидываю взглядом свое «поле» и вижу, сколько мыслей-сорняков... Все выкосить! Оставить «поле» чистым для новых образов и слов, для их свободного танца. Срастаюсь с пером, как с косой, и пишу-кошу, пишу-кошу... Остановился, как косарь, залюбовавшись проплывающим мимо облаком мысли, потом любуюсь пролетающим журавлиным клином изящных слов... И, стряхнув с себя очарование, еще с большим усердием налегаю на ручку острого пера, сверкающего на моей ниве. Луч солнца из окна упал на мое «поле» и напомнил рушник... Вот и пришло время стать ткачом-художником, чтобы из слов соткать орнамент. В орнаменте стараюсь сохранить традиции родного языка, и все слова, как челноки по волнам, ткут мой «рушник» с неизменным замыслом — дороги в небо! А на родной земле — палитре русского языка — я выбираю краски, чтоб образ получился ярким и живым. И в то же время не нарушил общей картины повествования. Еще немного — и закончу. Но я устал и растерян: как выразить словами главное? И в чем это главное? В радости сознания, что я, как косарь, как ткач, как писатель-художник приношу пользу ближнему? Или в том, что Бог всякому из нас дает талант и возлагает на нас священный долг делиться им? Но зачем, почему? Мы этого не знаем. Но должны знать, что все непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то свыше намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире было достойно радости и гордости за свой труд. Я это чувствую сейчас и на этом закончу свой труд.





ЕЛЕНА ТУРОВА

Вечер тихий, вечер дивный

Кошка

Зверь по имени Кошка
Ловит меня глазами,
В зрачках его сладко-желтых —
Золото пирамид.
Зверь по имени Кошка
Многое слишком знает,
Душу мою читает
И свысока молчит.

Но, вечером на диване,
Под чайника переливы,
При свете уютной лампы,
На островке тепла
Он промурлычет тайну,
Как стать на земле счастливой:
Такою же «просто кошкой» —
Превыше добра и зла.

Черт в шампанском

Я не могу напиться до чертиков, покуда
Мешает этот дьявол, попавший в мой бокал:
Он прыгает и скачет, кривя в улыбке губы,
И не могу понять я, как он туда попал.

Шампанское не терпит подобных издевательств:
Оно шипит и пенит, и пенится, шипя!
И я шиплю и пенюсь, я протестую: «Хватит!
Уймись, плясать довольно! Я выпью за тебя!»

Он оказался рядом: с усами и при шпаге,
С бездонными глазами, в берете и плаще...
Он сразу ранил взглядом, приник губами к браге,
Он был чертовски весел, печален и вообще...

Сперва мы были в баре. Потом мы пили в храме,
Где разбивает солнце на спектр витражи,
И цвет вина в бокалах слился в вишневой гамме,
А он, откинув кудри, шептал: «Пойдешь, скажи?»

Ах, как же мне хотелось за ним, хоть в бездну ада!
Но я сказала: «Дудки!», уже прильнув к нему,
Уже спускаясь в пропасть, шептала я: «Не надо!»,
Уже в аду: «Ну ладно, пусть будет посему».

Он — золотом и хмелем, дразнил меня глазами...
Внизу бесилось пламя, но Он был горячей!
Обуглились иконы, и вместе с образами
Сгорал души остаток. Моей? Да нет, ничьей.

Вечер тихий

Вечер тихий, вечер дивный,
Вечер вкуса шоколада —
Он пришел на мягких лапах,
Завернулся в синий плед,

Разбудил в пруду ундину,
Соловьем пропел руладу...
И пропал, оставив длинный,
Серебристо-лунный след...





АНЖЕЛА БЕЦКО

Недосказанность речей

Любовь Сивиллы

Ты — моя слепая страсть.
Неизбывность. Неизбежность.
Всей земли и неба власть.
Ты — цветок, чье имя — нежность.

Ты — бессонница ночей,
суматоха всех вокзалов,
недосказанность речей,
эхо опустевших залов.

Ты — неволя, сладкий плен.
Безрассудство — быть с тобою,
ибо создан для измен,
ибо послан не судьбою.

Душ сплетенных не разнять.
Безысходность — рок Сивиллы.
Мне бы только малость знать:
что увидимся, мой милый.

* * *

А молодость бьет каблуками
упрямо, задорно и зло.
И мерит большими шагами
планету. Как ей повезло!

А старость плетется коротким
шажком (нет грустнее шажка)
до лавки ближайшей, где тетки
судачат о зле каблучка.

* * *

Весна. Начнется все сначала.
Растает мертвый, стылый лед.
И баржа встанет у причала
и брюхом к отмели прильнет.

И будут жить на длинных палках
в скворешнях шумные скворцы,
и солнце плавиться в фиалках,
и строки строиться в столбцы.

Долой назойливые шубы!
Портнихи станут платья шить.
И серость душ пойдет на убыль.
Вот только б зиму пережить...

Этюд

Ф. Гарсиа Лорке

В глубине тишайшей ночи
рыбка по небу плыла.
Жемчугом блестели очи,
и светились два крыла.

И в недоуменье стыло
у дремавшего окна
серебристое светило:
— Рыбка в рай вознесена!..



ТАТЬЯНА ШАМЯКИНА

Земля в ореоле тайн[*]

Цивилизации в пространстве земли и времени космоса

Древний Египет — наследник Атлантиды?

Terra Incognita — так называли античные римляне-завоеватели, а затем и средневековые путешественники каждую новую, только открытую, еще не исследованную землю. Так можно сказать обо всей нашей удивительной планете, да и практически о любой местности: горном хребте, пустыне, равнине, городе, деревне. Каждая чем-то уникальна, своеобычна, по-своему прекрасна, и нет двух одинаковых в своей загадочности, совпадающих во всех деталях ландшафтов.

Однако есть территории, как бы отмеченные божественным присутствием, выделяющиеся исключительно значимыми для всего человечества особенностями. Это регионы, где *зарождались цивилизации*. В прошлой главе я обратила внимание на одну из гипотез, которая привязывает зоны возникновения древних цивилизаций к так называемой икосаэдро-додекаэндрической структуре Земли (ИДСЗ). Эту теорию разработали советские исследователи-любители в конце 1960-х годов. В дальнейшем ученые из разных стран уточняли и дополняли ее, а часто использовали и в практических целях, когда искали и находили по линиям или в узловых точках ИДСЗ полезные ископаемые.

В рамках данной теории высказывалось мнение, что в недрах планеты постоянно идут очень сложные процессы новообразования, теплообмена, взаимодействия разных пластов многослойной, как луковица, структуры, состоящей из железного или кристаллического (?) ядра, мантии и земной коры с размещенными на ней платформами, на которых, в свою очередь, базируются континенты. Все это по многим параметрам и не совсем нам понятно взаимодействует между собой, и взаимодействие сопровождается выбросом вовне энергии, которая обязательно влияет и на биосферу, в том числе, на формирование этносов, на мироощущение больших людских коллективов, на психику каждого человека. Где-то процессы особенно интенсивные, соответственно и сообщества на поверхности Земли, в зоне действия наиболее активных сил, развиваются быстрее, чем на спокойных территориях.

Знаменитый ученый Л. Н. Гумилев говорил о пассионарных этносах, которые убыстряли свое развитие благодаря некоему импульсу, приходящему из космоса. Не отрицая космические толчки, я полагаю, что и земные слои участвовали в этногенезе, а тем более, в выстраивании той или иной мощной цивилизации. Доказательством этого тезиса, как мне кажется, может служить фараоновский Египет.

Цивилизация, здесь зародившаяся, — одна из самых древних на Земле, определившая развитие близлежащих к Египту территорий на века. Зримым воплощением ее значимости и могущества являются *пирамиды* в Гизе, предместье Каира, столицы современного Египта. Самый узнаваемый образ страны — пирамиды,

[*] Продолжение. Начало в № 8, 2014 г.

простые, ясные по форме, огромные по масштабу, воплощали бесконечное спокойствие и словесно невыразимое величие. Еще античные мудрецы записали этот комплекс в *первое* из семи чудес света. Их мнение остается справедливым до нашего времени.

Понятие «чуда» обязательно предполагает тайну, жгучую, интригующую, завораживающую. В пирамидах буквально все тайна, грандиозная и не разгаданная за тысячелетия. И хотя ортодоксальная наука полагает, что пирамиды изучены, обмеряны досконально, но на самом деле едва ли не каждый год открываются все новые проблемы, связанные с памятниками в Гизе. Это вызывает сильное раздражение академических ученых: они чувствуют близкие времена, когда, благодаря раскрытию загадки пирамид, историю человечества придется кардинально пересматривать, а тогда рухнут все укоренившиеся взгляды и признанные авторитеты. Гипотез относительно пирамид накопилось столько, что они вот-вот взорвутся новым качеством — обобщающей теорией, которая расставит все точки над «i».

Я ни в коей мере не претендую на какие-то обобщения, а всего только стремлюсь соединить воедино разные концепции, в основном неизвестные широкой публике, а также обращаю внимание на факты и мнения, которые не укладываются в официальную доктрину и оставляют широкий простор для воображения.

Так, непонятно, прежде всего, *назначение* пирамид. В энциклопедиях и учебниках пишут, что они — гробницы фараонов так называемой 4-й династии — Хеопса, его брата или сына Хефрена и Микерина, сына то ли Хеопса, то ли Хефрена. Имена эти — греческие (по-египетски соответственно Хуфу, Хафра, Менкаур), и сама версия гробниц исходит от авторитетнейшего историка эпохи классической античности — Геродота. Именно ему в V в. до н. э. рассказали о пирамидах египетские жрецы, а он аккуратно записал и воспроизвел в своей прославленной «Истории». Однако в его версии сомневались еще деятели той же эпохи.

Я собрала дюжину версий (дюжину, потому что это сакральное число), хотя на самом деле их несколько десятков, и постаралась их выстроить в хронологическом порядке, начиная от первого упоминания Геродотом и до наших дней. Итак, пирамиды — это:

1. Гробницы фараонов (версия Геродота и всей современной *официальной* науки).

2. Памятник величия фараонов (версия Аристотеля).

3. Храмы, где начертана вся накопленная древними египтянами мудрость (знаменитый иудейский историк Иосиф Флавий).

4. Место прохождения инициаций (посвящений) фараонов и жрецов (версия графа Калиостро).

5. Архивы тайных документов и государственная сокровищница (версия римского историка IV в. Марцелина и основательницы теософии Е. П. Блаватской).

6. Геофизические маяки — указатели некоего особого места на поверхности Земли, как показали исследования XIX и XX вв.

7. Обсерватория и космические часы с указанием прецессии.

8. Памятник, созданный допотопной цивилизацией — Атлантидой.

9. Проекция звездного неба, в частности, созвездия Орион. Вещный знак, оставленный инопланетянами.

10. Космодром прошлого — место старта и причал космических кораблей то ли атлантов, то ли инопланетян.

11. Генератор земных энергий для связи с Космосом (вместе с Великой китайской стеной) или для нейтрализации мощных излучений Земли в узлах ИДСЗ.

12. Аппарат для телепортации тел и душ фараонов в Дуат (Иномир).

Сразу скажу о версиях первой и последней. Они, разделенные тысячелетиями, между собой соотносятся. Версию Геродота, как я уже упомянула, оспаривали неоднократно, тем более, когда в X в. вскрыли пирамиды и мумий фараонов

там не обнаружили. При этом все исследователи и наблюдательные туристы, побывав внутри пирамид, отмечали странные ощущения: им казалось, что они находятся не внутри архитектурного сооружения, а внутри какого-то *прибора*, огромного и безумно сложного. Это породило одну из самых экстравагантных версий последнего времени. Да, пирамиды, возможно, гробницы, но явно еще *что-то*. Их можно рассматривать как гробницы лишь до определенного момента в посмертной, так сказать, судьбе фараона и на показ народу. На самом деле, особая сила, заключенная в пирамидах, в самой их удивительной *конструкции*, переносила тела и души фараонов в ту область, которую человечество зовет потусторонним миром, то есть в иное пространственно-временное измерение. Якобы в Древнем Египте овладели переходом-полетом на звезды, с одновременным преображением души, но, естественно, право такое получали только избранные, посвященные, образованные, прежде всего, фараоны, сущность которых считалась божественной.

Таким образом, пирамиды — *особые устройства* для связи с потусторонним миром, средство, обеспечивающее превращение человека в Бога, а значит, бессмертное существо.

В связи с этим, говоря о пирамидах как чуде света, невозможно обойти вниманием собственно *мифологию* Египта. Религиозная мифология страны — та основа, которая обусловила появление пирамид. Эта архаическая мифологическая система чрезвычайно сложна и для нас запутана, но главный миф я излагаю в самом доступном виде.

У великого «бога Неба и Земли» Ра было два сына — Осирис и Сет и две дочери — Исида и Нефтида. Последние, соответственно, являлись и женами Осириса и Сета. В данном случае это не просто мифологическое допущение, но и реальная практика: в Древнем Египте, даже под властью просвещенной греко-македонской династии Птолемеев (IV—I вв. до н. э.), фараоны женились на своих ближайших родственницах.

Ра разделил между сыновьями сферы влияния. Но бог пустыни и мрака Сет завидовал популярности Осириса, божества светлого, веселого, отвечающего за урожай, а значит, за благосостояние людей. Сет задумал недоброе, заманил брата в гроб, заколотил его и бросил в Нил. Гроб вынесло в море и прибило к берегу, где расположен город Библ, один из самых древних на Земле (сейчас — на территории Ливана). Исида долго искала, но нашла-таки тело Осириса и обратилась к другим богам с просьбой оживить ее мужа. Узнав об этом, Сет расчленил тело брата на 14 частей (7+7) и разбросал по всей стране. Исида с помощью сестры Нефтиды, покинувшей Сета-убийцу, собрала тело Осириса и оживила его, причем зачала от мужа сына — Гора (Хора). Воскреснув, Осирис *продолжал жить* в Другом Мире, став там судьей над душами мертвых. А египетский трон — земной престол — перешел к его сыну Гору.

Гор стремился отомстить за отца, сражался с Сетом и победил его. Однако не окончательно. Дело в том, что семейная драма, изложенная в мифе, является одновременно и отражением суточного путешествия Солнца по небу, а также под землей. Наступление ночи — смерть Осириса-Солнца. В полночь где-то глубоко в надире, то есть в самой низшей точке преисподней, происходит таинственный момент зачатия нового Солнца — Гора, который своим первым лучом-копьем побеждает Сета. Восход солнца каждое утро, прогоняющего мрак, и знаменует победу над ночью, тьмой, злом. Утро — торжество Гора, апофеоз его силы. Однако в полдень Гор становится Осирисом, вынужденным спуститься в преисподнюю, и весь круг повторяется.

В Египте каждый умерший фараон считался Осирисом, а каждый взошедший на престол, то есть здравствующий, — Гором. В советское время на экранах страны с большим успехом шел прекрасный польский фильм «Фараон» по известному роману классика польской литературы Болеслава Пруса. Там этот мотив смены Осириса Гором обыгрывается исключительно удачно. К сожалению, мало кто из

зрителей обратил на философскую концепцию фильма внимание, зачарованные крайне смелыми костюмами, экзотическим антуражем и солнечно-слепящими видами пустыни, съемки которой, кстати, проходили в Каракумах, тогда — на территории СССР.

В летописях Древнего Египта значится период, который называется «Эрой Бога». Это время (на протяжении десятков тысячелетий), когда правила божественная династия Осириса — Исиды — Гора. Но где-то в 3200—3100 гг. до н. э. появилась новая «династическая раса», и на трон Египта взошел человек по имени Менес. Именно с этого времени ученые ведут отсчет цивилизации Древнего Египта. То есть *официально* ей считается пять тысяч лет.

Фараоны династии Менеса и всех последующих, явно самые обыкновенные люди, не желали отказываться от божественного происхождения. Статус божественности доказывался разными путями. Иногда говорилось, что бог непосредственно, то есть физически, участвовал в зачатии фараона. Во многих случаях утверждалось, что дух бога (Ра или Осириса, но они, в конце концов, стали отождествляться) вселялся в тело правящего фараона. Вообще *теологически* каждый фараон считался воплощением Гора, а значит, сыном Осириса.

Египтяне полагали, что боги живут вечно благодаря своему периодическому, *проходящему через смерть, перерождению и омоложению*. То есть совсем не случайно Осирис в мифе сначала умирает, причем мучительно, — так необходимо для сюжета. Не только для сюжета — это закон жизни.

Не случайны и муки, страдания, мытарства, через которые проходит каждый смертный и даже бог на том свете. Ведь и Солнце под землей, продвигаясь каждую ночь во враждебном для него окружении, претерпевает разные приключения, жестокие испытания и даже совсем угасает в надире.

Было бы очень интересно проследить, как космогонический солярный миф о путешествии Солнца трансформировался в литературное по существу произведение — драму о сложных семейных отношениях, которая, однако, сохранила многослойное символическое содержание, явно выходящее за рамки собственно земных пространства и времени. Пока что такая литературоведческая работа не проведена. Во многом потому, что, хотя древнеегипетские иероглифы расшифрованы еще в XIX веке, но тексты, посвященные потустороннему миру, настолько безумно сложны, их тропика настолько изощренна и архаически цветиста, что понять смысл нам, современным людям, с нашей прямолинейной, примитивной логикой, затруднительно. Мои студенты не понимают даже соотнесенности судьбы Осириса-Гора, то есть солярного божества в разных ипостасях, с ежесуточным странствием Солнца. Между тем, именно на этой соотнесенности выстроены обряды погребения и поминания усопших европейцами.

У христиан хоронят обязательно *после* полудня (Гор уже превратился в Осириса) и *до* захода Солнца, чтобы уходящее в Иномир светило подхватило с собой душу умершего. Путешествие вместе с Солнцем — *гарантия бессмертия души*. Ведь Солнце, как бы ни страдало внутри земли, все же *неизменно возрождается* каждое утро, победоносно встает над горизонтом. Заметим, что ни господствующая идеология марксизма-ленинизма, ни всеохватный советский атеизм, ни эпоха научно-технической революции с ее удивительными технологиями не смогли порушить народные обряды, корни которых — в очень далеком, полагаю, еще атлантско-гиперборейском, прошлом, общем для славян и египтян, поскольку часть египетского этноса составляли представители белой расы, пришедшие с севера.

О приключениях Солнца и, соответственно, души каждого смертного рассказывается в самых древних литературных произведениях Египта: «*Текстах пирамид*», состоящих из «Книги Мертвых», приписываемой богу Тоту, «Книги о том, что находится в Дуате», «Книги Врат», «Папируса Западной Колесницы» и других. Эти тексты — своего рода путеводитель по Иномиру, в который попадает каждая душа после смерти тела. Они представляют собой заклинания, при-

званные ускорить, облегчить, обезопасить путешествие души в загробный мир и обеспечить его счастливое завершение.

Иномир, Другой Мир — преисподняя, Аид, ад — находится под землей. Один из самых известных в мире исследователей древних текстов Захария Ситчин удивлялся: «...самое поразительное противоречие состоит в следующем: почему, если путь фараона лежит в Подземный мир, в текстах говорится, что «царь совершает путь на небеса»?» Я тоже ищу ответ на этот чрезвычайно сложный вопрос и объясняю для себя: мифологическое мышление *вообще парадоксально*. При пристальном рассмотрении, в деталях, видятся противоречия и в изложенном мною семейном мифе, который считается Основным Мифом Египта, и который, несомненно, оказал влияние на многие другие мифологические региональные системы, хотя, возможно, у них у всех — одна основа. Противоречия не должны нас смущать: в мифе всегда *своя* логика. Она перешла и в эзотерические, литературные произведения. Вспомним: в «Божественной комедии» Данте душа поэта, достигнув самого дня ада, вдруг оказывается на вершине горы в чистилище. В любом белорусском *заговоре* его, так сказать, субъект, выбираясь из подпола избы, оказывается не во дворе усадьбы, как можно было бы ожидать, а в чистом поле, далеко от родных мест. Почему так происходит, разговор впереди.

В данной работе отмечу, что исследователи по-всякому интерпретируют египетский миф, ищут к нему разные подходы. Действительно, Другой Мир — под землей, но он *одновременно* — на звездах. Захария Ситчин на основе древних текстов прослеживает путь души. Этот путь проложен вроде бы глубоко в недрах, куда уходит ночью и Солнце, но он узнаваем и на поверхности как проекция подземных территорий. Земные ландшафты узнаваемы: дорога проходит через Красное море и Синайский полуостров, в горах которого путешественника поджидает ни больше ни меньше, как ракета, на которой он и отправляется на конкретные звезды или созвездия, в основном на Сириус и Орион.

В книгах Захария Ситчина приводятся многочисленные рисунки, скопированные со скал и стен гробниц, где есть непонятные объекты, в самом деле несколько похожие на ракеты. Однако зачем ракеты душе? Впрочем, исследователь уверен, что происходило и реальное путешествие тела, то есть искатель бессмертия (естественно, фараон), в своем стремлении стать богом, летал в космос, туда посылалась его мумия. Либо же это путешествие живые люди ярко себе *представляли*, так как *наблюдали* реальные полеты богов на летательных аппаратах.

Другие ученые, также с мировыми именами, например, Роберт Бьювел и Грэхем Хэнкок, рассматривают именно пирамиды как своеобразные приборы, в которых происходит *трансформация* душ и тел (ведь их не нашли в пирамидах) и их перенос в Другой Мир, восхождение к богам. Причем среди испытаний, которые проходит душа в преисподней, есть и своеобразный для нее экзамен на знание астрономии, а именно — на знакомство с *прецессией*.

Последние по времени исследования многих ученых доказывают, что пирамиды — древние обсерватории и космические часы, указывающие на *самый важный для Солнечной системы космический закон, закон небесной механики, — прецессию*. Реальное астрономическое явление здесь сопрягается с понятиями, относящимися, скорее, к мистике. Но что такое мистика, как еще не познанная реальность!

Итак, претендент на бессмертие, тот, кто хотел бы «взойти на любое небо», обязан был производить прецессионные вычисления, то есть таким образом включать свой интеллект и свою фантазию, чтобы зрительно представлять небеса прошлых и будущих эпох — не исторических, а *космических*. Пирамиды и, кстати, Сфинкс были якобы задуманы и спроектированы так, чтобы подвести к пониманию грандиозных изменений, которые претерпевало небо в течение определенного прецессионного цикла, а он продолжался почти 26000 лет.

Отмечу еще раз то, о чем напоминала неоднократно: только в нашем представлении время линейно, а древний человек воспринимал его исключительно

циклично. Другое дело, что циклы разные: сутки, месяц, год, но самый главный — «год» Солнечной системы — время, за которое она делает полный оборот вокруг некоторого центра в Галактике. Это и есть прецессия.

Как «Тексты пирамид», так и многочисленные настенные рельефы в египетских храмах свидетельствуют, что слежение за эклиптикой Солнца было главным занятием корпорации жрецов. Поколений и поколений жрецов. Ведь чтобы знать о прецессии, необходимо было непрерывно и очень внимательно наблюдать небо как минимум 50000 лет с точной фиксацией результатов. Вот еще одна поразительная загадка Египта и пирамид.

Прецессией считается «очень медленное покачивание земной оси, которое с точки зрения земного наблюдателя проявляется в таком же медленном «проскальзывании» зодиакального пояса относительно точки восхода солнца». Так написано в учебниках и разных справочниках. Ни один из моих студентов этого определения не понимает. На самом деле, для учащихся и широкой публики стоило бы писать более внятно: о перемещении Солнечной системы в пространстве, в нашем родном Млечном Пути, где круг (скорее, эллипс), то есть определенный цикл, проходится Солнцем за 25920 лет.

Почему именно эта цифра? Потому что движение идет на фоне 12 зодиакальных созвездий, вернее, двенадцати условных секторов неба, приблизительно равных по расстоянию, в *зоне воздействия каждого из которых* Солнце бывает на протяжении 2160 лет. Поскольку движение круговое, то цикл развивается со скоростью в 1 градус за 72 года, 30 градусов за 2160 лет. То есть существуй на Земле бессмертный наблюдатель, он бы фиксировал очень медленное изменение-движение неба над собой, причем возвращение к исходной точке произошло бы тогда, когда все созвездия (небесные ориентиры) прошли через определенную область неба, а именно ту область, где бывает солнце в *день весеннего равноденствия*. Если бы этот гипотетический наблюдатель смотрел на восток в течение тысячелетий, то он бы замечал, как постепенно уменьшается высота «определяющего» созвездия, на фоне которого восходит солнце в день весеннего равноденствия. Через каждые 2160 лет то или иное созвездие как бы «падает» за горизонт, его уже не видно, а на его место становится новое. Если представить эклиптику Солнца в виде железной дороги, то каждое созвездие — станция на ней. (Слово «Солнце» как космический или мифологический объект я пишу с заглавной буквы, видимое с Земли — с прописной.)

Во всех древних и даже современных календарях в течение года особо замечаются четыре главные точки, как бы «узловые станции», на которые были сориентированы разные ритуальные церемонии, у большинства развитых народов — чрезвычайно богатая обрядность. Это день зимнего солнцестояния — 21 декабря, когда солнце словно бы находится глубоко внизу, на юге, в надире, а ночь самая длинная в году, то есть Северный полюс нашей планеты максимально повернут от солнца; день весеннего равноденствия — 21 марта, когда солнце восходит точно на востоке, а продолжительность дня и ночи одинакова; летнее солнцестояние — 21 июня: солнце стоит в зените, занимая самое высокое положение за год; осеннее равноденствие — 21 сентября: день также равен ночи, как в марте, однако далее начинает уменьшаться.

Значимость этих дней, обусловленных движением планеты вокруг Солнца, пересечением его эклиптики орбитой Земли, определили и значимость тех созвездий, на которые данные дни приходятся. В настоящее время это Рыбы, Дева, Близнецы и Стрелец. Однако Рыбы — знак весеннего равноденствия на протяжении более двух тысяч лет — уже почти спрятались за горизонт, вот-вот исчезнут окончательно, опустятся вниз и для жителей северного полушария станут невидимыми. Им на смену приходит новое созвездие — Водолей (созвездия в прецессии идут как бы в обратном порядке).

Еще в конце советской эпохи пошли разговоры, что «кончается космическая Эра Рыб, начинается Эра Водолея». Действительно, в астрологии, да и в астроно-

мии это очень значимое событие. Как бы повернулась некая шестеренка на небе, положение созвездий изменилось, а реально Земля вместе со всей Солнечной системой оказалась в другом космическом регионе. Каждый регион, видимо, уникален. Но самое поразительное, что древние об этом хорошо знали, более того, ориентировали на созвездия все свое бытие. Скажем, эра Рыб прошла под знаком господства христианской религии, в которой рыбы являлись главным символом. В «Энциклопедии символов» Дж. Купера читаем: «В христианстве рыба означает крещение, бессмертие, воскрешение». Причем в христианской иконографии (католической, но не православной) обычно фигурируют как раз две рыбы — так, как обозначается в астрологии созвездие Рыб.

Таким образом, четыре созвездия, на фоне которых солнце восходит в ключевые моменты года, — это как бы *«маркеры» неба, система координат небесной сферы и каркас каждой конкретной мировой эпохи*. Но, видимо, есть ключевые точки не только в течение земного года, но и в течение «солнечного» года. Именно на эти ключевые точки, как показали современные исследования, ориентированы пирамиды. Правда, относительно «солнечного» года, то есть всего цикла прецессии, определяющими являются уже другие, не зодиакальные, созвездия. Как доказал астрофизик Роберт Бьювел, — созвездие Ориона и созвездие Дракона.

Даже ортодоксальные ученые вынуждены были, в конце концов, согласиться, что самый известный пирамидальный комплекс в Гизе является проекцией созвездия Орион: именно так, как размещены пирамиды, расположены относительно друг друга и три самые яркие звезды Ориона. Это главное открытие в египтологии в конце XX века. Правда, *данное* расположение звезд Ориона было однажды, в строго конкретную дату — 10500 г. до н. э. В то же время так называемые «шахты» внутри пирамиды Хеопса показывают на созвездие Дракона, но опять же — в эпоху 10500 лет до н. э., когда альфа Дракона являлась Полярной звездой — центром Неба.

Соавтор Р. Бьювела Г. Хэнкок пишет: «Охватывающая тысячи лет компьютерная имитация показывает нам, как с подъемом Ориона на южном меридиане неуклонно опускается Дракон на северном. Когда Дракон достигает крайнего нижнего положения, Орион достигает крайнего верхнего. Затем начинается вторая половина цикла, когда Дракон поднимается, а Орион опускается. Движение «вверх» длится чуть менее 13000 лет, столько же длится движение «вниз». Так и продолжается — вверх-вниз, 13000 лет — туда, 13000 — обратно, в соответствии с собственными вечными целями и законами».

Это изменение, которое маркируется двумя созвездиями, и показывает движение Солнечной системы вокруг какого-то звездного центра (но не вокруг центра Галактики — там все еще более сложно).

Я думаю, что на половине цикла прецессии в космосе и, соответственно, на Земле, происходит что-то кардинальное, например, оледенение или потоп. А, возможно, наоборот, это время — наиболее благоприятное для возникновения цивилизации. А потоп происходит на завершении цикла, через следующие 12—13 тысяч лет. То есть, как чередуются времена года на Земле, так сезонность определяет и прецессию.

Вообще, существование конкретных цивилизаций на нашей планете, видимо, полностью детерминировано тем, в каком месте Вселенной находится в данный момент Солнечная система. В частности, современные исследователи все чаще обращают особое внимание на указанную выше дату — 10500 лет до н. э., полагая, что она и является серединой цикла. Причем солнце в этот момент всходило в день весеннего равноденствия на Земле в созвездии Льва. Как раз в эту точку неба устремлен взор Сфинкса — существа с телом льва, огромной скульптуры, расположенной перед пирамидой Хефрена. Геологи в 1990-е годы доказали то, о чем никогда не задумывались египтологи: по многим показателям, Сфинкс высечен из цельной скалы 15—12 тысяч лет назад. То есть даты совпадают с гипотезой астрофизиков относительно возможной небесной ориентации пирамид. Таким образом, комплекс в Гизе указывал, согласно астрономическим и гео-

логическим данным, на определенную дату, чем-то чрезвычайно важную. Кстати, само слово «Гизе» в переводе с древнеегипетского — «Врата на Тот Свет».

Встает вопрос: а причем здесь бессмертие души? Но раз пирамиды — имитация какого-то важного участка неба, а пространство и время образуют единый континуум, значит, важная для определяющих созвездий дата имеет решающее значение, поскольку «что вверху, то и внизу», то есть произошедшее на небе повторяют события на земле. Можно предположить, что пирамиды построены как зеркальные копии загробного мира, как приспособление, которое с помощью слов-заклинаний и, видимо, сложных ритуалов приводилось в действие и давало возможность душе фараона легко и успешно перейти в мир мертвых и там «возродиться» в новом качестве. Возможно, назначение пирамид — служить и местом подготовки, инициации для будущего испытания души. Тогда в моем списке из 12 пунктов пункты 1, 3, 4, 7, 9, 12 — все в каком-то смысле имеют место, все справедливы в отношении пирамид, если отбросить разные абсурдные детали.

Души умерших, которые при жизни обладали *высшим знанием*, то есть хорошо ориентировались в астрономии, должны были совершать посмертное путешествие среди звезд и найти в небесах врата, ведущие в особую область — Дуат, Другой Мир. Это участок неба, ограниченный с одной стороны созвездием Льва, с другой — Ориона и Тельца. Между ними проходит Млечный Путь (на Земле его имитирует река Нил). Врата, готовящие человеку божественную судьбу, открываются не всегда, а в определенные моменты. Один момент — 10500 годы до н. э., другой — 2500 лет до н. э.

Почему возникла вторая дата? Это примерное время постройки пирамид, установившееся в ортодоксальной науке. То есть, как мне кажется, налицо стремление примирить новые открытия в египтологии с академической, укорененной за века теорией. В 1990-е годы несколько исследователей буквально взорвали застоявшийся научный мир: Джон Энтони Уэст, Роберт Бьювел, Адриан Гилберт, Грэхем Хэнкок и Колин Уилсон выступили в печати с хорошо аргументированной гипотезой о постройке пирамид некогда существовавшей на Земле цивилизацией атлантов. Согласно этой гипотезе, сегодня чрезвычайно модной, Атлантида погибла, но некоторые ее жители спаслись и расселились по миру. Среди них оказались посвященные высокого ранга, названные *аху*, которые владели секретами технологий, науки и религии Атлантиды. В Египте они все стали жрецами, самыми авторитетными людьми. Действительно, жреческая каста всегда определяла всю жизнь в Египте, владела удивительными знаниями, многие из которых и сегодня нам недоступны. Например, сейчас элементарных частиц известно более 200, а египтяне, как утверждают современные эзотерики, знали точно — 266, то есть им было знакомо понятие атома и энергии.

Размещалась школа жрецов на плато Гизе, несколько тысяч лет назад находящемся на берегу Нила (сейчас — в 13 км). Жрецы занимались очень сложными проектами. Автор многочисленных бестселлеров, популярных еще в СССР, Майкл Бейджент пишет на этот счет: «Эти посвященные, опасаясь, как бы не последовали новые катаклизмы, внедрили план долговременного строительства, который сохранил бы их тайные учения на все времена. Они изобрели метод включения этих принципов в геометрию своих строений, которым полагалось быть огромными и массивными, чтобы пережить любой последующий катаклизм. Они надеялись, что, даже если когда-нибудь в будущем вымрут посвященные их школы, позднейшие цивилизации раскроют их тайны, расшифровав ключи, заключенные в геометрию плана этих сооружений. Таким образом, послание этих посвященных атлантов могло сохраняться тысячи лет, передаваться культурам, которые возникли бы в далеком будущем».

Именно сейчас якобы пришло *время расшифровки* заложенных в пирамиды знаний, открытие послания атлантов.

Действительно, математических выкладок насчет пирамид существует множество, причем удачные расчеты производили и советские исследователи. Так,

отношение периметра основания пирамиды Хеопса к удвоенной ее высоте равно 3,1416, то есть числу «пи». Еще нам в школе говорили, что размеры плит, из которых выстроены пирамиды, имеют погрешность не более 2 мм, а в стыки между ними нельзя просунуть даже лезвие ножа.

Это было самое примитивное из наших знаний о таинственном Египте. На самом деле, наиболее удивительное и интересное из древнего периода страны, как оказалось, — учение о *душе*. Теперешние жалкие потуги что-то сказать в этой области — ничто по сравнению с фундаментальными знаниями египетских посвященных о самом, по существу, для человека, да и для Космоса, главном.

Египетская разработка теории души — наиболее глубокая из всех существующих, гораздо более глубокая, чем, скажем, у Платона, который сам явно у египтян учился. Согласно этой теории, душа любого человека представляет собой словно бы «матрешку» — она многослойная (я перевожу древние понятия на наши, более понятные), причем каждая из частей называется «душой», так как каждая значима.

В современных трудах по египтологии упоминают в основном душу «ба» и душу «ка». «*Ка*» всегда при теле, то есть при мумии и обеспечивает ее, так сказать, посмертное существование до воскрешения. «*Ба*», как я думаю, оказывается в челне вместе с Солнцем, и это — гарантия бессмертия. Еще академик Александр Веселовский в XIX веке доказал, что русское слово «бабочка» указывает как раз на форму существования души, как ее понимали простые люди. То есть у славян словом «ба» также называлась душа. А я думаю, что и «ка» имела место. Морфема «ка» добавлялась к словам, означающим понятия, которые могли «оживать»: «гребенка», «метелка», «подушка».

Была еще *тень* как часть души, потому очень распространенный в европейской литературе мотив продажи тени дьяволу равнозначен продаже души, то есть ее гибели. А у белорусов перед рождеством смотрели на плотность тени, отбрасываемой членами семьи на стену, — у кого она смазанная и нечеткая, тому суждено на протяжении года умереть.

Частью души (или отдельной душой в «матрешке») являлось и *имя* человека. Тоже, пожалуй, с этим сегодня никто не будет спорить: давая ребенку имя, мы программируем его судьбу. Частое упоминание имени умершего подпитывает его душу энергией на Том свете. Отсюда важность поминаний покинувших нас родственников в церкви.

Еще одна часть души — «*анх*» или «*ах*» (откуда явно произошло и междометие «ах»). Так же назывался и египетский крест, символ вечности, — соединение Т-образной формы с кругом (эллипсом). Нигде толкового объяснения относительно этого образа я не нашла, потому для себя решила, что именно душа «ах» — звездная, отправляется в космос, и вообще она как бы принадлежит другому измерению, параметры и понятия которого нам недоступны. Во всяком случае, наши предки тоже связывали души людей со звездами, даже считалось: сколько звезд на небе, столько на нем и душ.

Была еще душа *себ* — наследственная, переходящая из тела в тело, то есть, говоря современным языком, генетическая память. А седьмой отдел души — *кама* — нес в себе индивидуальную память человека.

Все свои, изложенные выше, соображения насчет египетской теории души я привожу (как и все остальное) впервые. Признанные ученые, так много сделавшие в новом понимании тех же пирамид, пока не подступились к теории души во всей ее глубине, потому и мне не на что опереться, приходится додумывать.

Ученые-египтологи, особенно после астрономических открытий приведенных мною выше зарубежных исследователей, разделились на две группы. Одни утверждают, что 13—12 тысяч лет назад, *сразу* после катастрофы, после гибели Атлантиды, выжившие посвященные атланты построили пирамиды, высекли Сфинкса, создав и своеобразный памятник-реквием своей исчезнувшей цивилизации, и установив знак-предупреждение для последующих поколений,

которым, однако, этот знак-код необходимо разгадать. Другие полагают, что жреческая каста создала *план* пирамид, хранила его восемь тысячелетий, а примерно в 2500 г. до н. э., в строгом соответствии с этим планом, тогдашние фараоны пирамиды таки ж возвели.

Г. Хэнкок и Р. Бьювел пишут: «...факты свидетельствуют о непрерывной передаче высочайших научных и инженерных знаний на протяжении всего этого огромного промежутка времени, а значит, о непрерывном присутствии в Египте, со времен палеолита до династического периода, группы высокоразвитых и просветленных людей — об этих неясных *аху* в текстах говорится, что они обладали знанием божественного происхождения».

Причем указанные авторы совершенно убеждены, и здесь с ними не могут спорить академические ученые, что «египетская цивилизация возникла не путем саморазвития, а путем наследования».

Что наследовалось и как конкретно реализовывался грандиозный, просто беспрецедентный план жрецов, пишут российские авторы А. Ф. Черняев и С. Н. Удалова в книге «Время пирамид. Время России. Единый замысел» (2000 г.). Они обращают внимание на то, что в Египте, на самом деле, более 90 пирамид, о чем широкой публике мало известно. Все пирамиды строились по единому проекту и расположены не хаотично, а в виде огромного космического яйца — символа возрождения жизни — длиной 85 км и шириной 52 км. Причем возводились пирамиды в три этапа.

Первый этап относится к 3-ей династии. Пирамиды в то время средние по высоте, ступенчатые, так как должны были символизировать лестницу, по которой душа восходит на небо. Самая известная — пирамида Джосера высотой 60 м, которая в ортодоксальной науке считается вообще первой в Египте. В это время отрабатывались навыки строительства.

Второй период ознаменовался как раз возведением грандиозных пирамид в Гизе. Их высочайший уровень не был достигнут ни до, ни после — вообще *никогда*: исключительный случай технического совершенства, поражающий множеством редких инженерных находок.

В третий период возводилось много пирамид, но от них остались невзрачные пригорки — они жалки, убоги, подражательны и, скорее всего, именно они предназначались для захоронения мумий фараонов, уже явно без надежды возродить их среди звезд. Но вообще все три этапа содействовали миссии, которой, возможно, наделили атланты египтян: передать и пронести через века знания о космосе и космических законах, материально закрепленные в пирамидах.

Причем строительство самых известных пирамид в Гизе осуществлялось в стране, где не было еще известно железо, но тем не менее даже разметка площадки для архитектурного комплекса, с точной ориентацией на звезды, осуществлялась такими геодезическими инструментами, каких и сегодня в нашей машинной цивилизации не имеется. Определение места под строительство требовало десятков, если не сотен, геодезических операций. Ведь место, где возведены пирамиды, в геодезическом смысле исключительно. Оно расположено вблизи *перекрещивания* 30-го меридиана и 30-й широты.

30-й меридиан берет начало на Северном полюсе, где располагалась мифическая (а может, и реальная?) пирамидоподобная гора Меру, и тянется через Кольский полуостров, о котором я писала в прошлой публикации. Этот меридиан пересекает большую, чем все другие меридианы, часть суши. В России он идет через Санкт-Петербург и древний Новгород, в Беларуси — через Гомель, в Украине — мимо Чернигова и Одессы. Пройдя Кипр и Турцию, он не минует древнюю столицу Египта Мемфис (сейчас Каир), где как раз и возведены великие пирамиды, а далее в Центральной Африке пересекает мощнейший разлом земной коры со знаменитым водопадом Виктория.

Именно этот меридиан должен быть нулевым, исходным для расчета долгот, а не Гринвичский, проходящий через Лондон, установленный в XIX веке под

нажимом тогда самой влиятельной из стран. Собственно, на древних картах, как выяснилось, именно 30-й меридиан — исходный, с него начинался отсчет. Сейчас не вызывает сомнения, что между создателями пирамид и создателями древних карт, чрезвычайно точных, существует явная связь.

Еще более насыщен культурными и природными объектами путь 30-й параллели. Она проходит через север Красного моря, где Моисей переводил евреев, бегущих из Египта в Палестину. Далее мы видим сакральные центры зарождения христианской религии: Иерусалим, Вифлеем, Назарет. Вдоль параллели жили в древности многие народы, создавшие удивительные культуры. Она идет через Вавилон, затем через Иран, Афганистан, Индию. Она, правда, фиксируется в 200 км севернее столицы Индии Дели, но именно там, где произошла главная историческая битва на этой земле, описанная в Махабхарате. Далее параллель отмечает собой Тибет. Мировой центр буддизма Лхаса находится практически на 30-й параллели. С ней связана Великая китайская стена. Далее широтная линия пересекает Японию, Тихий океан, в Америке — Калифорнию и север Мексики, где возникла цивилизация ацтеков. А в Атлантическом океане она проходит как раз по Бермудскому треугольнику, в частности, по Бермудским и Канарским островам, которые многие исследователи считают вершинами гор затонувшей Атлантиды. На указанной широте возникли практически все центры мировых цивилизаций. В Северном полушарии она делит поверхность суши и воды поровну.

Таким образом, пирамиды возведены как своеобразные *геофизические маяки* — указатели особого, исключительного региона, своеобразного центра Земли. Кроме того, весь комплекс в Гизе расположен *точно по оси* Земли. Но чтобы знать это, нужно было созерцать Землю сверху, из Космоса. Для цивилизации каменного века — дело невозможное. А с другой стороны, неужели такая поразительная географическая точность, такая исключительная привязка к сакральному центру Северного полушария и такое мастерство в возведении сооружений понадобилась всего лишь для помещения в сооружения мумий фараонов?

Как пирамиды строились, тоже совершенно непонятно. Ведь многие блоки в их основании — в 200—300 тонн. Последующие пирамиды сооружались из блоков, имеющих на порядок-два меньший вес. Какого уровня достигала математическая наука, рассчитавшая до миллиметра схождение сторон каждой пирамиды в ее вершине?! Или наука сопротивления материалов: как древние строители достигли того, чтобы не обрушивались внутренние коридоры, назначение которых, кстати, непонятно? Как попал в пирамиду Хеопса «саркофаг» (в котором не было мумии фараона), если по своим размерам он не влезает ни в один из коридоров?

Вопросов возникает множество, и не со всеми ответами на них упомянутых выше авторов можно согласиться. Так, российские исследователи полагают, что деградация в возведении пирамид на 3-ем этапе, после блистательных успехов в Гизе, оказалась сознательной и обусловлена необходимостью скрыть весь замысел. По-моему, наивно. Деградация, конечно, произошла, но нужно искать другие ее причины. Они явно недоступны для нашего ума. Во всяком случае, современные знатоки «Текстов пирамид», записанных по прошествии тысячелетий после возникновения *замысла*, отмечают странную вещь: складывается впечатление, что здесь языком цивилизации каменного века пытаются высказать истины, относящиеся к высокоразвитой технической цивилизации. Естественно, слов, понятий не хватает, а потому смысл затемнен.

Возможно, деградация *также учтена в начальном проекте*, и «Тексты пирамид» как бы призывают человечество подготовиться к существованию в тяжелых и даже экстремальных условиях.

Почему пирамиды нужно было возводить именно в 2500 г до н. э., у признанных корифеев науки Р. Бьювела и Г. Хэнкока объяснено с точки зрения астрономии довольно туманно, при том, что они издали большое количество книг — и по отдельности, и в соавторстве, с огромным количеством расчетов.

Создатели проекта учли (или сами их определили) темпы развития цивилизации и ее основные параметры в ту или иную *космическую* эпоху и рассчитали время, наиболее благоприятное для строительства. Но, скорее всего, все же, видимо, правы те, кто относит строительство пирамид к собственно критическому пункту — 10500 г. до н. э., когда Солнечная система находилась на наиболее близком расстоянии от некоего звездного центра. Они возведены то ли после, то ли накануне катастрофы и призваны были рассказать символическим языком геометрии о грозящих опасностях, связанных с прецессией.

Можно допустить, что одновременно пирамиды, накопители энергии, транспортировали тела и души фараонов в Дуат. Впрочем, с точки зрения оккультных теорий, официально признанное время строительства пирамид (приблизительно 2500 г. до н. э.) тоже рассчитано как в чем-то важное, потому и было решено, что «небесные врата открываются», а значит, наступает оптимальное время для попадания в Дуат душ фараонов и их преображение, превращение в богов.

Не мне искать решение таких страшно сложных вещей, хотя я все же пытаюсь найти им какое-то научное объяснение. Но может быть и совсем другой подход — религиозный, а для Бога все тысячелетия, о которых приходится рассуждать, как несколько дней. И вот Он-то — наиболее вероятный Автор безумно сложного замысла. Посвященные в Египте и в других древних цивилизациях как раз и стремились проникнуть в суть этого феноменального проекта, потому от них и требовались знания по астрономии, географии, математике, вообще высокая степень сознания, которое они и демонстрировали в Иномире на суде Осириса. То есть это была возможность через религиозные категории, через учение о душе поднимать уровень знаний, духовно возвышать отдельных личностей, которые могли бы содействовать развитию всей цивилизации в целом.

Наследником кого был Шумер?

В советское время о Египте, во всяком случае, о пирамидах знали даже дети детсадовского возраста. Фотографии грандиозных сооружений часто появлялись в различных изданиях или по телевидению, они упоминались в речах, когда нужно было сказать о чуде или о могуществе человечества, создавшего шедевр. «Все боится времени, но время боится пирамид». В школе по истории мы изучали и другие памятники Египта, на территории которого немало величественных храмовых комплексов: в Луксоре и Карнаке, в Абидосе, на острове Филе, в Абу-Симбеле.

О Египте в годы нашей молодости писали немало — даже тогда, когда внезапно и очень подозрительно в 1970 году умер еще молодой президент Египта Гамаль Абдель Насер, симпатизирующий СССР, и его место занял Анвар Садат, крайне враждебно относящийся к Советскому Союзу, изгнавший из своей страны всех советских специалистов, а их было никак не меньше 20000.

Вот я беру только те книги, которые случайно остались у меня и, безусловно, устарели: «Египет и египтяне» А. М. Васильева, «Который час в Каире?» В. Д. Кудрявцева, «Улыбка сфинкса» П. В. Перминова, «Вечный Египет» О. В. Колтуновича, «Три города на севере Африки» А. В. Малашенко. Зарубежных авторов, особенно из стран народной демократии, выходило в то время еще больше. Среди советских — в основном книги журналистов-международников, посвящавших свои работы политическому и экономическому положению Египта, много писавших о социальных проблемах.

Большее внимание к трудящимся людям, чем к архитектурным памятникам, — особенность советских книг о Египте. Тем не менее ни один из авторов не миновал тему пирамид. Например, П. В. Перминов посвятил им целый раздел. В частности, он писал: «...пирамидальные структуры (при условии строгого соблюдения определенных размеров и пропорций, ориентации граней по сто-

ронам света), очевидно, обладают некоторыми пока не исследованными наукой свойствами. Для этого есть ряд объективных данных». А далее он ссылается на изобретение чешского инженера Карела Дрбала, который помещал лезвия бритвы внутри пирамиды, и они затачивались. «Обнаруженный Дрбалом эффект трудно отрицать: его приспособление работает. Применяя его, он использовал стандартное лезвие более 200 раз». Указывает автор и на другие удивительные эффекты, связанные с пирамидами. Впрочем, нередко он иронизирует по поводу мистических спекуляций на эту тему. Я уже писала, что в рамках тогдашнего дискурса всему нужно было искать рациональные, строго научные объяснения. Правда, с пирамидами это не работало. Все советские авторы становились в тупик перед загадкой пирамид, так как совершенно ясно, что даже в наше время такие удивительные сооружения создать практически невозможно.

Египет был хорошо известен в СССР и потому, что там работало множество советских инженеров — прежде всего, на строительстве грандиозной Асуанской плотины. Кстати, советские летчики и воевали на стороне Египта во время арабо-израильской войны 1967 года. И хотя их участие в конфликте, естественно, тщательно скрывалось, даже не фиксировалось в военных билетах, но о советском присутствии на египетско-израильском фронте знали все.

Во времена Г. А. Насера немало познанию Египта способствовали торговые связи. Египетское вино «Абу-Симбел» с бутылочной наклейкой, на которой запечатлены знаменитые скульптуры-колоссы, по словам отведавших его, было очень сладкое и очень терпкое. Таким и должен получаться виноград в насквозь прожаренной солнцем стране.

В конце 1960-х годов ГУМ в Минске и ювелирные магазины, которых, кстати, тогда было больше, чем теперь, оказались буквально завалены египетскими сувенирами: кожаными пуфами разных форм и цветов, шкатулками из папье-маше, чеканкой с изображением царицы Нефертити и масок фараона Тутанхамона. Все это было, в сущности, низкопробным ширпотребом, но любой покупатель стремился узнать об особе, изображенной на том или ином изделии, а значит, границы познания расширялись.

В 1980-е годы, уже довольно смутные и полубезумные, в очень многих изданиях пошли публикации о «проклятии фараонов». Эта тема потом возникала не раз и на развалинах СССР. Суть вопроса в том, что после открытия в 1922 году единственной неразграбленной гробницы молодого фараона Тутанхамона многие члены экспедиции и сам спонсор раскопок граф Карнарвон умерли. От разных причин: были и несчастные случаи, но в основном — от легочных болезней. Насколько я помню, основных версий трагедии четыре: 1) вредоносный грибок из помета летучих мышей, гнездившихся в гробнице; 2) покрытые ядом ее стены, поскольку известно, что египетские жрецы были непревзойденными знатоками ядов, причем таких, которые могли оставаться действенными на протяжении тысячелетий; 3) радиация: снова-таки жрецам были известны радиоактивные элементы, которые помещены среди вещей фараона; 4) месть души *ка,* всегда находящейся вблизи мумии. Причем, если в советское время в печати преимущественно обращалось внимание на первую версию как наиболее вероятную, то в начале III тысячелетия — на мистическую четвертую. Кстати, в Москве в советское время проходила и выставка шедевров из гробницы Тутанхамона.

Вообще рядовой советский человек достаточно много, хотя и поверхностно, знал о Египте, чего не скажешь о другой древней цивилизации — *шумерской*, зародившейся в IV тысячелетии до н. э. в Месопотамии. Она меньше известна не потому, что Советский Союз не помогал Ираку, государству, располагавшемуся в XX веке, как и в настоящее время, в Междуречье. Наоборот, тысячи советских специалистов в 1960—1970-е годы построили здесь более ста крупных предприятий, по существу создали для страны, бывшей полуколонии Англии, от нуля нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность, машиностроительную, фармацевтическую, стекольную отрасли.

Возможно, меньший интерес к Ираку обусловлен бедностью его, по сравнению с Египтом, на крупные архитектурные памятники. В сущности, все энциклопедические издания СССР помещали лишь один прекрасно выглядевший объект: ступенчатую пирамиду в древнем шумерском городе Ур на юге Ирака, так называемый зиккурат («смоляную гору»). У меня есть альбом достопримечательностей страны, изданный в самом Ираке. Там показаны и другие пирамиды разной степени сохранности, но наиболее эффектно выглядит действительно тот, который остался в Уре, кстати, родине праотца Авраама, родившегося примерно в 2000 году до н. э.

Раньше зиккурат был просто холмом, который раскопал в начале XX в. знаменитый английский археолог Леонард Вулли. Вскрыл он и царский некрополь вблизи пирамиды, причем из шестнадцати могил две оказались неразграбленными, дав очень богатый археологический материал. Собственно, все, что сейчас известно о древнем Уре, а значит, во многом обо всей цивилизации Междуречья, — заслуга экспедиции Л. Вулли.

Зиккурат в Уре имел три платформы, уменьшающиеся кверху. Сохранилась лишь нижняя, высотой в 18 м, и часть следующей, на которую можно подняться по лестнице. Вообще пирамиды в Месопотамии отличаются от египетских, хотя и там есть ступенчатые. Мало того, что на верх зиккуратов ведут ступени, так сооружения еще и полые внутри. Там размещались многочисленные помещения: жилье жрецов, арсенал, сокровищница, мастерские ремесленников, городская управа. В египетских пирамидах открыто лишь несколько маленьких камер, назначение которых непонятно.

На рубеже 1980—1990-х годов появился рассказ ленинградского писателя-фантаста Бориса Зотова «Происшествие на Невском». Действие в нем происходит в начале III тысячелетия, когда жизнь прекрасна. (Блажен, кто верует! Мы теперь знаем, *какая* это жизнь.) Вокруг процветающих городов размещены 4—5-этажные пирамиды в форме зиккуратов. В этих домах «окна и передние двери каждой квартиры выходили в садик: подогреваемые теплом низлежащего жилья карликовые яблони здесь плодоносили дивно; на грядках не переводился зеленый лучок и пахучий укропчик, редиска и петрушка. Внутренний нежилой объем пирамид использовался для бассейнов, спортивных залов, саун, магазинов и прочей обслуги».

От себя скажу, что уже через десятилетие после опубликования рассказа такие дома, отели, пансионаты стали возводиться на некоторых мировых курортах. То есть идея зиккурата оказалась чрезвычайно продуктивной. Но она и во времена шумеров была продуктивной. Не нужно считать наших предков примитивами. Ведь зиккурат потому и назван «смоляной горой», что его платформы заливались битумом (в нефтеносной стране имелись целые асфальтовые озера), поверху насыпался грунт и высаживались растения. Такой, видимо, была знаменитая башня, возведенная в Вавилоне через две тысячи лет после шумеров, но полностью скопированная с зиккурата. Такими же были знаменитые «висячие сады», записанные греками во второе чудо среди семи чудес света.

Тем не менее, кроме зиккурата, широкая публика в СССР мало что знала о Шумере и его наследниках: Вавилоне и Ассирии. Между тем, народы, в постшумерскую эпоху создававшие в Месопотамии свои государства, почти полностью восприняли достижения шумерской культуры: ее письменность, архитектуру, систему календаря, счета. А послешумерская цивилизация учеными неплохо изучена.

В 1980—1990-е годы грешный, как многие деспоты на Востоке, но тогда еще не проклятый так называемым «мировым сообществом» президент Ирака Саддам Хусейн, впоследствии повешенный американцами, задумал амбициозный проект: возрождение на руинах (все же немало осталось) древнего Вавилона, бывшего на протяжении полутора тысяч лет (во II—I тыс. до н. э.) фактически столицей мира.

Город буквально поразил в свое время Геродота, до того многое повидавшего, а затем Александра Македонского, хотя эти античные деятели наблюдали уже закат, деградацию Великой империи. Однако в период расцвета памятники здесь были созданы значительные: знаменитые стены толщиной в 8 м и высотой в 12 м, башня, прототип библейской, — храм бога Мардука высотой 90 м, «висячие» сады, построенные царем Навуходоносором для своей жены Амиты, врата богини Иштар, в данный момент находящиеся в Берлине. Вот все это и намеревался восстановить Саддам Хусейн.

Однако ирако-иранский конфликт, затем война в Персидском заливе в начале 1990-х годов (при американском президенте Буше-старшем), завоевание Ирака войсками НАТО в начале XXI в. полностью разрушили грандиозные планы и получилось, собственно, все наоборот. Американцы во время оккупации свой штаб разместили как раз на руинах древнего Вавилона. Символично. Тем более, что сами США и есть современный Вавилон со всеми его плюсами и минусами. А Ирак ныне полностью повержен и переживает невообразимый упадок. Причем нынешние исламистские экстремисты-боевики, взлелеянные Пентагоном для войны в Сирии, вызывают, похоже, уже головную боль у самих американцев.

Трудно представить, что несколько тысяч лет назад Междуречье, ныне — унылая полупустыня, было процветающим регионом. В Библии Эдем, до грехопадения людей, находился на Земле, а именно — в Месопотамии. С эпохи палеолита эту территорию выбрали для жизни неандертальцы, затем кроманьонцы. Еще в период древнекаменного века в пещере Шанидар в горах Курдистана жили люди, причем пещера знаменита как раз непрерывностью существования здесь стоянок на протяжении десятков тысяч лет. Хотя, как оказалось, и их однажды достал потоп.

В 1970-х годах советская археологическая экспедиция в Ираке обнаружила медные изделия V тыс. до н. э. То есть уже тогда существовала металлургия. Однако как назывался этнос, проживающий семь тысяч лет назад в Месопотамии, неизвестно.

В IV тыс. до н. э. сюда пришли шумеры и создали одну из самых удивительных культур в истории, которой мы многим обязаны. Да, сохранилось мало архитектурных памятников, зато остались памятники письменные. *Письменностью, большим количеством текстов, в том числе художественных, и знаменит Шумер*. Как известно, кириллица — наша славянская азбука — создана на основе греческого письма. Греческое заимствовано от финикийского — а финикийское, как оказалось, — от шумерского. Впрочем, кириллица, согласно новейшим изысканиям, всего лишь вернулась на свою прародину.

Шумерский язык, благодаря счастливому стечению обстоятельств, расшифрован еще в XIX веке, а текстов на этом языке найдено множество, более миллиона. Они вырезаны клинописью на глиняных табличках и обожжены. Благодаря этому хорошо сохранились. Конечно, чтение древних текстов — дело чрезвычайно трудоемкое, а специалистов катастрофически не хватает (у нас в Беларуси их вообще нет). Тем не менее, жизнь шумеров на основе их собственных записей предстает довольно полно. Да и археология развивалась бурно. В Багдадском национальном музее, до его тотального ограбления во время натовской оккупации, сохранялось несколько сотен тысяч уникальных экспонатов.

Итак, мы обязаны шумерам гончарным кругом, повозкой на колесах, плугом со сменными лемехами, лодкой с парусом и многими другими техническими достижениями, вплоть до электрической батареи (!). Шумерские цари держали при себе советников, значит, здесь родился первый парламент. В городах размещались рынки, хранилища, верфи, школы, храмы. В Шумере изобрели печи для обжига и стали применять кирпич, правда, лишь для строительства зиккуратов. Здесь зародилась международная торговля и параллельно ей — система мер и весов. Процветало гончарство, ткачество, именно в Месопотамии изобретено макраме. Развивалось искусство, в частности, музыка с первой нотной записью,

танец и акробатика. Чрезвычайно развита оказалась медицина. Знания в этой области восприняли от шумеров и вавилоняне. Причем требования к докторам были непомерно высоки. Так, в Вавилоне врачу за неправильное лечение пациента отрубали руки. Существовала и такая практика: родственники выносили больного на оживленный перекресток, и прохожие давали советы, как его лечить. Что-то подобное широко практикуется в наших газетах для пенсионеров, где они делятся своим опытом оздоровления.

Шумер являлся житницей для Западной Азии. Вся его земля, сегодня представляющая безжизненную серую равнину, тогда была распахана, заботливо взлелеяна, устроены многочисленные каналы, дамбы, плотины, запруды. Шумеры, как и древние китайцы, — лучшие в мире мелиораторы и ирригаторы. Они освоили искусство земельной съемки, изготовляли нивелировочные и измерительные инструменты.

В Шумере впервые появился даже зверинец. Царь Шульга прославился своей фермой, где держали не только домашних животных — коров, баранов, коз, свиней, ослов, но и диких — зубров, туров, ланей, оленей, муфлонов, антилоп, кабанов, медведей и других. Согласно исследованиям польского ученого Мариана Белицкого, молоко косули считалось любимым напитком богов и приносилось им в дар, потому косулей разводили старательно. И медведей якобы было так много, что мясо молодых поставлялось на царскую кухню, а старые несли охрану у городских ворот. Такая фауна говорит и о большом количестве лесов на сегодня безжизненной территории. Позже зоопарком увлекалась вавилонская царица Семирамида, намного более известная, чем Шульга, однако первый любитель животных — именно он.

Но на одно из приоритетных мест по значимости для современной цивилизации я бы поставила систему счета, календарь. Ведь зодиак, перешедший к грекам, а, возможно, и к египтянам, изобретен здесь. Вообще знание неба у шумеров поразительное, в том числе очень точное — о прецессии. От них к нам пришла сакральность числа 7 — по той якобы причине, что Земля, считая не от Солнца, а от края Солнечной системы, была седьмой планетой. А всего шумеры знали 12 планет Солнечной системы — все известные нам, Солнце, Луну и еще одну планету, о которой скажу позже.

Именно в Шумере год состоял из 12 месяцев по 30 дней в каждом (оставшиеся пять дней, как и в Египте, игнорировались или считались дополнительными), неделя — из 7 дней, сутки — из 24 часов, час — из 60 минут, минута — из 60 секунд. Здесь была 60-ричная система счисления — своеобразный модуль, с которым легче работать в арифметике, особенно при устном счете с большими числами.

О многих других достижениях Шумера рассказывалось в советское время в научных книгах, издававшихся большими тиражами. Во всяком случае, все виднейшие мировые шумерологи — археологи и лингвисты — были хорошо представлены. Достаточно назвать фундаментальные, в самом деле, очень серьезные труды: «Древняя Месопотамия» крупнейшего из археологов XX в. А. Лео Оппенхейма, «Боги, гробницы, ученые» К. Керама, «Ур халдеев» Л. Вулли, «От Шанидара до Аккада» Б. Брентьеса, «Мифы и легенды древнего Двуречья» Д. Г. Редера, «Озерные арабы» У. Тэсиджера, «Забытый мир шумеров» М. Белицкого. Даже у меня есть многие из этих книг. Как видно, иностранные авторы переводились активно, несмотря на якобы существовавший «железный занавес».

Среди советских публицистов-популяризаторов, писавших об Ираке, я бы особо выделила Д. Ибрагимова («На земле потомков Аладдина») и О. Герасимова («На ближневосточных перекрестках»). В их книгах нет анализа текущей политической ситуации, не муссируется тема помощи СССР Ираку, но зато очень подробно и в раскованной, незанудной манере рассказывается о повседневности иракцев, вплоть до самых мелких подробностей быта.

В научной литературе до сих пор широко обсуждается тема *происхождения* шумеров. Ясно, что в Месопотамии они — пришлый народ, и согласно их мифоло-

гии, появились со стороны моря, хотя антропологи по форме черепов указывают на горное происхождение (наиболее яркий и «долгоиграющий» показатель — форма носа: если он горбоносый, значит, предки человека жили в горах). Большинство авторитетных ученых полагает, что, пройдя через Тибет и Индию, шумеры действительно приплыли в Междуречье со стороны Персидского залива.

Я в данном случае отвергаю научную осторожность — их путь, на самом деле, гораздо более дальний. Ведь настоящее название народа — «сумеры», то есть «сошедшие с горы Меру», которая, как известно, располагалась в центре Гипербореи. «Шумеры» с нехарактерным для нашего языка «ш» — заимствование из английского языка. А если отбросить все нелепые заимствования, то благодаря одному только языку можно многое сказать о наших далеких предках.

Как мне кажется, все потрясающие достижения шумеров, которые от них не отнять, принесены как раз с прародины — Гипербореи. Многое они, возможно, даже растеряли по дороге. Ведь продвигались на юг в течение нескольких тысячелетий. Но особенно меня как филолога поражает мифологическая система народа и его художественная литература.

Когда я училась на филфаке, нам о шумерском герое Гильгамеше не рассказывали. Я же своим студентам обязательно даю «Эпос о Гильгамеше» — ведь это *первое в мире художественное литературное произведение*, причем произведение, где ставятся самые глобальные философские вопросы бытия: о смысле жизни человека, о бессмертии, путях его достижения, а также впервые рассказывается о Потопе. Некоторые сюжеты белорусских сказок, о которых речь впереди, типологически близки к поэме о Гильгамеше.

О мифологической системе Шумера писать не берусь — она очень и очень сложна, включает множество богов и демонов, имена которых встречаются в художественных произведениях, а их прочитано на настоящий момент более 150. Например, есть там женское божество Баба, причем клинописный значок, обозначающий это имя, представляет собой стилизованное изображение домика на курьих ножках. Однако все же скажу о наиболее авторитетных богах, повествования о которых не лишены интереса. А в наше время — даже *особого* интереса.

Сразу хочу отметить, что мифология Шумера четко делится на две половины: одна рассказывает о богах и их непростых взаимоотношениях, другая — о том состоянии мира, когда наряду с богами на Земле уже жили и люди. Причем вторая половина мифов, в свою очередь, делится на две части — допотопную и послепотопную.

Вавилонский жрец-ученый Берос, живший в IV—III вв. до н. э., в своем труде по истории сообщает, что десять царей до потопа правили страной на протяжении 432000 лет, а первые цари после потопа тоже правили по нескольку тысяч лет. Его «Царский список» всегда воспринимался как легенда, сейчас признан действительным (!).

Главного шумерского бога Неба звали Ан (Ану), его жену, воплощавшую водную стихию, — Ки. Их союз олицетворял все сущее. В связи с этим мне вспоминаются зачины многих белорусских заговоров: «На моры-кіяне, на востраве Буяне...» Киан (Ки+Ан, а приставное «о» появилось много позже) в большинстве развитых мифологий окружал всю землю, однако находился также на небе и под землей. Впрочем, Ан, создав Вселенную, особого участия в ней не принимал. Он, как и Брахма в Индии, конечно, почитался, но не считался действенным.

У Ана было два сына: Энки и Энлиль. Первоначально в Шумере главным божеством пантеона считался Энки. Ученые полагают, что это было обусловлено большей значимостью южных городов-полисов — Ура, Урука, Лагаша, Эриду, где в образе Энки соединились древнейшие верования шумеров, вынесенные с прародины, с мифами автохтонного народа, жившего на берегах Персидского залива. Даже позже, когда возвысились северные города Месопотамии, а с ними бог Энлиль, население гораздо больше ценило и любило Энки, который был добрым, милостивым, помогавший людям в их делах.

Именно Энки в «Эпосе о Гильгамеше» подсказал праведному человеку Зиусудре, прототипу библейского Ноя, как спастись во время потопа, построив ковчег. Он же добился, при яростном сопротивлении Энлиля, дарования Зиусудре бессмертия — единственному из всех людей, потому что Гильгамеш, хотя и добыл цветок бессмертия, однако его не получил: цветок украла змея. Всему, чему научилось человечество, оно было обязано Энки, который, кстати, людей и создал.

Энлиль стал первенствовать в пантеоне, несмотря на то, что Энки старший, только на том основании, что родился от сестры бога Ана, а именно чрезвычайно влиятельной Ки. Потому статус Энлиля стал считаться более высоким. Мифы и художественные произведения Шумера демонстрируют явное противостояние Энки и Энлиля, их вечное соперничество.

Что же касается людей в мифологии, то их единственное предназначение — *служить богам*. Рая для них тоже не положено. Рай в текстах описан, но он — для богов. Храмы — жилище богов и их собственность. Вообще все принадлежит богам. Цари — посредники между богами и людьми. Все события на земле являются отражением того, что происходит на небесах.

По мере все более тщательного изучения древних текстов, уже на рубеже XX и XXI веков, ученый мир относительно Шумера разделился на несколько направлений.

Поскольку шумерские произведения действительно очень уж сюжетно замысловаты и загадочны, то одно из направлений склонилось к мистике. Его глава, известный в мире культуролог Лоренс Гарднер, утверждает, что сакральные мировые династии, истинные царские роды (например, франкские Меровинги или Влад Цепеш — граф Дракула), несущие в себе «драконью» кровь, произошли от соединения шумерских и скифских корней, причем первопредки — змееподобные (Лилит, Ехидна, Мелузина). Несмотря на всю абсурдность подобного заявления, современный миф о цивилизации рептилоидов получает все большее распространение в мировых массмедиа.

Второе направление представлено советской, а впоследствии российской наукой, особенно трудами наибольшего авторитета в шумерологии — академика РАН Анатолия Кифишина.

В 1990-е годы и в начале 2000-х годов я почти каждый год участвовала в Славянских Вече, научных конференциях, проходивших в разных местах Украины, России, Беларуси (Минск, Кобрин, Столбцы), почему-то считавшихся слетами язычников. Действительно, довольно значительную и наиболее активную часть представляли на этих форумах поклонники древней религии наших предков: русские, украинцы, поляки. Особенно в научном плане авторитетными оказались украинцы, язычество которых («ридна вера») было объявлено сразу же после провозглашения независимости страны официальной конфессией. Потому совершенно законно существовали в разных городах общины, проводились обряды, издавался собственный журнал «Сварог» и газеты. Я думаю, что в развитии определенных настроений в современной Украине значительную роль сыграли и «ридноверцы», поскольку обращение к собственной мифологии неизбежно обостряет национальное чувство. Хотя, с другой стороны, мифология характерна для тех времен, когда современных этносов — белорусов, русских, украинцев — вообще не существовало.

В проведении Славянских Вече участвовали и другие организации: «Комитет экологии человека», Белорусский социально-экологический союз «Чернобыль», «Союз борьбы за народную трезвость», «Международная славянская академия культуры, науки, образования и искусства». Потому в конференциях не считали для себя зазорным участвовать прославленные ученые. Особенно запомнились встречи с академиком Федором Угловым, человеком легендарным, все 900 дней ленинградской блокады проработавшим в госпитале, а в наши дни являвшимся единственным в мире столетним (!) практикующим хирургом. Недавно он ушел из жизни.

Мне не раз приходилось слушать и доклады академика А. Г. Кифишина. Например, его работу «Полесье — шумерский край и его четыре реки на Украине» (2000). Вообще А. Кифишину принадлежит приоритет, наряду с некоторыми украинскими учеными, в открытии в Украине протошумерского архива Каменной Могилы, датируемого XII—III тыс. до н. э. Каменная Могила — останец древнего вулкана в низовьях Днепра над речкой Молочной, в гротах которого найдены древние надписи. Оказалось, что они созданы на самой архаичной версии шумерского языка. Можно предполагать, что Каменная Могила являлась сакральным местом древнего государства Аратта, о котором говорится в шумерских текстах и с которым жрецы Шумера поддерживали связь, отправляя туда паломников.

Несмотря на свист и улюлюканье, которым сопровождалось это открытие, я допускаю все вышесказанное: ведь Украина — действительно место очень древнее, центр зарождения и встреч цивилизаций. Впрочем, и Л. Гарднер считает, что народ под условным названием «скифы», живший в Северном Причерноморье, древнее шумеров.

Наиболее ярким представителем третьего направления в шумерологии является уже ранее мною упоминавшийся Захария Ситчин. Крупный лингвист и историк, он основывается строго на древних текстах, но дает им оригинальную трактовку, которая породила массу современных мифов.

Итак, согласно его теории, в Солнечной системе десять планет. Десятая под названием Нибиру (у вавилонян — Мардук) имеет очень вытянутую орбиту и подходит близко к Земле каждые 3600 лет. Тогда, как правило, на нашей планете происходят геологические «возмущения» (есть такой в геологии термин). В один из прилетов, 440000 лет назад (эта цифра действительно фигурирует в текстах), с Нибиру на Землю отправился космический корабль, командиром которого являлся Ан. Его имя записывалось пиктографическим знаком в виде звезды.

Ан потому мало упоминается в текстах, что все время находился на орбите в корабле-матке, а на Земле заправляли его сыновья и помощники — Энки и Энлиль, а также космонавты-женщины. В частности, медицинской частью заведовала двоюродная сестра обоих братьев — Энки и Энлиля — Нинхурсаг. Вражда между братьями, углубившаяся соперничеством из-за руки Нинхурсаг, передалась их сыновьям и якобы определила весь ход событий, случившийся на Земле. (Очередная мелодрама — это я уже от себя говорю.)

Всего в первой экспедиции участвовало 50 инопланетян. Земля понадобилась пришельцам, поскольку именно на ней они обнаружили золото, необходимое им для поддержания жизни на своей планете, а не для обогащения. Сначала золото в древних рудниках добывали сами инопланетяне, но затем они взбунтовались, и тогда Энки со своей сестрой Нинхурсаг сотворили собственно людей. Процесс создания человечества с помощью генетики (соединение зиготы нибирианца с яйцеклеткой самки человекоподобной обезьяны) изложен подробно, причем сначала случилась неудача, но со второго раза все получилось. Так люди стали рабами у богов.

Золото отправлялось на космических челноках на орбиту. Для этого были построены космодромы: до потопа — на Синайском полуострове, после потопа — в Баальбеке (Ливан). Ориентиром являлась гора Арарат. Однако для создания космического посадочного коридора пришлось возвести и египетские пирамиды в Гизе.

Версия Захария Ситчина, недавно умершего, стала удивительно популярной, его книги выходили по всему миру. Он оперирует огромным количеством самых разных сведений, является и знатоком Библии, указывая, что нарицательное наименование библейского бога — Элохим — на самом деле представляет собой множественное число, намекая на инопланетян. В шумерском же языке боги, а на самом деле — пришельцы, называются ануннаками («Те с небес, что на Земле»).

У меня эта версия, однако, вызывает вопросы. Во-первых, Элохим — Сущий — Сверхличность, для христиан — Святая Троица. Уже поэтому как бы множественность. А инопланетяне ни при чем. Далее: к чему на Земле ориентиры, неужели

так слаба у Ану оказалась электроника? Вообще, если цивилизация на Нибиру являлась развитой настолько, что могла отправлять космические экспедиции, то это обязательно предполагает определенный уровень научного и технического развития в других областях. Так зачем же им были живые рабы для мучительной работы в рудниках, если достаточно было создать роботов?

Впрочем, многие приверженцы этой теории утверждают, что мы, люди, и есть биороботы. Хотя сам З. Ситчин все же держался библейской гипотезы творения человека, которая является переложенной на иврит шумерской версией.

Таким образом, согласно данной концепции, предназначение человека — служить богам. Они же — пришельцы.

Все же пришельцы

При всей моей неприязни к теме пришельцев я все же с *неизбежностью* вынуждена к ней обратиться. С неизбежностью потому, что к этому подвела логика повествования и потому, что миф о пришельцах, выявляя глубинные архетипы, является глобальным мифом второй половины XX — начала XXI вв. Стало быть, обойти его никак нельзя.

Вообще до XX в. люди всегда верили в населенность Космоса, не сомневались в жизни на Луне, Марсе, Венере. В философской повести «Микромегас» Вольтера на Земле появляется посланец Сатурна. В «Войне миров» Г. Уэллса недружественные марсиане высаживаются на Землю.

Советские люди, еще на заре космической эры, также интересовались «проблемой вмешательства». По письмам читателей редакция журнала «Вестник знания» в 1930 году обратилась с вопросом об «открытых контактах» к Константину Циолковскому и Николаю Рынину. К. Циолковский, уже признанный авторитет в этой области, ответил осторожно: мол, возможности даже высокоразвитых цивилизаций небезграничны, и до Земли просто еще не дошла очередь. Хотя в своих трудах он высказывался как раз смело и предполагал «скрытый», «теневой» контакт, позволяющий, с одной стороны, контролировать земную цивилизацию, с другой — дать ей возможность развиваться достаточно независимо. В открытый контакт, торжественный прилет инопланетных гостей и братание их с землянами ученый не верил.

Профессор Н. Рынин создал по существу энциклопедию в области авиации и космонавтики — «Межпланетные сообщения», которая выходила в 1928—1932 годах в девяти выпусках. В выпуске первом, озаглавленном «Мечты, легенды и первые фантазии», он собрал фольклорный материал, имеющий отношение к космическим полетам. И он ответил читателям журнала, что, согласно легендам очень многих народов, в прошлом на Землю насельники иных миров прилетали. То есть Н. Рынин был первым, кто заговорил о палеоконтакте, идеей которого прославился много позже швейцарец Эрих фон Деникен. Его нашумевший в мире научно-популярный фильм «Воспоминание о будущем» шел в конце 1960-х годов и у нас, даже мой отец-скептик его посмотрел. Фильм дал толчок интереса к теме инопланетян новому поколению советских людей.

Я не буду пересказывать очень многие исследования на эту тему. Постараюсь подойти к проблеме с другой стороны.

По-моему, важно найти новые пути к сюжету, постараться освободиться от сковывающего влияния ограниченности наших представлений. И новаторами здесь всегда выступают писатели-фантасты. Я и вспомнила некоторые художественные произведения на тему контакта, причем контакта именно на Земле.

Многие советские авторы были уверены в гуманности инопланетян, в их готовности помочь молодой цивилизации землян, даже притом, что космический закон категорически запрещает вмешательство в иные миры. Правда, этот закон придумали сами фантасты, да и о гуманности судили, скорее, по себе.

В рассказе «Образца 1919-го» Владимира Григорьева (1977) действие происходит во время гражданской войны в России, на территории Сибири. Полк красноармейцев попал в безвыходную ситуацию: прижат к непроходимой трясине и со всех сторон окружен колчаковцами.

Вдруг перед окопами появляется незнакомый человек, совершенно не боящийся пуль. Его приводят в командирский блиндаж. Одет незнакомец странно. Чтобы его не приняли за шпиона белых, он обрисовал их позиции так точно, словно видел сверху, и эти сведения совпали с разведданными красных.

В конце концов оказалось, что незнакомец — марсианин, кинооператор-документалист. Ему нужны эффектные кадры: гибель большой группы людей. Сотни витков он и его товарищи намотали на орбите Земли, зондировали, пока нашли подходящую ситуацию — безвыходное положение полка красноармейцев. Оказывается, на Марсе художественные фильмы уже не снимают: не могут они *пронять* зрителей, все видано-перевидано. Им нужна достоверность. «Актер на экране — пройденный этап, — говорит инопланетянин. — Для нашей планеты вообще вся ваша жизнь — наш пройденный этап». Правда, оператор на своей планете — специалист по счастливым концовкам. Но послали на Землю именно его, так как нужно было «изобразить смерть через зрение оптимиста». Комиссар отряда возмущен.

В рассказе приводятся долгие разговоры комиссара и инопланетянина о счастье. Похоже, большевик владел даром убеждения. Во всяком случае, его собеседник решил пожертвовать собой, спасши отряд. Пришельца окружало силовое поле, благодаря которому он был неуязвим. Он расширил сферу действия поля, проложил им как бы дорожку через болото, по которой полк и ушел.

Утром началась атака белых. Они уперлись в край трясины, не встретив никакого противника, кроме одного убитого в странной одежде. Для себя у него спасительного силового поля не осталось. Однако его куртка представляла собой передающее устройство, и фильм транслировался на Марс, где имел грандиозный успех. Пришелец словно бы говорил: «Мол, желали полюбопытствовать, как пятьсот чужих людей кровью обливаются, а не желаете ли взглянуть, как всего один с жизнью простился, один, да зато плоть от плоти ваш брат, такой же марсианин!»

Автор задается вопросом: изменил ли этот случай представления братьев по разуму? По-моему, обыватель — везде обыватель, что на Земле, что на Марсе, и растрогать его сложно. Но праведники, жертвующие собой, тоже были и есть всегда — у любого народа, в любой цивилизации.

В рассказе узбека Ходжиакбара Шайхова «Песни Дархана» (1985) инопланетяне высаживаются на Земле, но так неприметно, что их замечает только наблюдательный мальчик. Они вылечивают его бабушку от паралича.

Некоторые авторы-фантасты уверены, что как пришельцы нас могут чему-то обучить, так и они немало постигают на Земле.

В рассказе Юрия Никитина «Встреча в лесу» (1985) таежный охотник Савелий встретил несколько странных существ: «ростом с человека, только тонкие, глаза — как у стрекоз, уши — бубликами, лапы тоненькие, утиные, с красными перепонками меж пальцев. А сами похожи на ящерок». Познакомились. Существа оказались с Антареса. Очень застенчивые. Долго не решались подступиться к Савелию с просьбой. Наконец решились: робко попросили продать им одну тлю за золото, бриллианты, уран. На более совершенный организм, объясняли они, у них просто не хватит средств. Савелий великодушно обменялся с ними: им — тлю, а взамен получил оружие с просто немыслимыми возможностями, способное уничтожить от мелкого зверька до континента. Оказывается, Земля — единственная планета в Галактике, где можно встретить различные «самоорганизующиеся механизмы» — так пришельцы называли живых существ. Они считали, что им несказанно повезло, и от счастья даже всхлипывали. Однако и Савелий задумался об окружающем его богатстве.

В рассказе «Посылка» (1989) Владимира Малова с неба падает небольшой шар. В нем оказывается пластинка, на которой записан большой объем информации (прототип миничипа). Ученые, да и все земляне, надеялись, что, расшифровав запись, они узнают о разных удивительных научных и технических достижениях инопланетных цивилизаций. Запись расшифровали, и оказалось, что на ней записаны слайды прославленных картин из земных музеев и музыка гениальных композиторов. То есть работал разведчик-пришелец, которого больше всего интересовало земное искусство. В самом деле, произведения искусства — лучшая информация о том, что собой представляет человечество. Видимо, потому, что искусство — явление уникальное для других цивилизаций. Посылку с этой удивительной информацией отправили из какой-то точки на Земле в направлении неизвестной планеты, но произошла неполадка, и она вновь упала на Землю, дав возможность людям лучше присмотреться к самим себе.

Вообще смысл большинства произведений о контактах — познание человеком себя, стремление развить свои способности, реализовать их, помочь то же сделать другим. А прогресс, как я глубоко убеждена, достигался бы сам собой: благодаря деятельности людей, их творчеству. То есть иметь целью прогресс вообще не нужно. Цель — человек. Это часто декларируется на всех уровнях, но всегда на практике забывается. Литературные произведения, в том числе фантастические, призваны напоминать о главном.

В рассказе Владимира Рыбина «Зеленый призрак» (1981) инопланетяне устроили землянам рай, дали абсолютно все, что душенька желает. Не нужно работать — только развлекаться. В конце концов, все мыслимые развлечения надоедают, поэтому придумываются новые, все более изощренные, например, разные дурацкие конкурсы. Но это как раз то, что мы сейчас проходим: потребление и получение удовольствий. О многих советские писатели-фантасты и не додумались, то есть представить себе не могли, что *такое* возможно. В упомянутом рассказе осуждается главная идея инопланетян в их благодеяниях землянам. Она заключается в утверждении всего нового и безусловном отбрасывании всего старого. Однако без эволюции, разумного сочетания старого и нового, — гибель.

Говорят, что многие научные и технические достижения последнего времени получены именно от инопланетян, американцы якобы, еще при президенте Д. Эйзенхауэре, заключили с пришельцами тайное соглашение. Еще циркулирует гипотеза, что, сбив некоторые НЛО, земные инженеры позаимствовали из них самое ценное. Однако всегда ли чужие технологии несут благо? Об этом задумывались еще советские писатели.

Владимир Григорьев в рассказе «Над Бристанью, над Бристанью горят метеориты!» (1977) полагает, что люди уже готовы принять технические достижения инопланетных цивилизаций. Правда, сначала самих инопланетян нужно распознать. Над городом Бристань пролетел метеорит и упал за лесом. Группа специалистов поехала его искать. Нашли много валунов, но не метеорит. После их отъезда плоский валун, на котором они трапезничали, раскололся, и оттуда вылез человек. Марсианин в виде человека. Он научился языку, пока лежал в валуне, а ученые вокруг вели умные разговоры. Прилетел он на корабле, который принял вид камня. Основная его задача — сбор разведданных. Пришелец ушел в город, чтобы работать в библиотеках.

Прилетевший к нам разведчик не лишен романтичности. Он вспоминает жизнь на Марсе, где глубоко внутри планеты работают заводы с роботами, а марсиане даже не задумываются, откуда берется их материальное изобилие. «Среднему марсианину, привыкшему к столь прекрасному порядку вещей, трудно понять, из-за чего бьются люди Земли, лишенные пока сказочно совершенной автоматики. Однако... и марсиане когда-то стояли у станка...» Каждый получал по труду. А сейчас марсианин мечтает поделиться с землянами технологиями: «Пусть разом перемахнут через барьер времени. Перемахнут — и окажутся рядом с нами... Они готовы, они выдержат».

Явно писал прекраснодушный идеалист, какою и я была в то время. Однако тогда же писатели утверждали и другие идеи, а художественные приемы, сюжетные ходы употребляли разные, достаточно интересные. В рассказе Юрия Медведева «Чертова дюжина Оскаров» (1978) повествование ведется от первого лица — посетителя ресторанчика в Крыму. Здесь рассказчик знакомится с забубенной головушкой — разбитным человечком по фамилии Жилевин. Тот, выпив, бахвалится, якобы он знаменитость. Действительно, полиглот, обладает удивительной способностью к языкам. Именно поэтому был приглашен в киногруппу режиссера Михаила Барковского, снимающего фантастический фильм о Сатурне. Съемки фильма проходили в долине вблизи Судака. Были построены соответствующие декорации: население Сатурна представлено дикарями. Однажды ночью Жилевин застает визит летающей тарелки и чудесным образом оказывается внутри нее. Все остальные члены земной киногруппы усыплены. Оказывается, на Землю нагрянула киноэкспедиция как раз с Сатурна — съемки планировали в Африке. Однако по дороге пришельцы заметили реквизит земной съемки: примитивные хижины, размалеванных дикарей. Возмущены. Изымают уже снятые сцены и заменяют своими — документальными — о настоящей сатурнианской жизни: летающие дворцы, дома, растущие, как деревья, схватки чудовищ... Однако берут с Жилевина клятву: сохранить страшную тайну, а иначе его «выведут из человеческого облика». Тот обещает.

Обнаружив подмененный фильм, режиссер Барковский оставил все как есть, ничего никому не сказав. И успех имел грандиозный: все мыслимые премии, в том числе тринадцать Оскаров, огромные деньги, мировая слава, престиж. Но, в конце концов, происходит ссора Барковского с Жилевиным. Последний обвиняет режиссера в ворованном фильме. Тот в ярости изгоняет полиглота из группы. С того времени он запил. И вот рассказал свою историю первому встречному — герою-рассказчику. Тот недоумевает: как Жилевин осмелился нарушить клятву, не боится ли он мести? Оказывается, не боится, на том основании, что пришельцы не будут себя демаскировать. «Однако существует другой путь, — спорит собеседник. — Они могут зависнуть на орбите, а к тебе командировать специалиста по преображению личности». Снова смеется Жилевин, объясняя наивному человеку, что пришельцы уродливы. Но подкованный турист не сдается — пришельцы ведь могут принять любые формы. Жилевин на этот счет спокоен, отмахивается, переводит разговор на другое, восхищается замеченной у собеседника удивительной зажигалкой из титана. Кончается рассказ такими словами: «Ты прав, она титановая. Сконструирована на Титане, обитаемом спутнике Сатурна. А на самом Сатурне жизни нет, — сказал я и нажал четыре нужные кнопки на зажигалочке. За мгновение до того, как Жилевин залаял».

Конечно, рассказ внутренне юмористичен, как и многие другие произведения на тему «контакта». Правда, в «Чертовой дюжине Оскаров» есть и еще одно «дно», которое я усмотрела только сейчас, при перечитывании рассказа: он разоблачает махинатора-режиссера, у которого был реальный прототип — тоже снимавший фантастику, тоже прославленный не только в СССР — в мире, но оказавшийся, по воспоминаниям его коллег, не лучших моральных качеств.

Что же касается нашей темы, то видно, что пришельцы далеко не всегда гуманны и при этом свято блюдут свое инкогнито. Но иногда их ностальгия по родной планете так глубока, что вынуждает раскрывать себя. В рассказе Александра Табенькова «Шестьдесят первая Лебедя» (1982) инопланетяне посещают дальнюю земную обсерваторию, чтобы посмотреть на свою звезду. И в конце концов признаются: «...очень трудно ходить среди вас и ни словом, ни жестом не выдать себя...»

Таким образом, проблема маскировки пришельцев под людей или под другие земные объекты возникла, похоже, впервые в советской литературе — задолго до прославленных американских фильмов на ту же тему («Первая волна», «Звездные врата», «Спрятанный», «Люди в черном», «Отдельные особи» и многих

других). Литературная зарубежная фантастика на тему «контактов на Земле», конечно, тоже существовала, но она была более примитивной и не такой забавной на выдумку, как советская.

В повести Олега Мороза «Проблема SETI» (1988) инопланетные цивилизации внедряют на Земле своих агентов, уничтожая у них память о своей истинной сущности, а насаждая память земную, но по определенной программе. Один из героев — Борисов — как раз такой объект манипуляций, о чем становится ясно в конце. С виду он совершенно обыкновенный земной человек, но одержим поиском иных цивилизаций. По мере развертывания сюжета появляется реальный пришелец — на Земле он кандидат физико-математических наук Кохановский. У него сохранилась память об истинной родине — видимо, произошел какой-то сбой. Он не имеет права себя выдавать, но выдает, раскрывает некоторые тайны. В частности, рассказывает о Галактическом клубе (типа Содружества Кольца у Ивана Ефремова). В этом своеобразном космическом Евросоюзе представлены галактики разных уровней развития, причем более продвинутые отнюдь не помогают отстающим, так как считается, что до всего нужно доходить своим умом. Если жить на готовеньком, то это прямой путь к вырождению.

От себя скажу, что сказанное касается не только звездных цивилизаций, но и отдельных стран на конкретной планете. Рассказ писался во время «перестройки-перестрелки» в СССР, когда начала господствовать либеральная доктрина, одно из главных положений которой: «Запад нам поможет». Оно и теперь актуально. И неважно, что сам Запад переживает глубочайший кризис. То, что вдолблено в головы, так просто оттуда не улетучится. Понимают это и герои рассказа. Тунгусский метеорит, оказывается, — работа Кохановского как предупреждение людям. Они его не поняли. Тогда он и раскрылся. Впрочем, объявлен ненормальным.

В рассказе Михаила Грешнова «Дробинка» (1983) пришельцы внедряются в тела людей не просто как отдельные особи, но целой колонией. В женщину попадает дробинка. Потом она плохо себя чувствует, особенно сильную потребность ощущает в железе. Случайно выясняется, что она дает сильный электромагнитный фон. После многих исследований оказывается, что в ее теле поселилась инопланетная цивилизация. И чудесно устроилась. Лимфа крови для пришельцев — питательное вещество. Кислород для технических нужд они добывали из красных кровяных телец, не уничтожая, однако, их, а высасывая атомы кислорода то из одного, то из другого эритроцита. Города-колонии основали в легких. Средствами передвижения стали закрытые лодки, типа наших подводных, — двигались с помощью тока крови. Цивилизация оказалась технической. А время у гомункулов, естественно, другое. Отдельная особь жила 7—8 дней. Каждый наш час у них равнялся приблизительно году.

Земные ученые сумели расшифровать язык пришельцев, вошли с ними в контакт, умоляли покинуть тело женщины, из которой высасывали жизненные соки. Те в ответ: «Верните наш корабль — тогда улетим». А корабль — дробинка. Напряжение в рассказе держится на поисках дробинки. Она счастливо находится, и ее вновь вводят в тело женщины. Гомункулы размонтировали свою технику и улетели.

Признаем, что сюжетный ход удачный, снова-таки, не без юмора. Правда, враждебными бывают не только инопланетяне к людям, но и наоборот. Классической в этом смысле стала детективно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”», по которой снят очень мрачный фильм. На Земле появляется группа замаскированных под людей инопланетян, состоящая из живых существ и биороботов. Но она уничтожена мафией. Интересно то, что люди здесь более странные, чем инопланетяне. Видимо, в этом — «изюминка» произведения неистощимых на выдумку Стругацких.

Но в любом случае чужое страшит. В рассказе М. Грешнова «Железный солдат» действие происходит в конце 1980-х годов, но встретившийся героям старик рассказывает о своем детстве. В 1914 году во время жатвы на поле вместе

с градом упало большое яйцо величиной с бочку, из которого выбрался человек в железе, видимо, в скафандре. Поскольку уже началась мировая война, его забили, а железный лом выбросили с кручи в реку.

После таких рассказов, которые выглядели документальными, пошли в разных изданиях подобные воспоминания под видом писем читателей. Эти случаи из жизни активно печатаются до сих пор. Стал даже выходить специальный журнал — «Невыдуманные истории».

На самом деле, это самый настоящий *фольклор*, творящийся на наших глазах. И создается он по классическим законам мифологического мышления: как раньше простые люди встречались с лешими и русалками, так сейчас — с инопланетянами. Очень трудно определить, где в этих рассказах действительная встреча с неведомым существом, причем, возможно, не реальным, а голограммой, где видение, галлюцинация, а где выдумка.

Но осуждать «контактеров» нельзя. Мы мало об этом задумываемся, но на самом деле дух человека чувствует свое истинно космическое предназначение, томится скованностью земной оболочки. В сущности, мечта о «контакте» высокая, потому что, не имея братьев по разуму на других планетах, не веря в их существование, человек, пожалуй, и не сможет полностью реализовать в себе человеческое.

Что же касается художественных произведений на тему «контакта на Земле», то, по моим подсчетам, начиная с 1960-х годов, пика расцвета фантастики, и до конца существования СССР, этих произведений выходило раз в двадцать *меньше*, чем на тему «контактов на других планетах». То есть о путешествиях в космос и чудесных там встречах советские фантасты писали гораздо больше, чаще, охотнее. Это понятно: советское время — время активных, деятельных людей, искателей, готовых осуществлять свои мечты, не боящиеся трудностей и лишений. Они рвались в космос, жаждали приключений, деятельной жизни, их не страшило неведомое. Нынешнее время — для хлюпиков, нытиков, лентяев и потребителей, пребывающих в тайной надежде, что пришельцы разрешат все земные проблемы («вот приедет барин...»), правда, и не без боязни их. Причем все больше распространяется вера, что пришельцы уже давно среди нас.

Но если они способны принимать любой облик, то зачем им демонстрировать себя в виде НЛО? А как раз НЛО люди видят постоянно, в сущности, дня не проходит без новых сообщений по всему миру. Никто сегодня не берется однозначно объяснить, что это такое. Я думаю, что в большинстве случаев — метеорологические явления, плазмоиды-гелиоболиды или, как я писала в предыдущей публикации, геоболиды, то есть излучения, выбросы энергии Земли. Во всяком случае, энергетические образования.

Если же НЛО имеет техногенный вид (и таких немало), то он может быть чем угодно: неудачным запуском спутника, испытанием нового супероружия, полетом потомков уцелевших нацистов из Новой Швабии, усовершенствовавших свои «летающие тарелки», над которыми работали во время войны... Может быть (отдадим дань романтикам) и кораблями атлантов, живущих под водой; махатм — «великих душ» Шамбалы; посланцев из параллельных миров, из будущего, с «двойника-антипода» Земли — планеты Глории, постоянно находящейся за Солнцем... Не исключено, что порождение Мирового Разума... А откуда на самом деле — когда-нибудь мы узнаем. Но сейчас загадка необходима, чтобы было интереснее жить, разгадывая ее...

Продолжение следует.

ЗОЯ ЛЫСЕНКО

Свет его души — в его полотнах

Он был творцом, художником от Бога,
Но широко трясла его дорога...
Он рисовал картины как иконы
И умер на руках своей мадонны.

Андрей Скоринкин.

Из всех творцов, пожалуй, наиболее зримую память о себе оставляют живописцы. И даже если художника уже нет с нами, его картины продолжают жить, наполненные живой энергетикой их создателя.

31 октября прошлого года, на 69-м году жизни ушел в мир иной Алексей Кузьмич — создатель светоносных полотен, который уже давно снискал себе славу белорусского Рафаэля. Ведь только ему из всех современных художников была присуща и подвластна тематика мадонны.

«После Леонардо да Винчи и Рафаэля эту тему никто, по сути, не продолжал, тем более — в славянском мире», — подчеркивал Алексей Васильевич. И свое творческое предназначение он видел в продолжении традиций Ренессанса в современных условиях на нашей белорусской земле. «Мужчины уже выполнили свою миссию, создав цивилизацию, основанную на насилии, войнах и уничтожении себе подобного, — рассуждал художник. — Теперь наступила эра женщины, которая дает жизнь и которая спасет род человеческий. Тайну мадонны мечтали понять все величайшие художники. Все гении, особенно да Винчи, стремились постичь тайну материнства. Но эту величайшую загадку, видимо, не дано разгадать никому из смертных. И предназначение художника заключается в бесконечном познании идеала».

Для Кузьмича мадонна стала всеобъемлющим образом, вобравшим в себя возвышенное и земное. Множество ее ликов на дивных полотнах отображают и земную женщину-мать, и матерь рода человеческого, и материнскую суть Вселенной. И нельзя не заметить, что в стилистике всех этих картин прослеживаются характерные особенности иконной образности. Зачастую художник черпал их из своих дивных сновидений, когда через зримые образы из высших сфер получал недоступную другим информацию. Вначале ему во сне являлась мадонна-Богоматерь: она появлялась из огромного, распаленного солнечного диска и шла прямо на него — в белых одеяниях, с младенцем на руках. А потом ему сподобилось увидеть Божий лик, который явственно проявился на том же пылающем солнечном диске. Обо всем этом Алексей Васильевич рассказывал не один раз с таким возвышенным порывом, что казалось, будто сам он только что сошел из горних высей... Потому так необыкновенна сила художественного и эмоционального воздействия его картин. Как будто в них, как и в работах да Винчи, заключен какой-то неведомый код. Они притягивают, завораживают, своим необъяснимым воздействием проникают в подсознание и дают какое-то новое знание.

Картины этого неповторимого Мастера очень своеобразны и по колориту. Их цветовая гамма образует какой-то единый тепло-золотистый или прозрачно-серебристый тон, и полотна как бы излучают потоки вибрирующего света, отчего столь сиятельны лики его мадонн и столь зримо воздушное пространство вокруг них. Это особенно явственно ощущается в циклах его работ «Золотые мадонны» и «Серебряные мадонны», а также во множестве других полотен.

Смысловое разнообразие работ художника проявляется и в других тематических циклах: «Скорбящие мадонны», «В немой гармонии печали», «Коронация мадонн»... Но среди обобщенных, вечных образов мадонн встречается немало и таких, которые носят явную печать современности, сохраняя, однако, характерную образность, например: «Вечер», «Ожидание», «Тихая радость». Есть среди полотен Кузьмича и явно указывающие на место их создания: «Зорка Венера», мадонна «Беларусь», «Минская мадонна». Отдельный цикл составляют работы, представляющие известные женские образы белорусской истории: «Евфросиния Полоцкая», «Плач Евфросинии Полоцкой», «Монахиня», «Плач Рогнеды» и другие.

Одной из ключевых в творчестве Кузьмича является также тема бытия и единства славянских народов. И этому посвящены циклы его работ: «Свет славянских мадонн», «Жертвенность славянских мадонн» и другие, где выделяются такие полотна, как «Русь святая», «Полыхающая Русь», «В сиянии древнего лика», «Мадонна Киевской Руси». Примечательны мысли художника об особом предназначении славянства: «Через славян, через российскую нацию Господь показал всему миру, каким путем нельзя идти. Отрицание Бога опасно не только для жизни человека, но и для существования Земли. Чтобы очистить славян от тяжелого греха, Господь принес в жертву мученика-царя Николая Александровича». И вполне закономерно проповедуемые Кузьмичем идеи славянства способствовали тому, что он был избран академиком международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения.

Очень знаменательным является также тот факт, что ко дню учреждения в Беларуси в 1996 году государственного праздника — Дня матери — была приурочена выставка работ Алексея Кузьмича, и с тех пор подобные выставки стали у нас в республике традиционными.

Всегда было интересно наблюдать за теми посетителями выставок, которые видели работы Кузьмича впервые: едва войдя в выставочный зал, они останавливались пораженными... Лики мадонн, взирающие со светоносных полотен, просто ошеломляли и притягивали к себе какой-то магнетической силой.

Притягательным был и сам художник: необыкновенно живой и очень непосредственный в общении, с ясным и открытым взором. В его лучистых синих глазах всегда светились искренность и доверчивость, что вкупе с какой-то первозданной, присущей только ему простотой зачастую сбивало людей с толку: некоторые, не вдаваясь в размышления,



Со своей земной мадонной. 1990 г.

его чрезмерную открытость и непосредственность считали наивностью, а поэтому не могли понять, откуда же берется такая мощь его произведений. Каким непостижимым образом этот «наивный» художник раскрывает в своих творениях темы большого философского звучания: о смысле человеческой жизни, о моральном и нравственном долге, о предназначении женщины-матери. И что особенно важно: воспевая возвышенное, он одновременно напоминает и о существовании иных сфер бытия, зримо показывая единство и борьбу противоположностей, света и тьмы.

А все дело в том, что, как и все большие творцы, Алексей Кузьмич наделен обостренным восприятием и его «наивному» взору раскрывается несоизмеримо больше... Он видит то, чего не видят другие — создатель наделил его тонкой духовной организацией, способной улавливать биение пульса Вселенной. Отсюда и истекает внутренняя убежденность художника в своей особой творческой миссии.

И хотя все лики кузьмичевских Мадонн — обобщенный образ возвышенной женской сути, но в то же время художник не скрывал, что при создании этих полотен моделью была его жена. Для него она — воплощение женского идеала, земная богиня, муза и вдохновительница. И, наверное, не будь ее рядом с Мастером, не было бы и этих светоносных полотен. «О такой женщине тщетно мечтали великие живописцы прошлого, но она явилась мне, — любил повторять Алексей Кузьмич. — Она обладает той тайной, над раскрытием которой я и призван трудиться».

О своей музе Алексей Васильевич говорил всегда только с восторгом, иначе он не мог. И особенно любил вспоминать тог миг, когда увидел ее впервые, и свои первые слова, обращенные к ней. Он случайно увидел ее из окна: юная, пышноволосая, высокая и необыкновенно статная, она входила в магазин, располагавшийся напротив. Она была не просто божественно прекрасна, но и необъяснимо притягательна, и бедный художник мгновенно понял, что попал в плен ее чару-



Во время летнего отдыха. 2006 г.

ющего магнетизма. Но сразу пойти на знакомство не посмел, и к его счастью, чудо повторилось: златоволосая богиня снова появилась у дверей магазина, как оказалось, она нередко сюда заглядывала. И однажды, набравшись смелости, он открыл заветную дверь и увидел там свою богиню, примеряющую сережки. «Вы — весна!» — с восторгом промолвил он и ощутил на себе лучезарный взгляд земной мадонны... Без никакой опаски она сразу доверилась ему — человеку, который был старше ее почти на двадцать лет, и, став его музой, прошла рядом весь его путь от опального художника до признанного Мастера. (Да, в молодые годы Кузьмича с его мадоннами никуда «не пущали» — разве могло быть иначе в эпоху соцреализма...)



Алексей Кузьмич-младший.

Часто Алексей Васильевич вспоминал и о своем детстве, с особой теплотой говоря о матери и пятерых старших сестрах, на попечении которых он находился с самых малых лет. Ведь отец, весь израненный, вернувшись с фронта, вскоре умер прямо на пашне. Но в этих воспоминаниях совершенно не было горестных нот, неизбежно связанных с их горьким послевоенным существованием. В сознании осталось иное: светлая аура мадонн, населявших родительский дом. (И это явственно отражено на картине «Мое золотое детство», где он, подобно ангелочку, купается в лучах теплого света, исходящего от ликов матери и сестер, и эта яркая метафоричность подчеркивается изображением на холсте золотой купели.) Еще не успев окрепнуть, в подростковом возрасте, он уехал на заработки: на строительство Красноярской ГЭС. Но не за длинным рублем, по примеру других, отправился в Сибирь юный полешук — его подталкивала к этому осознанная необходимость, ведь он был в семье единственным мужчиной.

А лично для себя, казалось, ему вообще ничего не нужно было. Кроме творчества, без чего он жить не мог. Все, сколько-нибудь близко знавшие Алексея Васильевича, отмечали, что в жизни он был поразительно неприхотлив, никогда не стремился к материальному достатку и, тем более, к внешнему лоску. А в дружбе был непосредственным, как ребенок, где отношениями правит только взаимное притяжение и искренность.

Как истинный творец, он смотрел на жизнь философски и прекрасно понимал, что добро и зло всегда идут по жизни рядом — так было, есть и будет. И бороться со злом какими-то силовыми методами бессмысленно, это приносит только новое зло. А вот побеждать его можно творя добро. И чем больше будет в мире добра, тем меньше места останется для зла. И этому принципу он следовал до конца своих дней, считая себя при этом грешным человеком.

Последний год жизни Алексея Кузьмича был очень удачливым в плане выставочной деятельности. Даже его последние месяцы, отягощенные тяжелой болезнью, были заполнены этими приятными хлопотами. Художник еще лично принимал участие в открытии своей персональной выставки «Светоносные лики мадонн», проходившей в Минске в Художественной галерее Михаила Савицкого. Вскоре после этого в столице прошла еще одна традиционная выставка его работ,

приуроченная ко Дню матери. А незадолго до смерти Алексея Васильевича экспозиция «Светоносные лики мадонн» экспонировалась в Бресте, в Художественном музее Брестской крепости. И в последний день ее работы светоносный художник ушел из жизни с сознанием того, что его творчество нужно людям.

За годы столь плодотворной деятельности в мастерской Алексея Кузьмича накопилось около тысячи полотен, которые теснились на самодельных стеллажах, занимавших большую часть помещения. Да, немало его работ хранилось в фондах Национального художественного музея, Белорусского союза художников, Музея современного изобразительного искусства в Минске, возможно, еще больше — в частных коллекциях у нас в Беларуси и за рубежом. Но ведь основная их масса продолжала оставаться в мастерской, и художник был одержим мыслью о создании Храма мадонны — своеобразной картинной галереи, куда бы он передал свои работы. «Я хочу подарить свои картины белорусскому народу, так, как это сделали для своих народов Глазунов и Шилов, Сальвадор Дали и Пикассо...», — говорил Алексей Васильевич. Эту идею поддерживали и многочисленные поклонники творчества художника, писавшие письма в различные инстанции, подкрепленные тысячами подписей обычных посетителей выставок. Во властных структурах в общем и целом эту идею поддерживали, но вот до ее конкретного воплощения в жизнь дело так и не дошло.

Бывшая мастерская Алексея Кузьмича, находящаяся в чудном уголке Троицкого предместья, уже передана другому художнику, а огромное количество его картин перевезено на хранение в специальное помещение, чему поспособствовало руководство Белорусского союза художников. Ну а все хлопоты и заботы о творческом наследии Мастера легли на плечи его сына — Алексея Кузьмича-младшего, который еще при жизни отца стал и организатором, и куратором, и менеджером всех его выставочных проектов. «Как же нелегка жизнь художников, — говорит Алексей. — На организацию только одной выставки требуется потратить так много усилий, энергии и времени. И при этом еще нужно творить. Не понимаю, как отец мог заниматься всем этим одновременно...»

К настоящему времени сын художника накопил уже значительный опыт организаторской деятельности, контактируя как с представителями государственных организаций и органов госуправления, так и с различными негосударственными структурами. Ведет работу по организации выставок в областных городах Беларуси, а также в ближнем и дальнем зарубежье, в частности, в Италии, где особенно почитают мадонну. При этом помня о самой главной цели: воплощении в жизнь мечты отца, создании Храма мадонны. Возможно, к этому благому делу приобщатся также спонсоры и меценаты, которые в последнее время показывают просто уникальные примеры поддержки искусства.

Но не дожидаясь стечения благоприятных обстоятельств для достижения глобальной цели, Алексей Кузьмич-младший приступил к реализации более скромного, однако очень значимого проекта: созданию художественной галереи на малой родине отца, в деревне Мохро Ивановского района Брестской области. «При жизни Алексей Васильевич здесь периодически бывал, общался с земляками, устраивал выставки, проводил творческие встречи, — говорит председатель Мохровского сельского Совета Иван Иванович Кунаховец. — В местном Доме культуры хранилось несколько его картин. И так получилось, что устремления семьи художника и его земляков совпали: у нас родилась совместная идея создать на базе нашего Дома культуры галерею Алексея Кузьмича. И эту идею поддержало руководство района и области, оказав нам организационную поддержку и выделив необходимое финансирование для ремонта и оборудования помещения. Часть средств была заработана местными жителями на субботнике».

И через полгода с небольшим после смерти художника на его родине состоялся настоящий праздник: торжественное открытие художественной галереи. Произошло это знаменательное событие 1 июня, в день рождения Алексея

Васильевича, когда отмечается также и День защиты детей. И праздник этот был далеко не местного масштаба: на мероприятии присутствовали не только руководители района и области и общественность региона, но и представители творческой и научной интеллигенции и близкие друзья художника, приехавшие из столицы. Среди них были и члены Союза писателей Беларуси Владимир Липский и Андрей Скоринкин. Кстати, в серии портретов белорусской творческой элиты, созданной в свое время Кузьмичем, имеются портреты названных литераторов, а также портрет поэта Анатолия Аврутина, с которым художник также был очень дружен.

Для первой экспозиции галереи семья художника представила 150 картин различной тематики, среди которых особо близкие и понятные местным жителям работы из серии «Полесские мадонны», а также всем знакомые полесские пейзажи. Особое впечатление производит портрет матери художника — Александры Максимовны, о судьбе которой местные жители знают не понаслышке. Есть в галерее и мемориальный уголок художника, где представлено немало его личных вещей и предметов, с которыми он не расставался в своей мастерской, — краски, кисти и мольберт с незаконченной работой... Всех очень тронуло, что первую экскурсию — знакомство с галереей — вел сын художника. Кроме того, отдельно была еще представлена хронико-документальная выставка, дополняющая основную.

Но не только обширный выставочный проект был предложен вниманию многочисленных гостей, приехавших на открытие галереи. В целом это был масштабный праздник, в подготовке которого приняли участие представители всего региона. С учетом того, что последняя прижизненная выставка работ Алексея Кузьмича состоялась именно в Бресте, вечер памяти художника вела старший научный сотрудник Художественного музея Брестской крепости С. И. Гуляева, которая с большим мастерством и знанием дела, к тому же в очень оригинальной форме представила присутствующим весь жизненный и творческий путь художника. Техническое оснащение сельского Дома культуры позволяло всем сидящим в зале видеть на специальном экране проекцию картин, о которых вела речь искусствовед.



Мемориальный уголок экспозиции.

И, конечно, праздничная программа не обошлась без выступления творческих коллективов местного Дома культуры и всего района, многие из которых известны далеко за его пределами. Например, такие, как Образцовый детский оркестр народных инструментов Ивановской детской школы искусств имени Наполеона Орды и Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки и песни «Палешукі» Ивановского Центра культуры и народного творчества.

Вновь созданная галерея на родине Алексея Кузьмича позволила деревне Мохро войти в орбиту популярного туристического маршрута Ивановского района: Мотоль — Вороцевичи — Иваново — Достоево. Напомним, что нынешний агрогородок Мотоль — родина первого президента Израиля Хаима Вейцмана, там же расположен и знаменитый в этом регионе музей народного творчества; деревня Вороцевичи получила широкую известность благодаря родовому поместью художника, музыканта и композитора Наполеона Орды, где сейчас размещается его музейный комплекс и картинная галерея; а в агрогородке Достоево находится литературно-краеведческий музей Ф. М. Достоевского. Ведь, как известно, его род по отцовской линии происходит из местной шляхты. Не вдаваясь в подробности богатого историко-культурного наследия города Иванова, отметим лишь, что там находится единственный в Европе памятник Наполеону Орде (скульптор И. В. Голубев, архитектор В. И. Косяк). Немало в районе сохранилось и памятников архитектуры, в том числе и на означенном туристическом маршруте: Петропавловская церковь в Мохро и Свято-Троицкая в Достоево.

И что примечательно, поток туристов здесь, в полесской глубинке, можно сказать, неиссякаем. Во многом благодаря тому, что в районе располагается известный санаторий «Алеся» Брестагроздравницы, где отдыхает много приезжих из всех уголков Беларуси, а также из-за ее пределов, которые с удовольствием знакомятся с местными достопримечательностями. А месторасположение деревни Мохро в плане транспортной доступности вообще очень удачно: находясь в нескольких километрах от погранперехода с Украиной, где находится пункт пропуска автомобильного транспорта всех видов, ее можно назвать южными воротами всего Ивановского района. Так что для приезжающих в Беларусь по этому направлению, галерея Алексея Кузьмича, открывшаяся на его родине, доступнее, чем галереи столицы.

Фото Павла КУНИЦКОГО.



Зиновий Пригодич: «Найти свою тему — и сказать правду...»

Наверное, многие из творческих людей слышали в юности от своих наставников охлаждающую, как студеная вода, фразу: если можешь не писать — не пиши. Срабатывало, между прочим... Было своего рода проверкой: поэт, писатель ты по судьбе или только словослагатель на пору влюбленности. Одни «пишущие» после гуманитарного вуза, благополучно устраиваясь в жизни, теряли интерес к творчеству и погружались в прозу бытия. Другие, которым творчество не давало покоя, было их радостью и болью, несли этот нелегкий крест. Из этих, других, и мой собеседник.

В журналистской и писательской среде имя Зиновия Пригодича упоминается с уважением. Он — известный в республике человек, член Союза писателей Беларуси и Белорусского союза журналистов; автор почти двух десятков художественных и документальных книг; лауреат премий «Золотое перо», «Золотой Купидон» и премии Федерации профсоюзов Беларуси; удостоен почетного звания «Отличник печати Беларуси», заслуженный журналист БСЖ.

С Зиновием Кирилловичем мы успели о многом поговорить, когда я брала у него первое большое интервью (статья называлась «Творчество и любовь — две великие тайны»). Это — второй развернутый материал, приуроченный к юбилею писателя.

Свой возраст он не скрывает и даже сам удивляется: «Мне семьдесят лет? Не может быть!» Я тоже порой вижу в нем романтического юношу, а порой и любопытного мальчишку с лукавинкой в глазах.

Однако за плечами этого искрящегося юмором «седого юноши», немного стеснительного и не любящего выделяться, естественного и простого в общении, — огромный профессиональный и творческий багаж: он работал в газетах «Звязда» и «Советская Белоруссия», был на ответственном посту заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПБ; закончил Академию общественных наук в Москве; защитил кандидатскую диссертацию по философии, стал доцентом; работал заведующим кафедрой журналистики, языков и литературы в Высшей партийной школе, первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по печати... И после всех этих должностных высот он с 1992 года скромно возглавляет журнал «Гаспадыня».

С чего начиналось его творчество? Да с того же, «с чего начинается Родина»: с самого малого, знакомого, необходимого... С попытки наивно рассказать о своей детской жизни, мало-помалу расшифровать близлежащий знакомый мир: дом, дерево, улицу, школу; прочитать в следах дождя грусть первой любви... С того, что в далеком прошлом, казалось бы, как у всех, — и все-таки свое, особенное, отличное от других.

Нашу беседу с писателем мы и начали с этого «далека», с возраста, когда в детской душе зародились первые смелые строчки. Постепенно, вслед за его воспоминаниями о личной жизни, мы словно прошли по извилистым дорогам судьбы и вышли в разговоре на темы, касающиеся литературы, культуры и общественной жизни.

В конце разговора мой собеседник пожал мне руку и сказал: «Спасибо за то, что вы меня разговорили. Так подробно о себе я никому еще не рассказывал».

Вот он, наш многочасовой диалог.



— Зиновий Кириллович, давайте сначала поговорим об истоках, жизненных и литературных. Как у вас появился интерес к творчеству?

— Началось все со стихов. Первое стихотворение я написал в седьмом классе, благодаря случаю. Один выпускник нашей Лыщанской школы напечатал в районной газете свою оду «Выпускнику». Я прочитал и был поражен. Надо же! Всегда думал, что стихи пишут только небожители, а тут — мой знакомый, десятиклассник... Для меня это было как гром среди ясного неба. Газету я зачитал до дыр. И подумал: дай-ка и я попробую. Начал строчить, придумывать — и написал стихотворение с таким же названием: «Выпускнику».

— Это была версия номер два?

— Да (смеется). Отослал я это стихотворение в газету. Конечно, никто его не напечатал, но желание сочинять у меня осталось. Оно было таким сильным, что я уже не мог остановиться. И что вы думаете? Потихоньку стал пробиваться на страницы районной и даже областной газет. Несколько стихов опубликовали в «Піянер Беларусі» и «Зорьке», а одно — в сборнике детского творчества «Мой родны край».

— Эти первые пробы пера и были началом вашего творческого пути?

— Нет, это была подготовка. Началом я считаю 1963 год, когда в районной газете был напечатан мой довольно-таки серьезный рассказ «Деньги». В вышедшую недавно книгу я его включил, немного подработав. Эта тема и теперь актуальна... У героя рассказа есть реальный прототип — человек, который очень любил деньги и любым способом старался их заработать. Школу он не закончил, отучился семь классов, а в армии пристроился прапорщиком при складе... Раз в год он приезжал в деревню и привозил прихваченное добро: шифер, обмундирование, простыни, сапоги — и все это продавал.

— Вы закончили школу с медалью, и вас пригласили на работу в районную газету. А какие события предшествовали этому?

— Я подавал документы на журфак. Когда приехал в Минск, в приемной комиссии сказали: «Мы не можем принять ваши документы. Для журфака нужно, чтобы обязательно было два года трудового стажа».

Вернулся я в деревню, а родители говорят: «Как же теперь на улицу выйти? Стыдно...» Но я совершенно спокойно воспринял эту неудачу: чувствовал, что без дела не останусь. И точно. Как только я появился, мне предложили место в районной газете «Калгасная праўда», которая была в Логишине, и я, ни минуты не сомневаясь, пошел туда работать.

— После такого опыта вы поступили в университет...

— Да, на журналистское отделение филфака. За два года у меня было уже множество вырезок с публикациями. На этот раз поступление обошлось без проблем.

— По окончании учебы в университете вас пригласили на работу в редакцию газеты «Звязда».

— Да, это было для меня настоящей удачей. Я там работал с большим удовольствием, особенно в первые годы. Все было ново, интересно, и самое

главное — видел отдачу. Поедешь в какой-нибудь район, напишешь статью — и через месяц реагирование: восстановлена справедливость. Одним фактом в своей журналистской практике я особенно горжусь. В те времена писать критически о мелиорации было очень сложно. Почти невозможно. А мне удалось познакомиться с членом-корреспондентом Академии наук БССР Григорием Иосифовичем Лашкевичем. Он очень глубоко знал проблемы мелиорации, посвятил меня в них, говорил, что «земелька родная гибнет» и мы не должны об этом молчать. Предложил мне написать серию проблемных статей, не в форме критиканства, а в виде размышлений о том, как сделать мелиорацию лучше. И у нас вышло несколько очень смелых статей, где ставился под сомнение односторонний сброс воды.

Мы с ученым выступали не против самой мелиорации, а против тех способов, какими она проводилась в Беларуси. Дело в том, что по предложению министра сельского хозяйства, бывшего директора Института мелиорации и водного хозяйства, академика Скоропанова был изобретен плуг, которым рыли трехметровые каналы, и вода с заболоченных территорий сбрасывалась в них, а на осушенных землях верхние (самые плодородные) слои превращались в пыль, которую выдувало ветром. В Любанском районе, например, метровый слой торфа выдуло до песка.

Против такой практики мы и выступили в печати. И несмотря на то, что тогдашние власти не позволяли критически отзываться о мелиорации, наши статьи были вынесены на рассмотрение бюро ЦК. По ним было принято постановление, которое обязывало на правительственном уровне исправить эти недостатки. И Савелий Павлов, заведующий отделом пропаганды ЦК, напечатал в московском журнале «Журналист» большую статью, где рассказал, как настойчивость и компетентность газетчика победили косность ученых. Даже один этот факт много значит для журналиста.

Со временем односторонний сброс воды прекратили, стали класть гончарные дренажные трубы. Но там надо было выдерживать строгий уклон, а это не всегда получалось. Трубы эти заилялись в дождливые годы, и поля опять заболачивались. Их снова осушали, и так без конца. Наших людей переделать невозможно.

— Как же случился ваш переход в ЦК?

— В газете «Звязда» я проработал одиннадцать лет, прошел все ступени: от литработника до заведующего отделом культуры (потом мне предложили должность ответственного секретаря, но я подумал, что для творчества совершенно не будет времени, и отказался, чем несказанно удивил начальство: как так, ведь к этой должности все стремятся!). Мне тогда было двадцать шесть лет. И в один прекрасный день меня вдруг вызывает к себе Алесь Петрашкевич (он был заведующим отделом культуры ЦК) и стал задавать странные, как мне показалось, вопросы: «Вы читали такой-то роман? Каково ваше мнение? А вы смотрели такой-то фильм? Что вы о нем думаете?» Наверное, часа полтора он «прощупывал» меня. А я говорил все, что думал, не подхалимничая. И, наверное, наши мнения совпали, потому что в конце беседы он сказал: «Что ж, буду выносить вашу кандидатуру для обсуждения на бюро ЦК, ждите». Проходит месяц, другой — никаких новостей. Начинаю думать, что ничего не будет. А потом неожиданно 23 февраля 1977 года вызывают меня на бюро и утверждают инструктором отдела культуры ЦК.

— Зиновий Кириллович, прежде чем продолжить разговор об этом периоде вашей жизни, хочется вспомнить поэзию. В ней всегда отражается время, и, читая стихи, мы узнаем, что волновало людей, как и чем они жили, какие планы строили... По некоторым произведениям, как по учебнику, можно изучать историю. Вот, например, я нашла в одном сборнике стихотворение Сергея Васильева, которое теперь воспринимается многими скептически, с иронией. Но тогда поэт с искренним пафосом писал: «Быть коммунистом нелегко, мой друг. // Служить народу — дело непростое. //

Широк больших обязанностей круг, // Упрямо чуждых праздного застоя. // Тебя, бойца, таким, каков ты есть, // По-матерински партия взрастила. // В тебе живут ее порыв и честь, // Ее огонь, ее любовь и сила...» И далее поэт говорит о том, что партия своего сына «вооружила свойством простоты, // Лишила спеси и дурного чванства», и потому с его совестью не могут ужиться «ни ханжество, ни мелочная зависть...». И заканчивается стихотворение оптимистическим призывом: «Ты — коммунист, ты — попросту вожак. // И если уж достиг такого званья, // Неси его в душе не просто так, // А как печать почета и признанья». По сути, это был идеальный образ строителя будущего: того, кто не пасует перед трудностями и кто не подведет в трудную минуту. И народ верил, что этому идеалу соответствуют многие. Так ли это было? Расскажите, пожалуйста, о своей работе в ЦК.

— Работать в отделе культуры ЦК было очень интересно. Я курировал литературу, бывал на собраниях творческих коллективов, на юбилеях писателей (Максима Танка, Янки Брыля, Ивана Шамякина... Я тогда еще не был членом Союза писателей Беларуси). И меня уже воспринимали не как корреспондента газеты, а как представителя ЦК. Кроме того, курировал кино. Помню, как приезжал к нам Сергей Герасимов со своей бригадой, и мы устраивали в его честь прием (у меня есть запись этой встречи, все его ответы на вопросы, шутки). Это был очень интересный период моей жизни. Я был на всех премьерах фильмов в Доме кино (тогда он находился в Красном костеле). Всех кинематографистов я знал лично, общался с ними.

Но тут наметился другой путь. Мой друг Александр Шабалин, который работал помощником секретаря ЦК Кузьмина, сказал мне, что собирается уходить на должность главного редактора журнала «Беларусь» и на свое место будет предлагать мою кандидатуру. А для работника ЦК быть помощником секретаря — это была большая мечта. Но я стал отказываться: мол, не создан для этой работы... Тогда Саша говорит: «Никуда ты не денешься. Вот мы сейчас поедем с тобой одно общее дело делать. Кузьмину из «Политиздата» заказали брошюру об идеологическом воспитании масс в республике, мы должны подготовить этот материал к изданию».

Так вот, после подготовки этой брошюры вызывает меня к себе Кузьмин (а Саша мне наказал: «Только не вздумай отказываться, иначе ты на своей карьере поставишь крест!»). Я сижу перед ним, а от нервозности у меня бровь стала подергиваться. Он смотрит на меня и спрашивает: «Это что, у вас так всегда с глазом?» «Нет, — говорю, — не всегда, только когда волнуюсь». «Ну, ничего, завтра мы вас утвердим на бюро»... А перед тем, как меня допустили к должности помощника секретаря, больше месяца шла глубокая проверка по линии КГБ: проверяли до седьмого колена. Ведь через меня должны были проходить все секретные материалы, поступающие на имя членов политбюро.

— И так вы стали помощником секретаря ЦК?

— Да, это был адский труд! В восемь утра ты уже на работе, а в восемь вечера — еще на работе, да и суббота, как правило, без отдыха. Приходилось без конца писать статьи, делать по пятнадцать вариантов! Это было невыносимо. Все-таки я уже в писании знал толк, но вдруг оказывалось, что написанное ТОБОЙ никуда не годится. Такая была казуистика!

Были и другие разочарования. Впервые на работу в ЦК я шел, как в храм, а увидел, что святых людей там немного... Существовали подковерные игры, интриги, подсиживания, карьеристские устремления. Конечно, были там и очень интересные люди, например, завотделом науки Юрий Смирнов и заведующий лекторской группой Ходос, с которыми встретиться и поговорить было одно удовольствие. Они много читали, великолепно разбирались во всех вопросах, но таких было человек десять, двадцать... Процентов шестьдесят — это была «рабочая масса»: положительные, добропорядочные люди, трудяги, хотя и звезд с неба не хватавшие. Конечно, имелись и откровенные «сачки» (закроются в отделе



С Иваном Шамякиным в редакции «Советской Белоруссии».

и играют целый день в шахматы. Никто им ничего не поручал. Были среди них и такие, кто за все время и строчки не написал).

Один мой знакомый признался, что он семь лет проработал в ЦК, как на каторге. Нет, для меня это было не так. Надо признать, что много в этой организации было хорошего, достойного.

Хоть о карьере люди и помышляли, но о корыстных целях не думал никто: нельзя было иметь собственную дачу, личную машину, надо было вести скромный образ жизни (не дай бог, кто-то появится в обществе в нетрезвом виде — его немедленно увольняли, где-то пристраивали, но в ЦК он уже не имел права работать).

Нужно было соблюдать дресс-код (я однажды пришел в пуловере, и мне корректно сказали, что так не принято: нужен костюм, белая рубашка, галстук). Работники ЦК должны были безупречно выглядеть. Да и особых благ они не имели (как иногда расписывают, что ели черную икру и закусывали бананами). Заказы, конечно, были: «инструкторская» колбаса, мясо с какой-нибудь фермы, иногда построма, а на праздники два-три раза в год можно было заказать икру. Вот и все блага.

Правда, была государственная дача в Атолино: трехэтажный дом с коридорной системой, как в общежитии, и каждому выделялась комната размером с квартиру-полуторку. Там были газ, вода, кухня, ванна, маленькая спальня. Телевизор был общий в холле, но этого вполне хватало.

— А каким вы запомнили Петра Мироновича Машерова?

— Он работал первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии, был очень прогрессивным человеком. Однажды в приватной беседе у Кузьмина (я нередко присутствовал при этом) Машеров говорил, что перестроить сложившуюся систему невозможно, ее нужно сломать и строить все заново. Эти мысли тогда были очень необычными, неожиданными... У него были напряженные отношения с Брежневым: они редко общались. Как правило, первый секретарь с генеральным секретарем ЦК КПСС созваниваются по несколько раз в день, а Машерову Брежнев бывало неделями не звонил.

Петр Миронович Машеров был красивым человеком, одухотворенным. Он очень выгодно отличался от других грузных чиновников, был всегда подтянутым,

стройным. Немножко любил покрасоваться, поактерствовать (знал, что производит впечатление), у него была прекрасная дикция, хорошо читал доклады. Нам он говорил: «Ребята, вы мне длинных речей не пишите», но и казенщины не любил. Мы ему давали публицистику.

Приведу еще один факт, говорящий о том, за что, возможно, его в Кремле не любили... В докладах обычно много места занимала здравица в честь генерального секретаря, состоявшая из слов «выдающийся деятель», «мудрый руководитель», «великий мыслитель» и тому подобное. Чего только не выдумывали о Брежневе! Помню первый доклад, в котором я участвовал. Мы в здравице употребили много разных эпитетов и отдали доклад Машерову. Он прочитал, нахмурился и сказал: «Что-то мне начало не нравится...» Мы подумали, что дали мало эпитетов, и решили усилить. Он опять прочитал и сказал: «Как-то хуже стало...» Тогда мы поняли, в чем дело. Сделали скромное начало и он повеселел: «Отлично, ребята. С этим докладом я смогу спокойно выступать». Он не любил лицемерия, а вот о русском народе мог говорить много и в превосходной степени.

— Сколько лет вы работали в ЦК?

— С 1977-го по 1981-й, почти пять лет. В сентябре я уехал в Москву учиться в Академии общественных наук.

— За три года учебы в Академии общественных наук в Москве вы написали и защитили кандидатскую диссертацию. В интернете она упоминается в разделе «Диссертационные работы России. Философские науки. Эстетика», называется «Партийное руководство художественной культурой на этапе зрелого социализма». Тема весьма серьезная... Кроме того, учась в академии, вы написали еще две повести. Это был золотой период в вашей жизни?

— Да, те годы (с 1981-го по 1984-й) я вспоминаю с особым чувством и ностальгией. Академия общественных наук была для меня замечательной школой жизни. Все лекторы — составители учебников, известнейшие профессора по истории, философии, экономике, литературоведению. У нас преподавал знаменитый философ, академик Момджян. На его лекции приходили слушатели других потоков, аудитория не вмещала всех желающих... Экономику у нас



В жюри Республиканского конкурса молодых поэтов.

вел очень известный экономист, академик Абалкин (во время перестройки его имя гремело).

Каждую среду к нам в академию приглашали известных деятелей культуры: директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, певицу Аллу Пугачеву, композитора Раймонда Паулса, писателей Валентина Распутина, Василия Белова и многих других (у меня в архиве до сих пор хранятся записи этих бесед. Когда-нибудь я доберусь до заветных тетрадей). И всегда были премьеры фильмов с участием известных режиссеров и исполнителей главных ролей.

За эти три года я посетил много знаменитых мест в Подмосковье: усадьбу Чехова в Мелихово, музей Льва Толстого в Ясной Поляне, музей-заповедник «Абрамцево»... Зимой ездил в Дом отдыха ЦК КПСС, который находился в Пришвинских местах, на берегу Москва-реки.

— Как сложилась ваша карьера после Академии общественных наук?

— Четыре с половиной года (с 1984-го по 1988-й) я возглавлял кафедру журналистики, языков и литературы в Минской высшей партийной школе. Читал лекции по журналистике, но особенно любил вести занятия по литературе. У меня за время учебы в академии накопилось много материалов, а слушатели были очень заинтересованные, особенно те, кто получил высшее образование и уже поработал в райкомах или райисполкомах. В перестроечные годы новых сведений взять было негде, а у меня после академии был огромнейший запас (у нас же, как я уже говорил, все преподаватели были союзными величинами, а некоторые и европейскими. Они давали нам информацию из первых уст, которую нигде нельзя было прочитать). Поэтому мне интересно было читать лекции, а людям, наверное, было интересно слушать.

С тех пор много лет прошло, а я и теперь иногда слышу от людей: «Вы — наш учитель, мы помним ваши лекции. Спасибо!» Значит, что-то я сумел им дать.

Бывало, прозвенит звонок, а они обступят меня со всех сторон и не уходят. Уже другой преподаватель пришел, а меня не отпускают, тысячу вопросов задают. И мне самому было интересно делиться с людьми тем, что я накопил.

Нагрузка в партшколе была в два раза меньше, чем в вузах. Это была привилегированная работа. У меня было 420 часов, сюда входило заведование кафедрой, руководство дипломными работами, лекции и практические занятия. И, конечно, не хватало часов, чтобы все рассказать. Я даже не придерживался плана (он уже был устаревшим), а шел по своему графику. Благо, что это можно было делать.

— За это время вы написали докторскую диссертацию по литературе?

— Да, называлась она «Роль литературы в развитии общества в период перестройки». Все уже было готово, отпечатано и утверждено на кафедре Академии общественных наук. Оставалось только поехать и формально защитить ее. И тема была интересная, и литература в этот период была очень оригинальная, и мне так хорошо работалось!..

— Что же случилось?

— Меня снова вызвали в ЦК. Уже новый секретарь, Валерий Печенников, который пришел на место Кузьмина. Оказалось, что он прочитал в журнале «Полымя» мою статью о культуре и ему понравилось. Похвалив меня, он сказал: «Не хотите ли вы снова поработать у нас?» Я ответил, что не против, но заканчиваю докторскую диссертацию и ухожу в докторантуру. Вот если бы месяца через три... «Никаких трех месяцев! — возразил он. — И дня не дадим на размышление. Вы же видите, какая перестройка началась, что вокруг творится! Нам такие работники срочно нужны!» И 31 декабря мою кандидатуру утвердили на бюро ЦК, а 2 января 1989-го года я уже приступил к работе.

Я выполнял обязанности заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК (заведующим был Павлов). Это был мощнейший отдел, в который объединили три прежних отдела: науки, пропаганды и культуры. Я курировал все средства массовой информации, телевидение, радио, всю культуру. Это было огромней-

шее поле деятельности! Но обстановка вокруг была непонятная, и я с немалой долей тревоги думал о том, что мне сулит судьба?.. И если раньше я работал в ЦК с желанием (это была большая честь), то в этот раз я чувствовал себя несчастным, приходил домой вымученный, усталый, еле живой. Моя душа была в слезах оттого, что сорвали мою диссертацию (мне говорили: «Да защитишься ты, никуда не денешься!» Но эта работа меня закрутила-завертела — так и не защитился). Да и время тогда было непростое. Все старое рушилось, а каким должно быть новое, никто не знал.

— И вы ходили на работу, как на баррикаду?

— Так и было. К примеру, сегодня собирают собрание в Доме радио, завтра — на телевидении, послезавтра — в театральном обществе. Идешь туда, там тебя чуть ли не с грязью смешивают, никто не обращает внимания на то, что ты из ЦК. Приходилось, скрепя сердце, терпеливо что-то доказывать. К счастью, находились люди, которые меня поддерживали... На одном из собраний меня поддержала известная наша артистка Мария Захаревич. Она вышла и сказала своим коллегам: «Что вы шумите? Почему все с ходу отвергаете? Послушайте! Человек разумные вещи говорит». После этого аудитория приутихла, выслушала меня, и тогда нам удалось с некоторыми нюансами принять программу развития белорусского театра... А что творилось в писательской среде!

В общем, проработал я на этом вулкане ровно восемь месяцев и решил уходить. Как раз в это время подал заявление об уходе на пенсию Александр Зинин, редактор «Советской Белоруссии». Узнав об этом, я пошел к Валерию Печенникову и говорю: «Спасите, ради бога!» Я его убедил в том, что на месте главного редактора ведущей газеты я принесу больше пользы. Он поддержал меня и убедил первого секретаря ЦК Соколова, что так будет лучше для всех. И мое назначение состоялось.

— Ваша работа в «Советской Белоруссии» совпала с трудным временем. Это был самый пик перестройки. Нелегко вам пришлось в должности главного редактора?

— Испытать пришлось многое. Это были 1989—1991 годы. Мы приходили на работу, рискуя жизнями: под нашими окнами «демократы» жгли пачки газет и, потрясая факелами, кричали: «Мы будем вас вешать!» Все в редакции были перепуганы. Да, этот журналистский хлеб был трудный, как и время, в котором мы жили. Наш коллектив тоже разделился ровно на половину. Одни требовали: «Даешь страницы оппозиционерам!», другие — коммунисты и «памяркоўныя» были в моем лагере. На летучках и собраниях эти два лагеря схлестывались. Один мой злейший враг сколотил компанию против меня (хоть в редакции я ничего плохого никому не сделал), они устраивали «кухонные» собрания у кого-то на дому, разрабатывали тактику и стратегию, как убрать меня с должности главного редактора. С первого захода им это не удалось, но когда «война» продолжилась, я на собрании встал и сказал: «Мне оскорбительна сама ситуация. Я ухожу, делайте, что хотите»...

— И вы ушли в никуда?

— Да, ушел и не вернулся. Попробовал устроиться в университет на преподавательскую работу. Однако тогдашний декан факультета журналистики сказал мне: «Ну, вы же знаете, что у нас не только преподавать, но и воспитывать нужно. А какой вы воспитатель, если вы коммуняка бывший». И не взял.

Потом я искал работу в Институте литературы (у меня и диссертация была по литературе), там вроде бы пообещали, сказали: «Да-да, хорошо», а потом никто не позвонил. И тогда я подумал: что же мне делать? У меня семья, двое детей, а я безработный...

— Да, это был критический момент в вашей жизни. Надо было найти в себе много сил, чтобы не пасть духом...

— Чтобы не думать о грустном, я решил занять себя: целыми днями пропадал в библиотеке и читал. И случилось чудо! У меня появилась идея создать

свой журнал. Я до сих пор не могу понять, откуда это пришло? Однажды утром проснулся — и у меня в голове полностью вся концепция... Такого ведь журнала нигде не было, я не мог ничего подсмотреть, списать, хоть и листал разные издания: «Сам себе агроном» и множество других, что выходили в России. Но все они были специализированные. А тут пришла идея совместить практические темы и моральные, сделать такой духовно-практический журнал. И я в первой же передовой статье эту концепцию обозначил.

— А как появилось само название «Гаспадыня»?

— Сначала я думал назвать журнал «Домовой», но друзья сказали, что здесь есть какое-то двоякое значение, в том числе и негативное. Тогда мой добрый знакомый, писатель Борис Саченко предложил: «А назови «Гаспадыня». Это очень теплое, хорошее слово». И вот с этим теплым, семейным названием журнал выходит уже 23 года.

— Готовясь к разговору с вами и собирая информацию, я нашла в интернете ссылку на Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1996 г. «О назначении З. К. Пригодича первым заместителем Председателя Государственного комитета Республики Беларусь по печати». Расскажите немного об этой вашей высокой должности. Эту работу вы совмещали с руководством журналом?

— Нет, никакое совмещение не дозволялось. Я полностью отдался работе на новом месте. А проблем в то время в сфере печати было немало. Особые трудности испытывали районные газеты: материальная база была устарелой, зарплаты низкие, острейший дефицит с бумагой, взаимопонимание с местными властями утрачено. Нужно было эту критическую ситуацию срочно исправлять. И я с удовлетворением могу сегодня сказать, что нам это удалось. За два с небольшим года практически все редакции районок были оснащены так называемыми настольными редакционно-издательскими комплексами, сотрудникам повышены зарплаты, а их творческая энергия повернута в практическое, созидательное русло.

— Как писателя, вас не может не беспокоить отвыкание людей от чтения книг. Молодые люди «завязли» в интернете, вооружились айфонами, планшетами, ноутбуками. Они хаотично поглощают информацию из электронных источников, как будто подзаряжаются от них, как роботы... Мне иногда делается страшно: подростки днем и ночью «в сети», чуть ли не спят в обнимку со своими компьютерами... Старая добрая книга, как явление материальное, сущностное (со множеством страниц в красивом переплете, с уникальными иллюстрациями, гладкой тонкой бумагой, дивно пахнущей типографской краской!) отходит на задний план. Будет ли она существовать?

— Мое убеждение сходно с точкой зрения специалистов: книга останется. Обязательно! Она, может быть, несколько трансформируется, не будет таким всеобщим источником информации, как раньше. Сейчас все скачивают в интернете... Но сама по себе книга останется, как подарок, как произведение искусства. Она, скорее всего, будет недешевой. Но в великолепном полиграфическом исполнении, как мне кажется, займет свое место в каждой квартире. Любой интеллигент, любой уважающий себя человек не сможет изгнать книгу из своего дома. Книги, когда они рядом, заряжают своей энергией. Мне, например, очень хорошо работается в библиотеке. Там своеобразная атмосфера, которая очень благотворно на меня действует. А о чем могут говорить пустые стены?

— Но в современных квартирах с евроремонтом, где в интерьерах много пустого пространства, книги не предусмотрены...

— Это маятник. Сейчас он качнулся в сторону пустоты. А ведь было время, когда люди «погонными метрами» книг заполняли свои квартиры, говорили: «Давай купим побольше голубеньких и красненьких...» Выстраивали их на полках и за всю жизнь могли их даже не открыть. Это была крайность. Теперь эти книги сдают в букинистические магазины, а порой и выбрасывают. Когда

я вижу подписные тома возле мусорного ящика, думаю: с каким же трудом их добывали когда-то! Всеми правдами-неправдами... Заводили знакомства в книжных магазинах, сдавали десятки килограммов макулатуры, чтобы получить желанную книгу.

— Недавно в «Литературной газете» прочитала статью известного российского журналиста Зория Балаяна «Долгое эхо слова». Вспоминая о крайностях жесткой цензуры, автор пишет о том, что после перестройки свобода слова привела к другой крайности: абсолютной вседозволенности. В печати появилась «хамская тональность, патологический и примитивный слог с матом... И весь этот кавардак и бардак (цитирую дословно) еще задолго до «интернетизации» печати привел к самому страшному: потере результативности и действенности печати».

— Действительно, бывают крайности: недопустимы грубый язык, пошлость, бескультурье. Сейчас свободнее стали писать о личной жизни (это подогревает интерес читателя), но журналисты часто «впадают в желтизну», словно перетряхивают чужое постельное белье, так что даже неловко бывает читать. Ничего святого нет, особенно для московской желтой прессы. У нас все-таки более «стыдливая» журналистика, мы еще какое-то целомудрие слова сохранили, а там уже ничего святого нет: ради денег и тиража готовы пойти на все.

— А что вы скажете о культуре в целом? Будет ли она первостепенной, как в то время, о котором вы рассказывали (когда за подписными изданиями люди готовы были ночами выстаивать в очередях)?

— Беда некоторых наших чиновников, что они на культуру смотрят, как на самостоятельную отрасль, которой можно дать денег, а можно не дать. А ведь с культуры все начинается. Культура — понятие экономическое. Она развивает мышление человека, пробуждает в нем фантазию, творчество. А без творческого начала какой работник? Рано или поздно мы, может быть, осознаем, что надо начинать с культуры. Ну, что толку, если мы построим коровники, а культуры у людей не будет?..

— Поговорим теперь о литературе. Знаю, что это ваша любимая тема. Скажите, кто из писателей вам наиболее близок?

— В белорусской литературе очень люблю прозу Янки Брыля и Ивана Мележа. Владимиру Короткевичу отдаю должное (мы с внуком Артемкой все лето читали «Дикую охоту короля Стаха», я объяснял ему то, что было непонятно, и потом он в школе получил десятку с плюсом).

Из поэтов больше всего люблю Максима Танка. Какая у него удивительная поэзия, с яркими метафорами! Помню, еще в студенческие годы я в Пинске купил его книгу «Глыток вады», так пока доехал домой, всю ее залпом прочитал, а потом каждое стихотворение смаковал. Как свежо он писал о любви! А в последние двадцать лет он вышел на такую народную основу... Некоторые его стихов не понимали, считали, что это примитив, что нет звонкой рифмы, но ведь в поэзии главное — чувство, образ. И у Танка глубинно народная поэзия, и образы все от земли, от народа.

Поэзию Рыгора Бородулина ценю за мастерство и образность, но она сложна для восприятия. А вот у Геннадия Буравкина она простая, казалось бы, и в то же время очень глубокая, мудрая. Поэт особенно раскрылся в последние годы. У него очень тонкая лирическая, гражданская и философская поэзия. А чего стоят его песни! «Закалыханая мая» — это шедевр! На последнем диске, который он записал с Дмитрием Войтюшкевичем, есть песня о маме, которую я не могу слушать без слез. Его мама прожила сто один год. В песне он называет ее родной по крови, по душе и беспокоится, как она будет одна, без него? Поэты — все-таки пророки. Он предчувствовал свой уход. И не дожил до 78 лет.

Из русских писателей ближе всех моей душе Лев Толстой. Это мой писатель. Он, конечно, не равноценен: есть вершинные произведения, а есть очень спорные публицистические вещи. Хоть и заблуждался гениальный старик, но

у него была своя позиция, и ее надо уважать. Я «Войну и мир» три раза перечитал, последний раз — с карандашом в руках (делал выписки, целую общую тетрадь заполнил размышлениями). Пробовал читать Достоевского, понимаю, что это гениальный писатель, но... не мой. У него есть какой-то надрыв, болезненное восприятие действительности. Еще люблю Бунина. К Чехову отношусь без особого пиетета (может, это кощунственно прозвучит). Его творчество мы, наверное, слишком рано начали изучать в школе, поэтому теперь его рассказы уже не так воздействуют.

Зарубежную литературу я тоже люблю (одно время даже ее преподавал). В свое время очень увлекался романами Ремарка, зачитывался Золя, открыл для себя Кнута Гамсуна. Мне нравится вся французская классика: Бальзак, Мопассан, Флобер. Но такого сильнейшего впечатления, как от Толстого, здесь у меня не было.

— Чеховскую формулу о родственных отношениях краткости и таланта вы можете чем-то дополнить? Только ли краткость — ему сестра?

— Краткость, может быть, одна из последних сестер таланта. А первая — Божья искра. А еще у таланта в родне чувство слова, чувство меры, которые потом составляют мастерство; вдохновение (с холодным сердцем ничего не напишешь. Янка Сипаков правильно говорил: «Без сердца ничего нельзя делать») и знания. Если есть талант, но нет знаний, что можно написать? Очень талантливым людям, мне кажется, знания передаются на генном уровне. Однажды я прочитал повесть о партизанах Алеся Жука, рожденного после войны, и спросил его: «Откуда у тебя такое знание деталей? Ты что, общался с партизанами, записывал за ними рассказы?» Он ответил: «Поверь, что это все на генном уровне».

Это действительно бывает, когда начинаешь проникать в материал... На себе прочувствовал. Когда я писал повесть о деревне, в основу взял взаимоотношения своих земляков. Но поскольку я с шестнадцати лет не жил в деревне, а бывал только наездами, каких-то вещей я знать не мог и писал по вображению



С Миколой Метлицким и Михасем Мицкевичем.

(мне казалось, что именно так должно быть). Потом односельчане спрашивали: «А кто тебе все это рассказал?»

А вообще, у таланта много сестер. Краткость тоже нужна: всегда важно вовремя поставить точку. Но можно, добиваясь краткости, так выскоблить текст, что от таланта ничего не останется. Поэтому необходимо чувство меры.

— Часто приходится слышать недовольство людей друг другом. Лермонтовское крылатое выражение не умирает: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя...» А можете вы дать свое определение: какие сейчас люди?

— Очень разные, настолько противоположные по характерам! Конечно, есть определяющая черта белорусов, но и она небезусловная. Например, говорят, что мы гостеприимные. Но мы уже перестали ходить друг к другу в гости! А чтобы дверь незнакомому человеку открыть, так это давно закончилось. Есть и меркантильные люди (их доля выросла)... Однажды я обратился к своему давнему знакомому, художнику, чтобы он помог мне оформить рисунком страницу в журнале. Он сказал: «А что это я тебе буду бесплатно делать?» Я был просто убит и растоптан этим ответом. Мы же сто лет с ним знакомы, там ему работы было на пять минут! Нет, «заплати, тогда я тебе сделаю»... Как же быстро люди перестроились!

И бескультурье есть, и злоба. Едешь в автобусе или трамвае, а там какие-то нервные стычки: люди друг с другом ругаются.

Конечно, легче всего обвинять людей, но ведь их формирует наша действительность. И понять их можно. Так иногда нанервничаешься, что потом на ровном месте срываешься, портишь настроение себе, близким, жене, детям. А потом думаешь: что это я вдруг? Как же так?

— В журнале «Гаспадыня» вы часто задаете своим гостям традиционный вопрос: на чем держится семья? Вот теперь я задаю его вам, как главному редактору.

— Конечно, самое важное — любовь. Хотя и она бывает разной. Если такая, как страсть, то семьи не будет. Кстати, самые крепкие семьи в Корее и Японии. Там родители сами знакомят детей, заранее присматривая достойную, на их взгляд, партию. Если молодые люди друг другу понравились, хорошо, если нет, никто не заставляет... Оказывается, такая семья по расчету — самая крепкая. Там, может быть, нету страсти, которая бушует, рвет в клочья душу, но зато есть уважение, взаимопонимание. Мне кажется, что из разных социальных сфер трудно создать семью (скажем, из семьи академика и уборщицы), потому что нет общих интересов. Некоторые люди разных профессий нормально уживаются друг с другом, но важно, чтобы у них были одинаковые взгляды.

— Простите за напоминание, но от юбилейной темы вам все равно не скрыться. Как вы ощущаете свой возраст?

— (*Смеется*). Вот я вспоминаю своего друга Янку Сипакова, который нередко мне говорил: «До семидесяти лет еще ничего. А вот посмотришь, что будет после семидесяти!» И теперь я вижу: правда. Раньше мне казалось смешным сопоставление себя с этим почтенным возрастом, а теперь я понимаю, что жизнь имеет предел: еще каких-то пятнадцать-двадцать лет и все. Это так странно... Всегда жил и не оглядывался, думал: ну, еще лет через тридцать доделаю, а теперь уже ловлю себя на мысли: стоп, а я уже это время не увижу... И как-то грустно становится.

— Вы стали больше грустить?

— Я долго грусти не предаюсь. Она ко мне не пристает. Все-таки я думаю, то, для чего я приходил в этот мир, более-менее выполнено: дерево посадил, детей вырастил, дом построил, книги написал.

— Можете назвать себя счастливым человеком?

— Счастье — чувство непостоянное. Его ощущаешь только временами, от случая к случаю, когда чего-то достиг, что-то получилось. А потом опять нава-

ливаются проблемы, переживания. Может быть, только на исходе, когда Господь призовет к себе, подумаю: а все-таки я был счастливым человеком. А пока еще, наверное, рано об этом думать.

— Но были же в жизни эти краткосрочные станции счастья!

— Были... Когда мне на четвертом курсе предложили работать в «Звязде», меня переполняло это чувство. Ходил по улицам и словно со стороны на себя смотрел: деревенский парень, а работаю в столичной газете... Я целый год был счастлив, как на крыльях летал! Потом это утихомирилось.

Рождение детей — это тоже было счастье. Но какого-то острого, безумного, как у тех, которые от избытка чувств кричат «ура!», не припомню. Конечно, был особенно счастлив, когда родился сын.

— А общение с внуками — это теперь двойное счастье?

— О, да, невероятное! С самым младшим Артемкой мы очень сильно дружим. Он каждое лето проводит на даче, и у нас с ним свои секреты. Я в книге «Артемкины каникулы» все это описал. Сейчас ему одиннадцать лет. А с четырехлетнего возраста он ходил со мной в лес, мы с ним искали в лесу волка-зубастика. После прогулки я звонил внуку по телефону и низким голосом говорил: «Здравствуйте, это зубастик говорит...» И он верил... Зубастик у нас был очень хороший, добрый. Мы ему в лесу на пеньке всегда бутерброды оставляли.

Недалеко от дачи у нас есть полуразрушенный асфальтовый завод, который закрыли во время перестройки. Мы с внуком ездили туда на велосипедах, это была наша база, напоминающая планету Солярис. Мы штурмовали горы из песка, покоряли вершины. Я залезал наверх и спускал внуку веревку, и он чувствовал себя скалолазом... Попутно я ему рассказывал, что случилось с нашим государством, что оно вот так же развалилось, как этот завод. На этой базе мы строили шалаш. На дереве внук оборудовал наблюдательный пункт и докладывал мне о передвижении «неприятеля». Эти игры были интересны не только ему, но и мне.

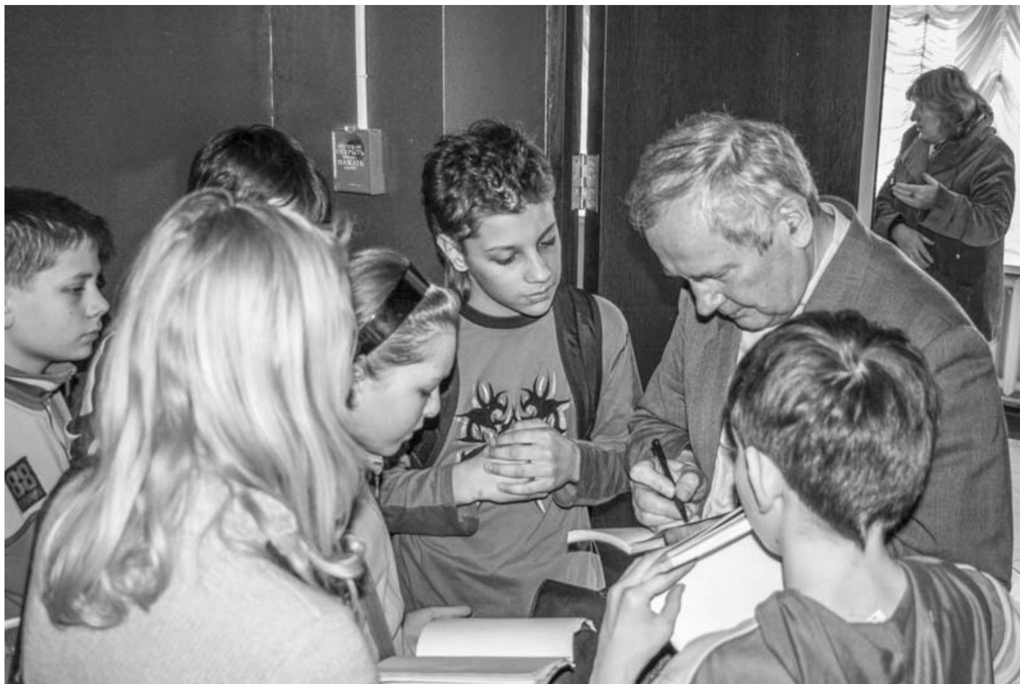
— В душе вы все еще мальчишка...

— Абсолютно! Однажды мы с Артемкой на велосипедах совершили «кругосветное путешествие», которое заняло полдня, — вокруг озера Нарочь. Я рассказал внуку об озере, о первой империалистической войне, показал в деревне Кобыльник — памятник погибшим немецким солдатам (там проходила линия фронта), костел, которому больше ста лет и который несколько раз горел и снова был восстановлен. Объяснил ему, откуда пошло название Кобыльник (кобыла — это такая деревянная широкая лавка, на которой секли розгами провинившегося крестьянина). Много всяких интересных вещей ему рассказал, а потом об этом написал книгу. Там был эпизод, как мы спасли ласточку, которая увязла в гудроне. А через несколько дней я сказал внуку: «Смотри, к нам прилетела спасенная ласточка, она нас узнала!»

Артемка — сын моего сына, продолжатель рода Пригодичей, самый младшенький. А Коля и Катя — дети моей дочери. Они еще учатся в высших учебных заведениях.

— Какой вопрос вам никто никогда в жизни не задавал, а вы хотели бы его услышать и дать ответ?

— Я его уже задал себе — и на него ответил. Если бы вернуться назад, поменял бы свою жизнь? Нет, ничего бы не поменял: ни профессии, ни жены, ни детей! У меня есть только сожаление, что я упустил моменты счастья: возможность побольше пообщаться с детьми. Я иногда с такой щемящей тоской смотрю на малышей и думаю: «Боже мой, как бы мне хотелось, чтобы дочка снова обняла меня за шею, а я поднял бы ее на руки!» Что-то все-таки упущено мною из этих минут единения, счастья... Это же такая радость: лепечущее твое создание ласкать, растить, лелеять. А я работал с утра до ночи... Если бы вернуть время, как бы я любил своих детей! Вот ведь где настоящее счастье! Все преходяще в этом мире: деньги, должности, звания (все это чепуха!), а настоящие ценности — дети. К сожалению, это начинаешь понимать, когда уже поздно.



Автографы юным читателям.

— Однажды я случайно узнала о такой стороне вашей деятельности, как благотворительность. Вы помогли построить церковь в своей родной деревне.

— Да, было такое... Я еще с детства запомнил уютную деревянную церквушку, в которой венчались мои сестра и брат. Туда мы носили аир на Троицу. Но эту церковь разрушили... Один безбожник полез на купол и своротил крест. Помню, как голосили женщины: «Колечка, ради бога, не трогай!..» Потом подогнали бульдозер и все снесли... Последствия такого богохульства не замедлили сказаться (об этом я написал в своей повести «Ноч перад нядзеляй»). Главного виновника через три года убило током. Жена его, которая никогда ничем не болела, вдруг захворала гриппом и скончалась по дороге в больницу. Дочь ехала на похороны матери и разбилась в аварии. Осталась одна младшая дочь... Когда это случилось, в деревне заговорили: «Бог терпел-терпел и наказал. Оставил самую безгрешную, чтобы продолжить род». Вот такая страшная была история... Когда задумали восстанавливать церковь, нашелся в нашей деревне человек, который сам сделал проект и взялся быть прорабом, но нужны были деньги. Сформировали две группы верующих, которые ходили по деревням и собирали пожертвования на храм. Но этих средств не хватало. И тогда часть денег передал я и купил некоторые церковные принадлежности. Это скромное мое участие, но я внес посильную лепту, и мне это греет душу...

Моя мама еще успела в этой церкви помолиться. В 90 лет она ходила на службы, ни одного воскресного дня и праздника не пропускала! В 1997 году в нашу церковь был принесен благодатный огонь, священники отслужили праздничную службу. Как были счастливы мои земляки!.. А потом, через год, в этом храме отпели мою маму.

— Ваша документальная книга «Путь полной луны. Японский дневник», которую вы мне подписали на память, начинается (аналогично восклицанию Галилея «и все-таки она вертится!») такими словами: «И все-таки Бог есть!» Скажите, сколько в вашей жизни было доказательств

Его существования, когда вы, как в конце предисловия к книге, могли воскликнуть: «Нет, что ни говорите, есть Бог на свете, есть!»?

— Расскажу один мистический случай. Когда мама уже была очень слабой, мне позвонила сестра и сказала: «Приезжай, братка, скорей, наша мама отходит. Может, ты ее уже и не застанешь...» Я сел в машину и поехал в деревню. Подъезжаю к Ивацевичам, и вдруг моя машина ни с того ни с сего заглохла. Открыл капот, проверил — все в порядке. В это время я посмотрел на часы: было ровно шесть. Через несколько минут машина как ни в чем не бывало завелась и я поехал дальше. Приезжаю домой, а сестра говорит: «Мама уже умерла...» Я спросил, когда это случилось. «Ровно в шесть часов», — сказала она. Это же надо было Богу меня в этот момент остановить!..

А еще был случай лет пять назад. Я ехал в машине. Был знойный день, меня разморило, а я на даче наработался, устал. Не заметил, как задремал с открытыми глазами, и выехал на встречную полосу. Проснулся на самом краю той полосы, уже на обрыве, и остановился... Помню, жара была несусветная, а меня трясло от холода.

Представляете, оживленная трасса Минск-Нарочь, там постоянно идут встречные машины, а тут — не было ни одной!.. Я был весь в ознобе, лег на траву и полчаса приходил в себя.

Слава богу! Хранит Господь...

— Какие у вас творческие замыслы?

— Хорошо бы завершить рассказ «Данке шон». Я его написал наполовину. Во времена моей работы в районной газете, я жил на квартире у одного человека, который работал пожарником. У него была страсть выражаться на немецком языке. Мне этот образ показался очень интересным... А вообще, говорят, что если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

— Но, может быть, возьметесь за написание романа?

— Об этом я даже не мечтаю. Не эпического склада я человек, не умею плести бесчисленные сюжетные нити... А вот повесть — это мое. Мне она даже больше рассказа нравится. И в этом своем любимом жанре мне хочется еще многое сказать.

Думаю, это интервью заинтересует читателей, и им захочется найти книги, написанные моим собеседником. А в том, что это им пойдет на пользу, даже не сомневаюсь, ведь произведения талантливого писателя всегда оказывают на людей сильное психологическое воздействие, помогают обогатить и развить мышление, выстроить отношения с окружающим миром, многое в жизни понять.

У популярного в советское время поэта Сергея Викулова было стихотворение «Плуг и борозда», которое начиналось такими словами: «Всему начало — плуг и борозда, // поскольку борозда под вешним небом // имеет свойство обернуться хлебом. // Не забывай об этом никогда: // всему начало плуг и борозда...»

Эти строки, как мне кажется, очень хорошо приложимы к судьбе и творчеству Зиновия Кирилловича Пригодича: он начинал свою жизнь с пахоты земной, житейской, а теперь продолжает другую пахоту (не менее трудную!) — творческую. Так пусть она плодотворно длится у нашего уважаемого юбиляра-труженика еще много-много лет, ведь главное — он умеет соблюдать уровень вспашки (!), а на вопрос о том, как стать хорошим пахарем в литературе отвечает: «Это значит, найти свою тему — и сказать правду».

Беседовала Валентина ПОЛИКАНИНА.

С точки зрения рецензента

А встреча-то — состоялась...



В руках у меня новая — восемнадцатая — книга известной белорусской поэтессы Тамары Красновой-Гусаченко. Это сборник стихов «Встреча» (Минск, «Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки», 2014), в который вошли лучшие стихотворения из предыдущих книг, новые произведения, а также более 140 стихов для детей. Название показалось довольно интригующим — с кем же намечает встречу поэтесса? Ведь за год она выступает перед читателями не менее 100 раз. Аудитория самая разная: студенты, учителя, школьники, работники культуры, трудовые коллективы предприятий, военнослужащие, работники дошкольных учреждений, пенсионеры... Интрига и в том, что сама Тамара Ивановна во многих стихах ищет ответы и на извечные вопросы, и на вопросы, которые «задают» реалии сегодняшних дней: «Какие мы?», «Что делать?», «Кто же мы?», «Зачем?».

Так о чем же пойдет речь? Одно скажу наверняка — суть ответа на поставленный вопрос кроется в духовно-нравственном пространстве, насыщенном философским подтекстом и переплавленном в поэтические образы. Все это читатель найдет и в стихах патриотического звучания, и в лирике, и в стихах, навеянных фольклорными и библейскими мотивами, в ностальгических строках об умирающих деревнях, в посвящениях родным и близким людям. Думаю, что не оставят равнодушными читателей и пронизанные глубоким лиризмом, великолепные стихи о любви, эмоциональные, яркие, запоминающиеся.

Прозвучавшие в стихах «Разговор с ручьем» и «Навеки родная» слова: *«Мой дом — вся Русь и Беларусь», «Моя Белая Русь, / Ты и боль и любовь, / Как деревня моя...»* не оказались лозунгово-декларативными. В подтверждение приведем строки из двух других стихотворений, которые в комментарии не нуждаются: ведь речь идет о жизнеобразующей основе нации — родном языке.

...а «мова» была беззащитна,
Не для лжи рождена,
для пресветлой молитвы,
Сладкий слог для того,
чтобы нежно «назвацi»
Мог ребенок «радзiмых i тату i мацi»,

Над «калыскаю» ласково «песні співаці»,
Чтоб служить процветанию
«роднага краю»,
Чтоб сказать тише зореньки ясной —
«кахаю...»

«Родная мова»

Мне песни откровения ясны,
Язык прекрасен, светел — белорусский!
Но — думаю и вижу свои сны,
Я, как отец и мать мои, на русском.

Читая первозданные слова,
Я наслаждаюсь «мовой» белорусской,
Но счастлива, и знаю, что — жива,
Как ты — от «мовы», говоря по-русски...

«На языке любви»

В стихах поэтессы ярко прослеживаются религиозные мотивы: «*Долети до Бога / Свет моей молитвы*», «*Все на миг дарованное Богом, / Несказанной красотой горит...»,* «*...Ты Бог мой, прибежище: я уповаю / Лишь на Тебя...»*, *«Ни звезд, ни неба, ни земли... / Что было раньше? Было* ***Слово!***» (выделено мною. — **А. Р.**) Вторым, столь же важным в поэзии Т. Красновой-Гусаченко, является слово **«земля»**. Земля ее отца и деда, земля, что Родиной зовется. И стремится лирическая героиня *«...сквозь сны — в деревню»,* чтоб *«в детство вернуться / И молодость пить...»,* увидеть *«хату — под акациями — мамину»,* и наполнить душу свою «*...нетленной маминой любовью...»*.

В стихах о малой родине нет фальши. Многие из них наполнены щемящей болью об ушедших — отце, сыне Николае: «*А мой сын — как-будто бы во сне, / Но — каком-то белом! Белом-белом! / Через вечность улыбался мне... / Небосвод над ним сиял лазурный / И была высокою звезда... / А ведь он не знает, что он — умер... /, И уж не узнает. Никогда»,* любимой матушке: *«О, мама, она может все на свете! / Нежней, красивей мамочки моей / Нет в целом мире и на всей планете...»,* дедушке Даниле: *«В его натруженных ладонях / Лежали нежность и тепло, / Любовь, терпенье... Он к иконе / Вставал, и отступало зло. / Мой дед, прости, что не могла я / Твои молитвы понимать, / Как жить сегодня надо, знаю, / Что послезавтра — помирать*» и к не пришедшему с войны дяде Ване, который в бой «*Не за богатство шел, а за страну», «Он был солдатом — в огненном бою...»*.

Поэтесса не замыкается в ностальгических преживаниях, как бы ни полнили они душу болью: *«...Я одна, я одна, / Я осталась — одна, / ...Но, носила дрова... И топила я печь, / Чтобы виден огонь был другим из окна...»*, «*...безмерна усталость разорванных, сорванных жил...»* В том числе и своим поэтическим творчеством, пронизанным высокой духовностью, Тамара Краснова-Гусаченко стремится «*все беды, всю боль перепеть*», напоминая, что жизнь — есть экзамен на человечность, где каждый сопричастен борьбе добра и зла. И не трибунно-лозунгово, а полновесно и призывно звучат слова: «*Снимите маски, господа, / Пусть совесть говорит...»* Убедительны строки из стихотворения «Долги»: «*...Слаще, жизни, горше жизни / Лишь единственное — жизнь...»*

Поэтесса с болью отмечает, что ныне «*...предательство — нормой считается...»,* что наше бытие переполнено *«...злом, / Что уселось за нашим столом...»* Воспитанная на земле, она много пишет о судьбе деревень: *«Деревня выживала, как могла, / Растила хлеб, и нас с тобой ждала, / Трудилась от зари и до зари, / За трудодни... И, что ни говори, / Не гневалась она, и не роптала, / В отчаянье не падала. Стояла*».

Или:

При чем тут веска? Да при чем она?
(Деревню так зовут по-белорусски,)
Одна труба осталась, два окна,
Одна изба, и рухнул мостик узкий,

Что вел через речушку на тот край,
Где нет давно уже садов и хат,
И, хоть зови, хоть плачь, а хоть — рыдай,
Деревни исчезают — все подряд...

К сожалению, за примерами далеко ходить не надо — моя родная деревня, что на Воложинщине, в 40 километрах от Минска. В начале 50—60-х годов здесь было более 60 жилых домов,

школа, клуб с богатой по тем временам библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, сельский совет, две животноводческие фермы. Сейчас ничего этого нет. В деревне живут лишь три постоянных жителя...

Тамару Краснову-Гусаченко волнуют различные общественные проблемы, ее сердце живо откликается на вызовы и реалии сегодняшнего дня, ведь «*...рождена была поэтом...*» Поэтесса утверждает: *«...боль всех живущих на свете — одна: /Жили бы в мире дети. / Но — боль — не звезда, Она не видна, / А сколько ее на свете...*» И чтобы превозмочь ее, она советует:

Заведите хороший обычай:
Избегать нежелательных встреч,
И, когда это станет привычкой,
Вы научитесь сердце беречь.

Заведите хороший обычай:
Не копите обиды и боль,
И, когда это станет привычкой,
Вас, как воздух, окружит любовь...

Чтобы не оставаться в стороне от жизненных коллизий, чтобы быть сопричастной к судьбам людским, она отчаянно просит Бога: *«...Огради, помоги же, Всевышний, / Помоги мне понять и простить! / Всех врагов моих, Боже, помилуй...»* Связь земного и небесного, бытового и сакрального не только в этой просьбе-обращении к Богу. В творчестве поэтессы, как мы уже отметили выше, ярко выражены религиозные мотивы. Автор часто обращается к Создателю, Чудотворцу Николаю Угоднику, почитает христианские праздники — Рождество Христово, Пасху, Покров, Духов День, напоминая читателям о вечном, о духовном:

...Всех заповедей мира
Лишь десять: во Вселенной Бог один.
Не измени. Не сотвори кумира.
Не укради. Не лги. И — не убий.
Чти мать с отцом —
продлится дней дорога.
День отдыха — вовек не отменяй.
И в суете — не трогай имя Бога.
Иничего чужого не желай.

«Скрижали»

Становится понятным, почему так часто поэтесса говорит о душе, которой нет покоя. Вот она *«все летит через звезды апреля... к порогу родному, / Где только* и *теплится жизнь...»,* вот *«скорбит почему-то...».* Автор делает неожиданное признание: «*Только душу не уберегла, / Надломила ее, надломила...»,* и понимает невозможность — *«...лечить души сгоревшей пепелище...»* А может быть, в таком признании ничего неожиданного и нет, ведь сердце поэтессы наполнено и переполнено таким живым, будоражащим душу чувством, как любовь, которой посвящены многие страницы новой книги. Читаем без комментариев:

«У жизни всей один лишь смысл,
Чтоб в мире для любви нашлись
Два сердца. И в одно слились».

«О, если б я Вас не любила,
Так сильно, нежный, верный друг,
Давно бы этот край забыла...»

«Все остудится, все уложится,
Все пройдет... Любовь приумножится...»

«Любить — куда труднее, чем влюбиться,
И жить — сложней и больше,
чем не жить...»

«И любовь меня, знаете, все же нашла...
Но о ней никому не могу рассказать...»

«И молить, просить стану об одном:
До весны дожить, только чтоб —
вдвоем...»

«И — не умру. И буду вечно:
Любовь — Хранитель — Ангел мой...»

«Душа — гениальная форма спасенья,
А тело — живейшая форма любви...»

«Догорает по капле в крови
Жизнь моя... А любовь — полыхает...»

Складывается впечатление, что любовная лирика Т. Красновой-Гусаченко в такой объемной книге вполне могла составить отдельный цикл, воспринимаемый как волнующая лирическая сага.

И еще — об отношении автора к поэтическому творчеству. Продолжая развивать эту тему, начатую в преды-

дущих сборниках, «Осень молодая», «Спас» и др., Т. Краснова-Гусаченко не дает готовых поэтических рецептов, не навязывает другим поэтам свою авторскую концепцию, хотя замечает, что для нее *«...Высшая поэзия — молитва...»,* а настоящие поэты — это те, *«...кто не сошел с пути, не замолчал, / Святой, как сон младенца, светлой правды, / Кто золоту стиха не изменял...»*, *«И правду, только правду говорит...»*

В своих стихах она с болью в сердце отмечает, что в мире несправедливом этом часто силы бывают на исходе, и, чтобы не поддаваться влиянию тех, кто все предает и продает, тех, кто «*стихов вообще не чтут, и не читают*...», — задав трагический по сути вопрос: «*...Кому в наш век нужны стихи-слова, / Когда пошлейший бред звенит в эфире?»* — она, казалось бы, выглядит сомневающейся в силе поэтического слова... Смею утверждать, что это не так. Жизненный оптимизм, непоколебимая уверенность в том, что счастье в *«возможности земле моей служить»* — потому и сохраняются силы для того, чтобы без страха взять «*духовный меч*», и без страха выиграть духовную битву, чтобы в веках были неразделимы горячо любимые ею *«Русь Великая — там, за снегами, / И вся Белая Русь — дом родной...»* Такой вот наполненной патриотическим чувством, духовно-нравственным содержанием выглядит гражданская поэзия Тамары Красновой-Гусаченко.

Было бы большой ошибкой хотя бы в нескольких словах не обмолвиться о стихах Тамары Ивановны для детей. Тем более, что во «Встрече» она занимает треть книги. Какие пути выбирает автор к детским душам, можно судить хотя бы по разделам этого цикла: «Времена года», «Мир познавая, мы учимся жить», «Все в природе учтено», «Ребятам о зверятах», «Мир, звезды, вселенная», «Робинзоны из Придвинья», «Ударения», «Бабушкины сказы о зиме», «Бабушкины сказы о весне»... У поэтессы сорокалетний педагогический стаж, четверть века она проработала в детских дошкольных учреждениях, поэтому, с уверенностью можно сказать, она глубоко постигла тайны детской психологии. Ее стихи учат детей любить и понимать родную природу, окружающий мир, искать и находить ответы на различные вопросы: «Кто — художник?», «Как медведь запас в зиму делает?», «Какой зверь к зиме белеет?», «У кого прямее ноги?», «Где же солнышко ночует?», «Отчего звезды на небе разного цвета?». Не сомневаюсь, что юные читатели будут в восторге от «Бабушкиных сказов», от этого настоящего кладезя народных премудростей. А еще они вместе с Петей и Дашей, героями «Робинзонов из Придвинья», совершат удивительное, полное приключений путешествие по родному краю. Думаю, не будет преувеличением сказать, что детская поэзия Т. Красновой-Гусаченко ставит ее в ряд лучших детских писателей Беларуси.

Так какой оказалась «Встреча»? Читателям представилась уникальная возможность в очередной раз соприкоснуться с богатой палитрой творчества Т. Красновой-Гусаченко, ее умением тонко ощутить дыхание времени, открыто поделиться своими мыслями, сомнениями и надеждами, высказать заботу о том, чтобы в технократической, компьютеризированной действительности люди не утратили чего-то важного, главного, не очерствели духовно.

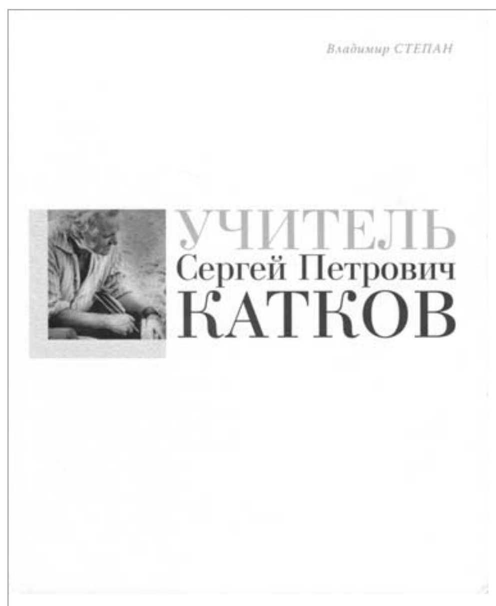
Стихи поэтессы постоянно находятся в поле зрения литературоведов, литературных критиков, коллег по писательскому цеху. Оценки, мнения, суждения — все это неотъемлемые элементы литературного процесса. А свое отношение ко всему этому поэтесса весьма емко высказала в следующих строках:

Бессмысленны все —
«Ох!» и «Ах!» —
Суды моей судьбе.
Я все сама, в своих стихах
Сказала о себе.

Аркадий РУСЕЦКИЙ

С точки зрения рецензента

Осколки витража



Говорят, что встречают по одежке, но если речь идет о книге, то встречают, наверное, по обложке. Когда берешь в руки книгу Владимира Степана «Учитель Сергей Петрович Катков», сразу же невольно обращаешь внимание на высокое качество издания: твердая обложка, блестящая мелованная бумага, большое количество цветных изображений, в том числе, на целые развороты. Такую книгу приятно держать в руках, пролистывать ее, рассматривать размещенные фотографии и картины, еще даже не начав читать. Финансовую помощь, благодаря которой, очевидно, книга и получила хорошую форму (о содержании поговорим ниже), предоставило Министерство информации Республики Беларусь (о чем, конечно же, ненавязчиво упоминается в самой книге). Тем не менее, важно отметить, что данное издание, в отличие от некоторых других, выпущенных по заказу и при финансовой поддержке государственных органов, абсолютно не отдает какой-либо «официальщиной», не содержит и намека на идеологичность или ангажированность. Книга получилась в хорошем смысле простой, светлой и доброй; какой-то практически семейной...

Говорят, не стоит судить книгу по обложке. Совет, бесспорно, правильный, однако в данном случае неуместный. Содержание книги Степана прекрасно гармонирует с оформлением. Состоит книга из трех частей: «Сергей Петрович», «Письма с войны и комментарии Светланы Катковой», «Воспоминания». При этом все части содержат фотографии и изображения картин С. П. Каткова. Кстати говоря, следует отметить, что в глаза бросается нарушение хронологии при размещении фотографий и картин. Уж не знаю, занимался ли этим вопросом сам Степан или же редакторы, однако мотивы, по которым был нарушен хронометраж, лично для меня так и остались непонятыми.

Первая часть состоит из множества небольших по размеру литературных зарисовок (вполне вероятно, что Степан в книге о художнике целенаправленно пытался создать некие литературные аналоги художественных этюдов). Некоторые из них занимают полстраницы, некоторые — всего несколько строк. Тем не менее, все они являются логически завершенными, ярко-образными, но что самое главное — содержательными. Сам автор пишет, что

в своей книге он «попробует собрать из многочисленных фрагментов портрет художника по памяти и по воображению». К этим «фрагментам» Степан относит и архивные материалы (вторая и третья части), и приложенные иллюстрации, однако, кажется очевидным, что главные «фрагменты», из которых автор «собирает» свой портрет Каткова — именно этюды из первого раздела книги. Часть данных этюдов основана на воспоминаниях о художнике современников и родных, но, тем не менее, все эти воспоминания пропущены через призму замысла Степана и представлены в некой специфической форме, которая соответствует концепции книги: собрать цельный витраж из отдельных осколков. Некоторые воспоминания и впечатления принадлежат самому автору.

Другие же этюды являются практически чисто художественными произведениями и основываются сугубо на авторских размышлениях и наблюдениях, которые на первый взгляд не имеют совершенно никакого отношения к Сергею Петровичу Каткову. Однако в какой-то момент автор соединяет свою абстрактную мысль с конкретным примером из жизни художника, и разрозненные фрагменты соединяются в единое целое. В нескольких случаях соединительным звеном, связывающим разрозненные пазлы в одну картину, является всего лишь одно-единственное предложение, что вносит элемент неожиданности и некоторой остроты. Благодаря этому прочтение первой части приносит огромное эстетическое удовольствие, так как все этюды, каждый из которых сам по себе представляет несомненную художественную ценность, объединяясь, образуют принципиально новую величину, подобно тому, как множество осколков, разных по цвету и форме, образуют витраж. В то же время выполняется и информативная функция: уже после прочтения первой части книги можно получить представление о том, каким человеком был Сергей Петрович Катков. И представление это не сравнится с тем, которое дают «сухие» энциклопедические данные, описывающие основные этапы биографии; создается ощущение, будто бы речь в книге идет о близком человеке, о родственнике, который не дожил до твоего рождения...

Вместе с этим следует отметить, что нарушения в хронологии характерны не только для фотографий и картин, размещенных в книге, но и для этюдов из первой ее части. В чем смысл этого приема (не думаю, что автор допустил нарушение хронологии просто по невнимательности), я лично так и не понял. В голову приходит лишь один вариант: автор хотел сильнее перемешать и запутать отдельные «фрагменты витража», перескакивая с десятилетия в десятилетие (как вперед, так и назад), чтобы усилить эффект, который достигается при объединении всех этюдов в одно целое. Замысел автора, в моем понимании, чем-то напоминает детскую головоломку, когда нужно объединить точки, чтобы получился рисунок. Но в процессе последовательного соединения, контур становится угадываемым еще до того, как последняя точка соединится с первой. Возможно поэтому Степан решил специально разбросать «точки» по разным временным периодам, чтобы цельная картина сложилась только по прочтении абсолютно всех этюдов из первой части книги. Но была ли в этом необходимость?

Кроме того, отсутствие «сухих» энциклопедических данных, о чем писалось выше, имеет и негативную сторону. Лично я, например, как человек, не имеющий прямого отношения к художественному искусству, признаюсь, никогда раньше не слышал о художнике Каткове. Вполне вероятно, что другим читателям эта фамилия знакома, однако в любом случае, создается впечатление, что данная книга предназначена не для широкого круга, а лишь для тех, кто лично знал Сергея Петровича. К этому выводу приводит тот факт, что автор в принципе не считает нужным познакомить читателей с персоной Каткова и дать о нем базовые знания, т. е. читатели как бы априори должны быть знакомы с этим художником еще до того, как взяли в руки данную книгу. Только лишь аннотация на развороте содержит пояснительную

фразу: «Книга о замечательном белорусском художнике и великом наставнике, заслуженном учителе Беларуси...» и все. Тот факт, что книга называется «Учитель...», а не «Художник...» или просто «Сергей Петрович Катков», дает основания полагать, что она предназначается, в первую очередь, для учеников художника, а не для широкого круга любителей живописи или каких-то абстрактных читателей. В таком случае, отсутствие краткой «энциклопедической» биографии Каткова вполне логично. Но все-таки выделить «лишнюю» страницу для знакомства читателя с личностью художника и указания основных дат и событий жизни заслуженного учителя Беларуси не помешало бы. Тем более, надо полагать, помощь Министерства информации способствовала этому и направлялась на задачи широкого просвещения.

Вообще, говоря о композиции всей книги, необходимо сказать, что она фактически не имеет заключения. Формально — и вступления тоже, но фактическим вступлением можно считать первый этюд первой части («Сергей Петрович»). Начинается он, кстати говоря, вполне канонично: «Сергей Петрович Катков родился 1 октября 1911 года в селе Скрипицино Пензенской губернии...» Но на этом, первом предложении, научная часть и заканчивается. Далее автор проницательно замечает, что в 2011 году Каткову бы исполнилось сто лет и углубляется в размышления, воспоминания и творчество. Вся остальная фактическая информация о художнике разбросана по всей книге, притом с нарушением хронологии и далеко не всегда в четкой форме. На той же самой странице, где указывается дата рождения, Степан закрывает логическую рамку жизни Каткова, но не датой смерти, а мыслью о том, что художники не умирают. Возможно, эта деталь и избавляет от необходимости вводить в книгу полноценное заключение...

Как уже говорилось, в книге три части, которые являются равноценными в плане информации и представляют собою триединую основную часть в плане композиции. И если фактическое вступление выделить из этих частей можно, то фактическое заключение — нет. Оно просто отсутствует. Книга заканчивается воспоминанием сына художника (что замыкает ряд других воспоминаний, из которых и состоит вся третья часть), а точнее, мыслью о том, что люди старались помочь Каткову-младшему благодаря доброй памяти о его отце. Вряд ли это воспоминание или даже эта конкретная мысль может служить логическим завершением целой книги. Это просто одно из многих других воспоминаний, которым заканчивается соответствующий раздел. По сути, единственное, из-за чего именно оно может замыкать всю часть, а не теряться где-то в середине, — то, что оно написано сыном художника. Но в любом случае, это воспоминание не является ни формальным, ни фактическим, ни логическим заключением. Почему же нет «правильного» заключения? Можно предположить, что композиция «без начала и без конца» нужна автору для реализации концепции, согласно которой читатели сами соберут весь портрет воедино, о чем уже писалось. Владимир Степан, возможно, просто не хотел вводить читателей в определенную канву в начале и подводить к определенным выводам в конце, чтобы они сделали выводы самостоятельно, собрав из разбросанных по всей книге фрагментов цельный «пазл». Также можно предположить, что эта книга, как и сама жизнь художника, имеет начало, но не имеет конца, и ставить логическую точку в ней в принципе нельзя. Может, и так.

Подводя итоги, следует сказать, что книга получилась очень красивой, содержательной и, несмотря на специфику издания, высокохудожественной (с точки зрения литературы). В то же время, основная цель издания — дать фактический материал о жизни и творчестве реального человека — наложила некоторые ограничения, однако Владимир Степан, на мой взгляд, смог реализовать свои замыслы и подать информацию индивидуально, отразив в книге свое «я».

Александр ЕФИМОВ

Из почты журнала

ВИТАЛИЙ МАХАНЬКО

Осипушка

История человека

В сороковых годах XIX века помещик Сакович Павел Михайлович, шляхтич католического вероисповедания, был наделен землей и крепостными крестьянами за усердную службу в царской армии. Он обосновался на выделенной земле, которая у нас называется Поженька. Из нынешнего Старого Дедина часть крестьян переселили на новое место, поближе к господскому дому и к земле, которую надо было обрабатывать. Так образовался Новый Дедин. На карте 1848 года обозначен Новый Дедин с господским домом и с тридцатью двумя дворами. В это время в Старом Дедине было тридцать три двора.

Помещик Сакович имел воинское звание подполковника и в одном из военных походов на юг (наверное, в Молдавию) привез двух мальчиков: молдаванина и, как у нас называли, турка. Мальчики проделали такое тысячекилометровое путешествие, подвязанными под круп кавалерийского коня. В Новом Дедине их окрестили, и они стали у помещика прислугой. В те времена среди помещиков было модным привозить из далеких краев не только мальчиков, но и девочек и делать из них прислугу в господском доме.

Турецкий мальчик, наверное, был из гагаузов, которые и сейчас живут на юго-востоке Молдавии и являются тюрками. Этнические признаки этих иноплеменников сохраняются в потомках очень долго, и сейчас, даже не антропологу они видны.

Помещик Сакович умер в середине шестидесятых годов XIX века и похоронен на старом кладбище в Новом Дедине.

Мальчики выросли, обзавелись семьями и впоследствии стали носить фамилии Молдаванов и Турков. Слуга Турков имел сына Трофима. Со временем и Трофим создал семью. И вот неожиданно умерла его жена, оставив троих малых детей: Ганну, Осипа и Герасима. В тогдашней деревне одному мужику с тремя малыми детьми выжить почти невозможно. Скоро у детей появилась мачеха из деревни Кулешовка от Быковых. Осип рос мальчиком непоседливым и смышленым. Однажды на раннюю Пасху, когда снег еще не сошел, толпившиеся кучками на улице мужики, вдруг освобожденные по случаю праздника от нелегкой ежедневной работы, неспешно вели разговоры, шутили, кого-то разыгрывали. И вот, на глаза им попался мальчик Осип. Они его уговорили сбегать в лес, принести еловую лапку, а в награду он получит красное яйцо. Наверное, красное яйцо было желанным подарком для бедного мальчика. Осип босиком, в самотканых штанах и рубашке по сирену (снежному насту) сбегал в лес, принес еловую лапку и получил обещанное. Этот первый заработок остался в памяти на всю жизнь.

У мачехи стали рождаться один за другим дети, семья росла. Но мачеха часто жаловалась батьке на проказы Осипа и ему за это попадало. Он получал от батьки и оплеухи, и подзатыльники, и «березовой каши» попробовал не раз.

Второй случай, что врезался Осипу в детскую память, это когда он залез на крышу строящейся хаты Иванчиковых (Скоцкого Федора Ивановича). Крыша

была только зарешечена, и Осип прошел по самой верхней решетине, что на изломе крыши. У нас это называется «вильчик» или «царик». Батька, увидев это, с криком: «Ты что?! Ошалел?!» — бросился к хате, чтобы отшлепать проказника, но Осип спрыгнул с самого вильчика и побежал в лес. Батька — за ним, но не догнал. И так часто повторялось: после наговоров мачехи и побоев батьки Осип убегал в лес, залезал на ель и сидел. Батька приходил в лес и звал: «Вернись домо-ой!» Но Осип не отзывался. За сутки-двое у него высыхали слезы, оттаивало сердце, проходила обида, и он спускался с ели и возвращался домой.

Осип подрастал и от ежедневной физической работы его мышцы наливались силой, и он уже превратился в крепкого выносливого хлопца.

Однажды во время молотьбы Осипа оставили на гумне следить за печкой евни, где сушились снопы жита. Работа эта нетрудная: надо вовремя подкладывать дрова в печку да и поглядывать, чтобы невзначай от искры не загорелись снопы. Привыкшему к ежедневному напряженному труду, его мышцы требовали какой-то работы. И вот он увидел стоявшие весовые гири. Там были полупудовые, пудовые, полуторапудовые, двухпудовые и более мелкие гири. Он их все связал веревкой и без большого напряжения поднял: «Мало!» Осип пошел на гумно к Иванчиковым и сказал, что вот, его батька послал к ним за гирями. Принес две гири и добавил к своим. Поднял эту связку гирь с хорошим напряжением: «Вот, в самый раз!» Батька стоял в стороне, видел это, но не подошел и не ударил за такое бесполезное занятие.

Однажды мачеха опять наговорила батьке на Осипа. Батька подошел и ударил его. Осип промолчал, но поднял батьку с земли и опустил на ноги. С этого времени на батьку мачехины наговоры перестали действовать, и на Осипа он уже не поднимал руку.

До революции и какое-то время после молодежь наших деревень уезжала на шахты в Донбасс. Это делали осенью, когда в деревне заканчивались работы по уборке урожая, и только те, у кого дома оставался кто-то из мужиков на хозяйстве. Там нелегким трудом под землей они добывали себе небольшие заработки, чтобы потом купить одежду, обувь или что-либо для хозяйства. Если кто-то возвращался с шахт в сапогах, а еще лучше — в сапогах со скрипом, то считался богачом и очень гордился этим. На вечеринках он «скакаў» (танцевал) с высоко поднятой головой и громко притопывал каблуками.

Поехал на шахты и Осип. К тяжелой работе он был привычен, но местная жизнь ему не понравилась. Несмотря на нелегкие условия труда, молодежь в поселке после работы часто устраивала драки, выплескивая через мордобой не до конца растраченные силы.

Однажды Осипа окружили и хотели побить, но он вырвался, забежал в хату, где жил, схватил сапожную лапу и разогнал драчунов. К такой жизни он привыкнуть не смог и вернулся в Дедин, не заработав на сапоги. Здесь, в Дедине, ему все было знакомо, все дорого сердцу: и весенний разлив Остра, и все стежки-дорожки, и запахи сосновой хвои, и благоухание цветущего луга, и сенокос, и работа в поле, где над головой в небе поет жаворонок... Все это человек остро чувствует, когда первый раз покидает деревню и уезжает в далекие края.

В молодости, как и многие мужики в деревне, Осип летом занимался рыболовством. После весеннего разлива Остра на лугу оставалось в небольших озерцах рыба, и летом мужики «закидями» ее вылавливали.

Чтобы всегда иметь на столе рыбу, Осип на деревенский сход приносил ведро самогонки, угощал местных рыбаков и договаривался с ними, что вот в таком-то озерце все лето будет ловить рыбу только он. Рыбаки этот договор соблюдали, и Осип всегда был с уловом.

После революции жизнь в деревне изменилась. Крестьяне распахали помещичьи земли, стали пользоваться помещичьим лугом и начали обживаться: покупать инвентарь, коней, да и скота во дворе прибавилось.

Но тут наступила коллективизация, организовались колхозы, были собраны в один колхозный табун и деревенские кони. Для них построили две конюшни со станками (стойлами) для каждого коня.

И вот Осипушку (с возрастом его стали так называть, наверное, за какую-то мешковатость в движениях и спокойный нрав) назначили конюхом. Коней он любил, и они это чувствовали и отвечали привязанностью к нему. У каждого коня была кличка. Позовет любого — конь к нему идет, позволяет надеть на себя оброть (уздечку). Некоторые кони постороннего человека к себе не подпускали, убегали и, если не было Осипушки, их приходилось для запрягания ловить вожками. Коней берегли, кормили лучше, чем коров, так как на них пахали, возили грузы, использовали для поездок.

Осипушка ходил на конюшню, следил, чтобы у коней был корм, чтобы они стояли в станках, гонял их на водопой. Ходил он и ночью по два-три раза, а зимой ночью на конюшню ходил босиком, потому что обувать и разувать лапти — долгое дело, и у нас в деревне была такая поговорка: «Абуванне ды разуванне — половина века недоживанне». И так круглый год и до конца своей жизни Осипушка ухаживал за своими любимцами.

С мая месяца, когда уже подрастала трава, коней выводили на ночное пастбище (ночлег), так как днем они работали. Поля были уже засеяны и, чтобы не потоптать посевы, коней не гнали табуном на пастбище, а вели колонной по дороге. Для этого по пять коней вряд связывали поводом оброти. На среднего коня пятерки садился, чаще всего, подросток и управлял ими.

И вот на первой пятерке ехал Осипушка, за ним — подростки: Скоцкий Виктор, Соболев Иван, Соболев Василь, Осипенко Иван, Осипенко Саша, Павлюченко Илья, Куруленко Аркадий, Вертинский Федя...

Когда приезжали на место (в Навины или Подъелье), коней путали (треножили), оброти снимали. Оброти берегли, их делали из пеньковых веревочек и к ним вплетали узкие полоски лыка для экономии этих веревочек.

После этого начинали таскать дрова для *тепла* (костра).

Вокруг будущего тепла забивали колышки, на них надевали кружелки (дощечки с двумя отверстиями) и к каждой кружелке привязывали поводом жеребенка. Жеребята находились недалеко от тепла, и они свободно ходили и выедали траву вокруг колышка. Далее располагались стреноженные кони.

Распаливали тепло и располагались вокруг него. Оброти под голову, а накрывались жупаном, сшитым из самотканого шерстяного или полушерстяного полотна, а то и из посконного полотна.

Подростки, набегавшись за день, быстро засыпали, но не все. Некоторые заранее договорятся между собой, чтобы подшутить над кем-то и, когда тот засыпал, его за ноги тащили по траве. Проснувшегося бросали, быстро возвращались и притворялись спящими...

Иногда крепко спящего или, как у нас говорят, «спящего без задних ног» подволакивали к березке, нагибали ее, оборками лаптей привязывали ноги к согнутой березке и ее отпускали. Проснувшийся начинал кричать, так как не понимал, что с ним происходит...

Иногда у спящего оборки лаптей привязывали к чему-либо. Он просыпался, делал один-два шага и падал, так как оборки не давали дальше идти...

Была еще одна забава: «загнать сыча». У крепко спящего разводили в стороны ноги и оборки лаптей завязывали за вбитые колышки. Когда он просыпался, то не мог подняться, привстать...

После таких забав затейники тоже засыпали «без задних ног».

Были случаи, когда подростки делали набеги на чей-то огород или сад, но Осипушка им это запрещал.

Пока подростки у тепла спали, Осипушка не спал всю ночь: подкладывал дрова, обходил коней, потом присаживался, вынимал дудочку и играл. Кони прислушивались к этому и вели себя спокойно, да и волки

побаивались нападать на них, когда горит тепло, и ходит человек. А волков до войны и после было много, и в деревне ходило много рассказов об их кровожадности.

К началу осени некоторые поля освобождались от зерновых культур, и тогда коней рано утром два конюха выгоняли на пастбища табуном, обычно за Сиянскую гору в Зайцев березник. В это время оводов и слепней нет, комаров мало, и кони ведут себя спокойно. Конюхи распаливали тепло, и можно было испечь бульбу и не спеша поговорить.

После войны с Осипушкой работал конюхом Скоцкий Парфен Евдокимович, и его часто подменял пятнадцатилетний сын Виктор. Он серьезно относился к любому делу и все делал старательно и хорошо, и за это взрослые его уважали.

И вот однажды у тепла Осипушка поведал Виктору о своем детстве, о молодости. Виктор Парфенович пронес эти воспоминания Осипа Трофимовича в своей памяти, в своей душе и, спустя более шести десятков лет, донес до нас. Наверное, Осип Трофимович такое не рассказывал никому, и вот поделился он с человеком, и этим облегчил на душе груз своего сиротского детства.

Осипушка очень хорошо относился к детям. Встретив на улице ребенка, он складывал язык лодочкой и исполнял песню кукушки. Лицо ребенка расплывалось в улыбке.

Когда-то в молодости Пантюхова Мария Ивановна родила Осипушке сына Гришу, но семья не образовалась, и она уехала в Донбасс. После этого он ни к кому не засылал сватов и прожил всю свою жизнь в семье младшего брата, и помог поставить на ноги семерых его детей. В деревне Осипушка ни с кем не ругался, и от него никто не слышал скверного слова.

Когда началась Великая Отечественная война Осипушке было под шестьдесят. Перед освобождением от оккупации он не поехал со всеми в лес, а остался в деревне. Осипушка сидел в окопе в конце огорода и видел, как трое немцев ночью палили деревню. У него на глазах сгорела и их хата с соломенной крышей. Потушить ее было не в его силах. Сгорели и две колхозные конюшни, но коней в них не было, так как с приходом немецких оккупантов колхоз перестал существовать и коней разобрали по дворам.

После оккупации Осипушка с братом «на скорую руку» сделали себе хату, но не такую как у всех: по углам были закопаны в землю столбы (шулы) с двумя пазами в каждом, и в эти пазы сверху закладывались друг на друга бревна с прокладкой мха. Через несколько лет они сделали себе сруб «в чашку», как у всех, и стали жить в новой хате.

После войны построили одну большую колхозную конюшню, и Осипушка продолжил трудиться конюхом, хотя ему было уже за шестьдесят. Тогда пенсий колхозникам не платили, а на трудодни колхоз давал зерно. Свой годовой заработок он мог бы принести домой в одной руке. Колхоз был бедный, так как в наших местах песчаные почвы, и урожаи были невысокие.

Однажды, уже после войны, Осипушка заболел и поехал в Короблево Шумячского района к знаменитому в наших местах фельдшеру Фомичу (Александру Фомичу Кулешову). Он всегда оказывал всем помощь и нашим techединцам тоже, хотя мы были из другой области и из другой республики.

Фомич его осмотрел, послушал, дал таблетки и рассказал как их принимать. Приехав домой, Осипушка достал таблетки, посмотрел на них, но читать он не умел и не запомнил наставления фельдшера. Поэтому он все таблетки высыпал на ладонь и отправил их в рот, а потом, как наставлял Фомич, запил водой. После этого ему стало еще хуже, и он слег в постель. Полежав до вечера, Осипушка поднялся, напился воды и почувствовал себя здоровым.

В Новом Дедине напротив кладбища было гиблое место под названием Купа — сюда стекала речка из Ровка, но отсюда стока не было. Когда-то эта речка текла по нынешним капустни-

кам в болото между Старым и Новым Дедином. И люди еще в XIX веке прокопали ей новое русло к гати, а там, где было старое русло, стали сеять капусту, коноплю и всякие овощи. Почему они ее не пустили в Возерину — небольшое озерцо, соединенное с речкой, — не понятно.

Здесь около Купы был выгон, сюда утром выгоняли коров. Здесь же паслись днем и колхозные кони. Были случаи, когда корова или конь заходили в эту Купу в поисках сочной травы и уже сами не могли выбраться из топины. Тогда собирались люди и веревками вытаскивали их из этой багны. Иногда даже самотканое полотно заводили под туловище коровы, чтобы ее вызволить.

Залез в Купу и колхозный конь. Осипушка не стал собирать людей — у него на это не было времени — и один спас коня, вытащив его из топины. Но после этого Осипушка заболел. Он лежал, не поднимался и не мог пойти к своим любимцам. И на пороге Вечности последними словами его были: «Ти дали там коням...»

Когда-то один мудрец сказал, что любящий человек близок к божеству...

Слава Тебе, колхозный конюх, Осип Трофимович Турков!



Авторы номера

А И (Ай Гочжу). Родился в 1976 году в городском уезде Жуйчан провинции Цзянси (Китай). Окончил Полицейскую Академию. Печатался в журналах «Сегодня», «Народная литература». Автор сборников рассказов и повестей «Дела, покрытые пеплом», «Птица, которая меня видела», романа «И что мне следует делать?», сборника записок и эссе «Наше Величество» и др. Живет в Китае.

ВЭЙ ВЭЙ (Вэй Лили). Родилась в 1970 г. в провинции Цзянсу (Китай). Автор прозаических произведений «Макияж», «Холод кладбища Минь Сяо Линь», «Хроники маленького города», «Чужбина» и др. Лауреат премий «Народная литература» и «Красный Орёл». Живет в Китае.

ЧЖУ ВЭНЬИН. Родилась в 1970 г. в Шанхае (Китай). Член Союза писателей КНР. Автор романов «Миссис Дай и лазурь», «Туфли на высоком каблуке», «Водные брачные узы», новелл и рассказов «Эфемерная жизнь», «Суета», «Глаз с двойным зрачком», «Гавана» и др. Лауреат премии молодых писателей «Народная литература», премии за лучший бестселлер и др. Живет в г. Сучжоу (Китай).

ЛУ МИНЬ. Родилась в 1973 г. в г. Дунтай провинции Цзянсу (Китай). Окончила Институт связи и телекоммуникации провинции Цзянсу. Вице-председатель Союза писателей провинции Цзянсу. Автор романов «Любовное послание», «Руль», повестей «Белый шарф», «Очистить разум», «Милость покойника» и др. Лауреат Литературной премии Лу Синя. Живет в городе Нанкин (Китай).

ГЭ ЛЯН. Родился в 1978 году в г. Нанкин (Китай). Окончил факультет китайского языка Гонконгского университета, доктор литературоведения. Автор сборников прозы «Ступени», «Загадка про ворону» и «Рыба, не помнящая рек». Обладатель многочисленных литературных премий. Живет в Гонконге.

ДОМАШЕВИЧ Владимир Максимович. Родился в 1928 г. в д. Водятино Ляховичского района Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Прозаик, переводчик, редактор. Автор множества романов, повестей, рассказов. Заслуженный работник культуры Беларуси, лауреат Литературной премии имени И. Мележа. Умер в 2014 году в Минске.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

НЕХАЙ Валерий Николаевич. Родился в 1951 г. в г. Балхаш (Казахстан). Окончил Белорусский государственный университет. Печатался в журналах «Маладосць» и «Беларусь». Автор трех книг прозы. Живет в Минске.

СКОРИНКИН Андрей Владимирович. Родился в 1962 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (Москва). Автор семнадцати поэтических книг и четырех музыкальных альбомов. Член-корреспондент Международной Кирилло-Мефодиевской Академии славянского просвещения. Живет в Минске.

БЫЧКОВСКИЙ Вениамин Николаевич. Родился в 1953 г. в Уфе (Россия). Член Международного Союза писателей «Новый Современник». Автор сборника рассказов «Печальник» и книги поэзии «Звонарь». Лауреат конкурса «Золотое Перо Руси», Лауреат Общества любителей Русской Словесности имени Л. Толстого, Дипломант Международного конкурса имени А. Платонова. Живет в д. Бобровичи Ивацевичского района Брестской области.

ТУРОВА Елена Викторовна. Родилась в 1965 г. в Могилеве. Окончила Белорусский государственный университет. Режиссер, сценарист, поэтесса. Автор книг для детей «Киндервилейское привидение», «Рыжик в Зазеркалье». Живет в Минске.

БЕЦКО Анжела Михайловна. Родилась в 1968 году в г. Барановичи Брестской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэтесса. Печаталась в журнале «Нёман». Живет в Минске.